

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького»

ИОНЦ «Толерантность, права человека и предотвращение конфликтов, социальная  
интеграция людей с ограниченными возможностями»

Философский факультет  
Кафедра социальной философии

---

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ**  
**СОВРЕМЕННАЯ УРБАНИСТИКА**

---

Авторы-составители:

Трубина Е.Г., д.ф.н., профессор кафедры социальной философии

Екатеринбург  
2008

## **Учебное пособие**

### **по дисциплине «СОВРЕМЕННАЯ УРБАНИСТИКА»**

*(цикл СД ГОС ВПО по специальности 030101 «Философия», 04200 «Социология», 031400 «Культурология», 080100 «Экономика»)*

#### **ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ**

Те, для кого сегодня «маршрутка» – основное средство передвижения по городу, знают, что ручка ее двери находится слева, а вход в нее – справа. Тот, кто открывает дверь в час пик, рискует оказать любезность другому, более шустрому, пассажиру, а в эту маршрутку не попасть. Нас много, мы спешим, транспорта не хватает, а тому, что есть, не хватает на дорогах места. Это – данность, так сказать, инвариант. Но есть и варианты: почему в иных городах на маршрутку есть очереди, а в нашем в нее многие садятся по принципу «кто смел – тот и съел»? Ведь и у нас есть замечательные образцы самоорганизации пассажиров на маршрутах некоторых пригородных автобусов. Пенсионеры-садоводы за час приходят на остановку своего автобуса, дисциплинированно создав очередь, чтобы наверняка ехать сидя. Хронически спешащему человеку эта предусмотрительность понятна, но недоступна. Многим сегодня ближе другой опыт: защитный кокон своей машины не только гарантирует удобную позу, но позволяет сохранять дистанцию от непредсказуемых встреч, а любимый диск в стереопроигрывателе – от навязанных звуков. Ты застрахован от неприятных запахов и недружественных прикосновений и даже можешь, остановившись на перекрестке, с любопытством оглядывать тех, кто иначе добирается до цели. Мотивы вроде «не добавлять выхлопов в воздух» или «не усугублять пробки» или «не лучше ли пройти пешком» для автолюбителя остаются пустым звуком. Навсегда пересестись из автобуса в авто – это у нас обряд перехода, и сладость свободы, которую обещает машина, экологическими резонами не заглушить.

Езда на автомобиле по городу достаточно подробно описана и теми, кто ищет в ней культурные смыслы, и теми, кто занимается городским

транспортом, и теми, кому важнее всевозможные моменты симбиоза между человеком и машиной, и теми, кто изучает пространственную и социальную мобильность, и теми, кто обличает эгоизм равнодушных к городской экологии людей. Представители соответствующих дисциплин – *cultural studies*, географии городского транспорта, нерепрезентативной теории, социологии и социозологии – нечасто обращаются к работам друг друга в силу известных законов академической и вузовской специализации, принципов финансирования исследований и, что нередко, конкуренции. Настоящий момент отмечен, однако, нарастающим пониманием того, что современная урбанистическая теория возможна только как междисциплинарная теория. Это первый принципиальный для меня момент. Соображения вроде «Это не относится к социологии» не должны препятствовать исследователю города. Содержательное знакомство с самыми разными традициями и свободное от опасения быть обвиненным в эклектике их использование видится куда более продуктивным. Журналы, задающие тон в современной урбанистике – «City», «International Journal of Urban and Regional Research, Environment and Planning», «Urban Studies» – отмечены явной междисциплинарностью. География, антропология, теория и история культуры, экология собственно история, право, планирование, экономика, политическая теория, социальные исследования науки и техники вступают на их страницах в самые неожиданные альянсы.

Вот почему нам нужна методологическая рефлексия той совокупности парадигм, школ, течений, теорий, что образуют урбанистические исследования, а также их места на дисциплинарной карте. Не случайно даже временный доступ к информационной сети хорошего западного университета делает написание академического текста, если автор хочет себе польстить, чем-то похожим на фракталы. Обнаруживаются новые и новые разветвления мысли и влияния, контекст рассмотрения расширяется до бесконечности: Бодрийяр повлиял на Джеймисона, который повлиял на Эда Соджа (который теперь влияет на нас: по крайней мере, один из его текстов переведен, к чему я вернусь

ниже). Это – повседневное проявление «интертекстуальности» чрезвычайно многочисленных городских текстов, которые вступают в переключку не только в рамках упомянутой марксистско-постмодернистской традиции, но и между дисциплинами и занятиями, когда архитектура волнует кинематографистов, о которых пишут философы, критикуемые экономистами и дополняемые социальными теоретиками.

Инертность традиционного структурирования знания в нашей стране приводит к тому, что новые профессиональные практики и поля, возникшие в 1970-е г.г. и существенно способствовавшие институционализации гуманитарного знания в Европе и Северной Америке, сложно включаются или соединяются с уже имеющимися дисциплинами. Целый набор таких полей, которые называются «исследованиями» – гендера и расы, культуры и медиа, науки и, конечно, города – не «захватывается» существующим разделением академического труда. Рынок труда и известные всем сложности существования академической среды также препятствуют плодотворному осмыслению того, что в этих поддисциплинах или меж-дисциплинарных образованиях происходит. Тем не менее насущен отказ от представления отношений между дисциплинами в терминах территорий и границ в пользу понимания их как горизонтальных сетей, пусть состоящих из достаточно автономных образований, отношения между которыми неравноценны и по-разному видятся их представителями, но способных к образованию новых соединений и пересечений для постижения стремительно усложняющейся городской реальности.

Одно из измерений этой реальности – город как множество сетей интенсивного социального взаимодействия. Опыт микроавтобуса – микроместа социальной интеракции – знакомит наблюдателя с эпизодами мимолетной кооперации пассажиров на предмет сбора и передачи денег... и с музыкальными пристрастиями многих шоферов (радио «Шансон», увы, лидирует). Шоферы часто говорят с акцентом, но мне нравится, как они воспитывают пассажиров – вслух или с помощью шутливых надписей над

дверью. Похоже, в городе не много мест, где они могли бы быть «на месте», чувствуя себя хозяевами. Шоферы и пассажиры – студенты и служащие, молодые и не очень, разные, «неотсортированные» люди – ненадолго оказываются вместе, чтобы разъехаться затем по своим экологическим нишам – местам, где они живут, учатся, работают. Как основное средство общественного транспорта, маршрутки неведомы в Западной Европе и в Северной Америке. Они объединяют наши города с городами Восточной Европы и Средней Азии, что позволяет предложить их в качестве своеобразной эмблемы постсоветского города. Компромисс между социалистической коллективностью и капиталистической свободой ехать куда хочешь, между регулярностью совместных и видимой непредсказуемостью индивидуальных передвижений, между прозой экономической стесненности и поэзией индивидуального успеха – маршрутки – пролетарии постсоветской инфраструктуры. Правда, в Центральной и Южной Америке они воцарились гораздо раньше, чем у нас. Знать об этом полезно: не исключено, что в развитии своих городов мы «догоняем» не Париж с Лондоном, а Сан-Паулу с Мехико. И не только мы: контрасты между огороженными островками частного благополучия посреди небезопасных фавел побуждают комментаторов говорить о «бразилизации» Европы и допускать, что, может быть, и Европу ждет латиноамериканское городское будущее.

Сравнения жизни городской жизни и городских трансформаций здесь и там, «у нас» и «у них», неизбежны, естественны и необходимы. Это второй значимый момент. У «них» есть фора: урбанистическое знание зародилось на Западе, там же пережило несколько кризисов, а сегодня, кажется, вступило в новую продуктивную фазу развития. Международное разделение исследовательского труда приводит к тому, что именно западные коллеги демонстрируют продуктивность компаративной урбанистики (Ruble, 2001, 2002, 2005; Dear, 2005). Более близкое знакомство с иными городскими реалиями и их теоретической рефлексией позволит и нам понимать нашу ситуацию не как исключение, но как связанную с общими, нередко

повсеместными, тенденциями. Так, повсюду идет соревнование между регионами и городами за государственные и международные ресурсы. Опять-таки повсеместно система государственного и регионального планирования развития городов сталкивается с более требовательным населением, для «менеджмента» которого традиционные формы социального контроля необходимо дополнять новыми. Уход государства из традиционных для него сфер деятельности (строительство массового жилья, здравоохранение, образование) вовлекает в социальнозначимые сферы множество новых игроков. Деловые и политические интересы, связанные с контролем территорий и их экономическим развитием, рано или поздно пересекаются с тем, как люди используют городское пространство: придут ли они еще и в этот торговый центр, вложат ли средства в жилье, предлагаемое по такой цене? Какой отпечаток накладывает на эти **общие** процессы то, что они происходят в Санкт-Петербурге или Москве, Смоленске или Владивостоке? Отъехав на час и на сотню километров от столицы страны (или столицы региона) в город попроще, наблюдатель, как это не раз было отмечено, снижает. Кострома или Богданович, Шеффилд или Вустер перед тобой – неважно. Важно, что почти любой из нестоличных и некрупных городов переживает как драматические перемены, связанные с процессом, скучно называемым «де-индустриализация», так и включен в классическое отношение «любви–ненависти» между большими и небольшими городами (и тут слово «переживает» годится в его буквальном смысле). Тем самым российское пространство демонстрирует два ряда противоположных тенденций, повсеместно характерных для жизни городов. С одной стороны, это экспоненциальный рост столиц и крупных городов (что особенно проявляется в Азии и Южной Америке, причем рост не только вширь, но и вверх: примечательны амбиции властей городов южноазиатских стран строить самые высокие в мире небоскребы, вроде башен Куала-Лумпур). С другой стороны, это «съеживающиеся», «убывающие» города», население которых неуклонно сокращается в результате реструктуризации экономики. Со

времен промышленной революции это – две самые значительные тенденции трансформации городов.

### **Урбанистика и социальная теория**

Трансформации городов и посвящена эта книга. Она озаглавлена «Современная урбанистика», но единственное число не должно ввести в заблуждение. *Urban studies* и *urban theory* – общепринятые наименования целого спектра тенденций, позиций и интерпретаций, которые стремятся сформулировать понимание городской жизни, выходящее за пределы тех конкретных обстоятельств и случаев, в которых было порождено. Академические исследования, нацеленные на понимание городов, представляют собой сравнительно молодую отрасль знания: им немногим более ста лет. В своем развитии они оказались тесно соединенными с социальной теорией.

В ходе фиксации европейскими философией и социологией масштабных социальных трансформаций модерности город «синекдохически» выступает как самая «представительная» часть общества, олицетворяя и проявляя взаимосвязь индустриализации и урбанизации, отчуждения и нормализации. Так, Адам Смит (1776) толковал о городе как воплощении происходящих в XVIII в. перемен, состоящих в нарастании значимости производства, а не только торговли, как источника «богатства нации». Разделение труда в мануфактурах вроде булавочной фабрики стало для него прообразом более масштабного разделения труда – между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством. Только в больших городах, заявлял он, возможны некоторые виды производства, одним из первых тем самым накрепко соединив осмысление урбанизации и индустриализации.

Два века спустя Макс Вебер в своем «Городе» (1921) сделает город воплощением уже не экономической, но политической сути социальной организации. Автономность города достигается через политику, что проявляет

природу города как «сообщества» с особыми политическими и административными институтами. Город тем самым – часть масштабного исторического процесса, в ходе которого общество создает институты, помогающие ему доминировать политически и экономически. Этот процесс Вебер называет институциональной рационализацией, а его итогом – бюрократическую администрацию. Когда они соединяются с политикой, возникает национальное государство. Так что город, по логике Вебера, становится как эмблемой общих исторических процессов территориального доминирования и государственного строительства, так и главным реальным местом, в котором эти процессы осуществлялись.

Мой третий пример – Фернан Бродель с его идеей, что западные капитализм и города, по сути, тождественны. Бродель соединяет в своем анализе рынки, власть, производство, не забывая и про сложности выявления первичных и вторичных факторов капиталистического развития Европы и заявляя о том, что, хотя невозможно вычленить первичное и вторичное в процессах развития городов и экономического подъема, все же несомненна огромная роль городов как генераторов или утилизаторов экономического подъема. Этот образ города как независимого актора подхватит другой историк и противопоставит его образу города как продукта социального развития в своем масштабном очерке урбанистической истории [Hohemberg, 1990]. Однако совсем другой актер – национальное государство – надолго стало главным героем европейской истории и, соответственно, социальной теории. В то же время универсалистские притязания социальной теории XIX в. были, с переменным успехом, проблематизированы в XX в. нарастающим интересом к локальному, и прежде всего городскому, проявившимся не только в деятельности социологов чикагской школы, в исследовании антропологом Ллойдом Уорнером города Ньюбюри-порт («Янки-сити» в Массачусетсе) и «Миддл-тауна» Робертом Линдтом, и разнообразной последующей работе.

Урбанистическую теорию можно с уверенностью считать частью социальной теории: у них общий язык. С другой стороны, первая настаивает на



том, что социальная жизнь в городе обладает спецификой. Сложности взаимодействия социальной теории и города обусловлены тем, что город – это и главное пространство, в котором происходят социальные изменения, и ключевое место, в котором социальная теория создается. Так что, с одной стороны, нужно понимать, как связаны современный город и модернность, постмодернность, капитализм и глобализация, т. е. искать соединения между масштабными социальными процессами и городскими трансформациями. Выделим три главных узла таких соединений. Во-первых, макроэкономические тенденции, такие как деиндустриализация, неолиберализм, индивидуализация и коммодификация отношений, воплощаются в таких городских процессах, как усиление пространственной сегрегации, безработица, кризис связей «по месту жительства». Во-вторых, интеграция городов в глобальную экономику с сопутствующими этому процессу деятельностью международных финансовых и торговых организаций сочетается с переменами в общегосударственной политике (такими, как реформа управления социальной сферой), что чаще всего выражается в нарастании зависимости городов от национальных, наднациональных и глобальных сил. В-третьих, между собственно городами установились неравные отношения. Соревнование и взаимозависимость приводят к тому, что одни города оказываются в выигрыше, будучи магнитом для ресурсов, инвестиций, символической составляющей жизни, а жителям других остается лишь претерпевать статус аутсайдеров.

С другой стороны, необходимо ориентироваться в разнообразии идей, сформулированных для того, чтобы понять собственно городскую жизнь: что такое города и как они работают. Многие идеи, высказанные урбанистами, объясняют, какое вообще место города занимают в формировании пространственно-социальных процессов. Однако на них лежит отпечаток конкретных времени и места. Некоторые города, и прежде всего Чикаго и Лос-Анджелес, стали своеобразными эмблемами специфических вариантов урбанистической теории, соответственно характерных для модерности и постмодерности.

Урбанизация и урбанизм – при всей популярности и значимости универсальных их моделей – приобретают разные формы при различных социально-экономических обстоятельствах, вариантах политического контроля и типах культур. Распространенная типология включает до-индустриальные, индустриальные и постиндустриальные города. Другой вариант игры с приставкой «пост-» – различие социалистических и постсоциалистических городов. Еще один – противопоставление городов метрополии и городов постколониальных. Анализ разных городов часто ведется на основе экстраполяции: каково общество – таков и город, какие социально-политические отношения преобладают в той или иной стране или группе стран, такими они и будут в том или ином городе.

Осмысление городского пространства происходит, таким образом, в общих теоретических рамках, которыми исследователь вооружен. В зависимости от того, считает ли он современный социум обществом риска или обществом события, «второй модерностью» или сетевым обществом, обществом постиндустриальным или информационным, поздним капитализмом или новым капитализмом, он будет искать в городе то, что этой модели соответствует. Главная проблема, с которой мы сталкиваемся на пересечении масштабных социолого-теоретических очерков и теорий городов – в редукции социальной сложности к новым, волнующим, но далеко не всегда реалистичным тезисам. Так, Ульрик Бек в своих последних работах о коспомолитизме заявляет о том, что и работа многих людей, и браки, в которые они вступают, сегодня носят международный характер. Это и так и не так: в городах Америки, его родной Германии и России мы найдем множество людей, к которым этот тезис не имеет отношения. У значительной части социальной теории достаточно короткая историческая память: два-три последних столетия, о которых идет речь в теоретических портретах модерности, второй модерности и т. д., которые рисуют сегодня Ульрик Бек, Скот Лэш и многие другие, составляют лишь выгодный фон для того, чтобы эффектно оттенить последние и беспрецедентные изменения. Интерес к эпохальным переменам

оборачивается абстрактной аргументацией и редкими примерами. Обобщения социальной теории нередко приводят к исчезновению различий между уровнями социальных образований.

Социальное название – популярное сегодня занятие, которому увлеченно предаются и урбанисты. В итоге мы читаем о городах «реальных» и «виртуальных», «городах мира» и «маленьких», «авторитарных», «тоталитарных» и «креативных», воображаемых и обыкновенных. Пестрота именований и многообразие подходов не должны, однако, заслонять одну из главных проблем: в поиске путей улучшения жизни городских обитателей как именно мы понимаем их проблемы? Городские ли это проблемы или это общесоциальные проблемы, особенно остро проявляющиеся в городах?

«На протяжении многих десятилетий, предшествующих современному переходному периоду, развитие городов и других городских поселений определялось прежде всего решением общегосударственных, а точнее ведомственных задач и нередко вопреки интересам города, его жителей и окружающей среды», – читаем в недавней книге, подытоживающей деятельность научной школы региональной и муниципальной экономики [Любовный, 2007, 41]. Эта оценка столь же справедлива, сколь и хорошо знакома: сетования на тотальное огосударствление жизни при социализме составляют общее место ретроспективных рефлексий уже много лет. Подчинение городов территориальным государствам составляет самую важную географическую характеристику модерности. Но отношения городов и государств – в силу разделения труда между политическими дисциплинами (ответственными за государство) и социологическими дисциплинами (изучающими, среди прочего, городские сообщества) – предметом самостоятельного рассмотрения у нас не стали. Системы городов в рамках государства были осмыслены в 1960–1980-е г. как географическое проявление национальных экономик. Отношения между городами одновременно мыслились как отношения внутри государства, так что государство и было вмещилищем городов.

Очевидна необходимость перейти от осмысления социальных процессов как протекающих в замкнутых пространствах, будь это национальное государство или город, к их пониманию как совокупности пространственных отношений, т. е. от «контейнерного» мышления перейти к реляционному. Примеры такого мышления мы находим в трудах социологов [Blokland, 2003], географов и представителей междисциплинарного знания [Massey, 1999, 2004, 2005; Pile, 2005; Smith, 2001]. Можно выделить как минимум четыре главных направления «реляционной» работы:

1. Понимание города как совокупности пересекающихся сетей.
2. Поиск в нем специфических соединений человеческих, природных и технических «агентов».
3. Переосмысление диалектики близкого и далекого, прежде всего с точки зрения разнообразных транснациональных связей, виртуальных сетей, корпоративных сетей и цепей поставки товаров.
4. Интерес к «невидимой» инфраструктуре городской жизни – от материальной оснастки повседневной жизни, такой, как водопровод, широкополосные сети и т. д., до «призраков» прошлого, участвующих в настоящем посредством воспоминаний, страхов, ритуалов, травматических переживаний и т. д.

Как справедливо пишет А. Филиппов: «Анализ сетей и потоков представляется весьма перспективным, однако пока трудно сказать, можно ли во всех случаях практически отказаться от метафоры пространства-контейнера» [2008, 265]. Разбиение земного пространства на единицы, удобные для анализа, понимания и управления, старо как мир. Структурирование территории на основе ограниченных пространств, точки входа в которые (выхода из них) и людей, вещей и информации контролируются, продолжает демонстрировать свою эффективность. Свежий пример – судьба закона «О местном самоуправлении» в России. Станут ли малые города самостоятельными единицами местного самоуправления – неизвестно, потому что районные

власти сами хотят регулировать поступление ресурсов и распоряжаться землей, создавая из малых городов и деревень, отстоящих друг от друга на десятки километров, городские округа. В литературе еще долго, вероятно, будут сосуществовать район, город, местность, регион, национальное государство, континент и, наконец, весь мир. Представления об их соотношении, сложившиеся в период модерности – **иерархические**: одно **входит** в другое по принципу матрешки. Сегодня они трансформируются, проявляясь, к примеру, в представлениях о глобализации, которая мыслится как масштабная сила, по нисходящей влияющая на континенты, регионы, страны, города, местности и индивидов. Логика, согласно которой должна существовать некая всеобъемлющая «структура», влияющая на происходящее, сохраняется, только масштаб этой структуры существенно увеличивается, разрастаясь от национального государства к глобализации. Хотя картина мира как набора ограниченных территорий все слабее сочетается с пониманием мировой истории и географии именно как сети взаимодействий, для которых границы часто не имеют значения, представление о городах как территориальных образованиях еще, вероятно, долго будет сочетаться с мышлением о них в качестве сетей отношений. Вместе с тем будет нарастать осознание исследователями того факта, что в этой сети отношений те, что основаны на пространственной близости участников, отнюдь не являются привилегированными.

Как ни велика инерция мышления политиков и администраторов в терминах замкнутых территорий, связи между диаспорами, людьми и товарами, электронные сети, усиление миграции делают территориальность лишь одним из возможных принципов понимания современных городов. Отношения между капиталом и государством, социальным воспроизводством и социальным контролем поэтому сильно изменились. Последствия этой только разворачивающейся тенденции особенно очевидны в изменении шкалы социальных процессов и отношений, в итоге чего создается новое сочетание масштабов, так что вместо привычного сочетания (сообщество–город–регион–

нация–мир) приходит что-то иное. И это между городом и миром, т. е. урбанистическими и глобальными тенденциями, складывается сегодня специфическое пересечение. При этом пока соответствующий дискурс, прославляющий сетевую и реляционную организацию городов все же живет своей жизнью. Частые ссылки на такие понятия, как «транснациональные потоки», «гибкость», «мобильность», «сети» все же недостаточно эмпирически и интеллектуально обоснованы, чтобы на их основе можно было уверенно предлагать решения для накапливающихся проблем.

Другой круг проблем связан со сложностями теоретической фиксации «постсоветского» в наших больших и малых городах. Нас сегодня не столь интересует как сущность города или сущность урбанизма вообще (если вспомнить название знаменитой работы Луиса Уирта «Урбанизм как образ жизни»), так и сущность социалистического или постсоциалистического города. Куда сильнее интерес к эфемерным и произвольным, даже хаотическим, сторонам современной жизни. Этот интерес только город и может удовлетворить. Место пересекающихся потоков, место взаимодействия материального богатства и богатства сенсорных стимулов и импульсов, место рождения новых культурных форм, социальных практик, повседневных ритмов – «наш» город привлекает нас именно в этом качестве, побуждая не забывать и о все новых изводах социального неравенства. Города как магниты для инвестиций, города, в которых велико число торговых центров, города как пространства «спектакля», города, в которых «отцы» образуют причудливые альянсы с девелоперами и банкирами, – такого рода трансформацию наши города претерпевают одновременно с множеством других. При этом сужаются возможности спонтанного поведения и сокращаются пространства свободы, а экономика сервиса и туризма, на которую такие надежды возлагают власти многих городов, базируется на нестабильной занятости и часто низкооплачиваемых услугах бесчисленных менеджеров по продажам, охранников, официантов, строителей, швей и поваров.

В то же время именно «неодновременность» (Эрнст Блох) составляет одну из главных характеристик постсоветскости в том смысле, что в присущих ей социальных отношениях сосуществуют различные темпоральности: если мотивом одних вариантов твоего поведения может стать архаический страх наказания, а другие продиктованы современной максимой «время – деньги», то третьи связывают тебя с десятками современников тем, что вам нравится одновременно принадлежать к нескольким сетям – исследовательским, дружеским, «по интересам», которые сегодня есть, а завтра могут и исчезнуть, сменившись новыми. То же, что важно, относится и к вещественным параметрам городского существования. Возвращаясь к примеру с «маршруткой», можно сказать, что в ней произвольно сочетаются технические и социальные изобретения, возникшие в самые разные времена: колесо изобретено в неолите, цикл Карно двести лет, конвейерная сборка – в 20-х гг. прошлого столетия, что-то добавилось полвека, а что-то – лишь десять лет назад. Что же тогда делает маршрутку современной? Как замечает Мишель Серр [Serres, 1995, 60], «каждая историческая эра – мультитемпоральна, она одновременно опирается на устаревшее, современное и футуристское. Поэтому данные объект или ситуация «полихронны», мультитемпоральны и раскрывают время, собранное «из многих складок». «Из многих складок» собраны и язык и понятия, используемые нами для описания городской современности.

Не случайно столь широк круг проблем, связанных с урбанистической эпистемологией [о понятии см.: Ethington, 2001; Schwartz, 1998; 2001]. Когда перед нами такое сложное образование, как город, как к нему подступиться? Что за объект будет зафиксирован в описаниях и теоретических объяснениях? Допускаем ли мы, что город представляет собой объективную реальность, которая может быть безошибочно проанализирована с помощью строгих методов? Или, проникшись уроками культурного релятивизма, отдаем себе отчет в том, что наши слова о городе, от имени какой бы дисциплины они не произносились – лишь одни из множества возможных? Какими тропами мы пользуемся и почему предпочитаем именно эти? Кому будут интересны и

нужны полученные результаты? Наконец, если мы работаем со «случаями», насколько обобщения, сделанные в отношении практик и репрезентаций **данного** города, распространяемы и значимы за его пределами? Чья привилегия знание о городе? А если мы скажем «знание города», то чья **это** привилегия?

Со страниц ранних классических урбанистических текстов возникает фигура исследователя-одиночки, и сила этого впечатления подкрепляется описанными в этих текстах Зиммелем и Беньямином образами горожан – прагматичных, равнодушных к окружающим, визуально их потребляющих, не вникая в их резоны. В то же время значительное число теоретических моделей порождено исследовательскими коллективами урбанистов. Работающие в одном университете и живущие в одном городе (как представители чикагской школы) или представляющие разные вузы и разные города (как представители лос-анджелесской школы), исследователи городов сам характер своих коллективов, сетей, политической ангажированности делают значимым компонентом урбанистики.

Только на протяжении второй половины XX в. в урбанистике сложилось, как минимум, три подхода: научно-количественный, изучавший с 1960-х гг. природу индустриального города, продолжая традиции чикагской школы; возникшая в 1970-е гг. урбанистическая политическая экономия, нацеленная на общее изучение связи города и капитализма; постмодернистская урбанистика 1980-х гг., осмыслившая постиндустриальные города на примере, прежде всего, Лос-Анджелеса [Dear, 2005]. С другой стороны, мир серьезно меняется, что требует новых усилий воображения. Требуется новых вопросов, которые позволят увидеть те его стороны, которые до сих пор ускользали от теоретического внимания. Неслучайно наше время – время множества теорий, время осознания того, что ни одна теория (или даже их сочетание) не способна охватить происходящее. Как пишут Н. Трифт и А. Амин [Amin, Thrift, 2005, 224–225],



Создание теорий – это гибридный набор проверяемых предположений и возможных объяснений, почерпнутых из зондирования мира и его упорных ответов, и попыток абстракции... Как таковой, этот набор всегда не полон, всегда совершенствуется, и всегда пронизан непоследовательностью...

**Объект исследования по месту жительства и в путешествии:  
немного о российской урбанистике**

Многие, наверное, помнят серию «социальных» рекламных роликов начала 1990-х гг. Нонна Мордюкова и Нина Русланова в оранжевых жилетках работниц железной дороги. Александр Збруев и Анастасия Вертинская – смертельно рассорившиеся «новые русские». Длинноволосая девушка в короткой джинсовой курточке спешит на встречу с любимым, зацепившись зонтом за решетку последнего троллейбуса, за рулем которого – Олег Ефремов. «Это мой город» – гласило послание этой рекламы, выражая не иссякшую еще тогда энергию социальных ожиданий, исходя от деятелей культурной индустрии и не вызывая столь сильных, как сегодня, ассоциаций с очередной политической кампанией.

«Это мой город» – могут сказать и те, кто о городе пишут: Владимир Абашев [2000; 2005] о Перми, Светлана Бойм [2002], Александр Ваксер [2006], Соломон Волков [2005], Виктор Воронков и Ингрид Освальд [2004], Григорий Каганов [2004], Виктор Топоров [2003] о Санкт-Петербурге, Виктор Дятлов [2000] и Сергей Медведев [1996] об Иркутске, Мария Литовская и Сергей Кропотков [2008], Николай Корепанов и Владимир Блинов [2005] о Екатеринбурге, Леонид Таганов о Иваново [2006], Григорий Ревзин, Ольга Трущенко [1995], Алексей Митрофанов [2005; 2006; 2007; 2008], Нина Молева [2008] и Ольга Вендина [2005] о Москве. «Право на город» – понятие, введенное Анри Лефевром, часто используется, когда в урбанистические

исследования хотят ввести нормативное измерение. Своеобразным правом исследовать город и писать о нем обладают те, кто в нем живет.

Города и прилегающие к ним территории давно стали предметом исследования российского академического сообщества, часто объединяя в себе **объект** и **место** проведения исследования. Изучать социальные и культурные процессы «по месту жительства» – удобно, дешево, сулит хоть какую-то социальную пользу и нередко имеет личный смысл. От «хоздоговорных» исследований, проводимых в годы застоя на соседних с вузами комбинатами и заводами, до академического краеведения и истории городов, издавна популярных у историков и филологов, от анализа политических предпочтений избирателей до попыток участия в кампаниях по маркетингу города (преобладающие сегодня варианты) – тематический спектр описаний городов может быть весьма различным, но, повторимся, часто изучается «свое», «местное». Отличаются и эмоциональная тональность, и, так сказать, нравственная окликнутость городских штудий: если в описаниях, продуцируемых политтехнологами, как правило, царит цинизм *realpolitik*, то на гуманитарном полюсе преобладают созерцательность и ностальгия. Эпистемологические и политические связи исследователей с родным городом могут быть различными: от прагматичного сотрудничества с обладающими ресурсами инстанциями, не предполагающего какой-либо эмоциональной и личностной вовлеченности в поставляемое знание, до искренних реформаторских интенций. Авторитетность полученных результатов чаще всего базируется на репрезентативной выборке, но и качественные исследования становятся все более популярными. Стали превалировать антропологические истоки авторитетности производимых текстов: «Я здесь, среди них, живу (жил)».

Рефлексия исследовательского зрения (что авторы ищут, на что именно смотрят и т. д.) находит в текстах все более эксплицитное выражение – наряду с тем, как различающиеся истории и проблемы самих авторов отражаются в разнообразных историях мест. Превалирующей темой здесь остаются

провинция и провинциальность, осмысление которых в последнее десятилетие также претерпевает интересную эволюцию: от традиционного компенсаторно-абстрактного воспевания чистоты и бескорыстия провинциальной души и патриархальности провинциальной культуры к «плотным описаниям» и экономическому анализу.

Так, масштабный проект не только по изучению деятельности городских сообществ, но и по стимулированию их активности осуществлен в начале 2000-х гг. командой самого известного российского урбаниста Вячеслава Глазычева в двухстах малых городах [Глазычев, 2005]. Задачи решались разные, включая и курьезные, но столь знакомые всем нам [Глазычев, 2004]:

Я работал с маленьким кусочком славного Владимира, прямо за Золотыми воротами, где узкие улочки веером спускаются к Клязьме, и имел там дело с лестницей, которая в течение трех лет имела одну непочиненную ступеньку. Эта лестница спускается к вокзалу, и поэтому там не одна нога была сломана. Но понадобилось внешнее включение, понадобилось, чтобы мы провели там сложный семинар со всякой активизацией народа, чтобы приколотить одну доску на место на этой лестнице.

Интересно, однако, что иерархическое распределение российских городов и весей по некоей ценностной шкале упорно воспроизводится и в новейших штудиях провинциальности. Вот пример, почерпнутый из предисловия редактора к недавнему тематическому номеру «Отечественных записок» (2007, № 3):

Провинция может быть бедна, стагнирована, голодна, находиться в бесконечной удаленности от полезных ископаемых, университетов, заводов и пароходов. Но все равно безошибочно узнаваема — по неизгоняемому духу русской литературы, по левитановской прелести пейзажей, по выживающим из последних сил и всегда полным театрам, по

чудом сохранившимся библиотекам и любовно лелеемым краеведческим музеям. По застенчивой гордости провинциалов, по тому, что жизнь в ней продолжается своим тихим стоическим чередом <...> Торжок – провинция, Челябинск – нет. Недоказуемо, но совершенно понятно.

Бедный Челябинск! Единственный, кажется, символический ресурс, к которому его гуманитарная публика могла обоснованно прибегать, изъят по той, вероятно, причине, что город считается чересчур «советским». То, что в городе уцелели островки конструктивизма, то, что интерьеры некоторых зданий украшены кружевом каслинского литья, то, что соцгородок и озеро Первое – замечательные свидетели уже ушедшей эпохи – все это, похоже, не вписывается в схему поэтизированной провинциальности с ее упорством высокой культуры и якобы не пустующими краеведческими музеями. Неслучайно на урбанистических конференциях часто возникают коллизии между «хорошими местными» и «плохими приезжими», проистекающие из неявно разделяемой многими посылки: проживание в данном городе, знание изнутри его реалий делает местного исследователя заведомо более надежным авторитетом. Надежность его экспертизы неотделима от повседневности, в которую он погружен. Другим истоком этого устойчиво воспроизводящегося стереотипа является принцип значимости **доверия** для функционирования научных сетей: многое в них издавна строится на свидетельствах из первых рук – тех, кто видел этих животных, наблюдал эти процессы, присутствовал при этом событии, собрал эти воспоминания.

Конкретная местность влияет на организацию научных исследований, предопределяет то, насколько велики шансы их популяризовать, и то, откуда будет почерпнута их авторитетность. Разнообразие научных практик, в принципе возможных сегодня, однако же ограничивается конкретными траекториями научной социализации, существующим международным и внутренним разделением научного труда, капризами финансирования. Различающиеся от места к месту типы культурного и социального

взаимодействия предопределяют и то, как взаимодействуют знания, произведенные в разных местах.

«Производители» урбанистического знания находятся в сложных отношениях с теми, в чьих профессиональных услугах город и горожане нуждаются – архитекторами и планировщиками, ландшафтными дизайнерами и дизайнерами интерьеров, специалистами по PR и маркетингу. Во втором случае это экономические интересы клиентов – будь это состоятельные люди или городские администрации, определяют, каков будет производимый продукт. Практические профессии и дисциплины поэтому больше связаны с переговорами по поводу бюджета проекта, торгом, манипуляцией вкусами и предпочтениями заказчика, политическими обстоятельствами. Те же, кто размышляет над эстетическими достоинствами созданного в городе или вычленяет его социальные смыслы, свободны преследовать свои субъективные интересы и высказывать индивидуальные оценки, рискуя не найти на них спроса. Кто же является адресатом местно производимого социально-гуманитарного знания о городе? Это сложный вопрос. Глобализация усилила интерес к другим, часто экзотическим, местам, но нередко оказывается, что, поездив и посмотрев (и, возможно, убедившись, что в коммерческом туризме маркетинг мест активно опирается на «легенды и мифы»), горожане свежим взглядом, «туристски» смотрят и на близлежащую территорию. Носители социально-гуманитарного знания способствуют тому, чтобы она была должным образом «упакована» для местного туризма. Чиновники городских администраций и областных организаций, мечтающие продвинуть подведомственную территорию вверх по шкале федеральной значимости, тоже составляют часть такой аудитории. Но если представить невозможное, а именно, что городская администрация оплачивает исследования города, не связанные с грядущими выборами, то сложность, которая подстерегает покупателей, заключается в том, что им предстоит делать выводы из заключений ученых, не зная теоретического контекста, в котором эти

заклучения только и имеют смысл. Востребованность произведенного знания зависит от того, можно ли результаты анализа одного города использовать для понимания другого? Для тех, кто имеет дело с советскими и постсоветскими городами, это еще и проблема «интересности» того, чем мы занимаемся, друг для друга и в более широком контексте (социальном, международном, и прагматически-коммерческом контексте).

Рассмотрим кратко два варианта позиционирования исследователями себя в отношении к городу и к другим. «Исследователь» *vis-à-vis* «турист», «житель», и «фланер» – такой набор возможных позиций по отношению к городу предлагают О. Запорожец и Е. Лавринец [2006, 10–11], скептически подчеркивая в отношении «классической» исследовательской позиции, что

Исследователь ловит город в свои сети, предопределяя результаты своего исследования заранее обозначенными позициями, городу же остается только поместиться в прокрустово ложе схем и ловушек. Чтобы понять город во всем его разнообразии, исследователю якобы необходимо вновь и вновь повторять свои опыты, выявляя основы образующей их социальности, поэтому идеальной исследовательской ситуацией становится длительное пребывание в городе.

Обратим внимание на слово «якобы» в последней фразе. Исследователь, за плечами которого опыт полевого исследования, пусть кратковременный, с его бесконечными поисками, а затем уговорами несговорчивых информантов, вслушивание в тексты интервью и муки укладывания пестрой полученной информации в связный нарратив, прочтет ее не без возмущения. По словам одного антрополога, «Я должен так исследование провести, чтобы всякий, приехавший сюда же после меня, получил бы примерно те же результаты».<sup>1</sup> В этих словах – ответственность за свое «поле», за жителей города, с которыми

---

<sup>1</sup> С. Ушакин, личная переписка, 14.07.2006.

ты говорил, нередко на болезненные темы, но еще и сознание того, что ты включен в научные сети, что твои данные и их анализ могут быть сопоставлены с аналогичными. Блокирующие широту исследовательского взгляда «сети», о которых толкуют авторы (под чем, вероятно, понимается совокупность рабочих понятий), возникают и корректируются в результате его включенности в исследовательские сети. С моей точки зрения, это – очень и очень важный момент, связанный с проблемой места, в котором продуцируется урбанистическое знание. Между тем авторы статьи, ратуя вместе с британскими географами Найджелом Трифтом и Ашем Амином – за необходимость потеряться в городе как основу более плодотворной стратегии его понимания, убеждены: «Одиночество исследователя – одно из ключевых оснований потерянности». Не уверена, что это единственно продуктивная позиция, и вот почему.

Урбанист – одиночка, гуляющий по городу и переживающий, достаточно ли он открыт новому опыту, – фигура столь же соблазнительная, сколь и нереальная. Такой же нереальной фигурой в воображении большинства людей, когда речь заходит о науке как образцовом знании, является «очищенный» для бескорыстного поиска истины одинокий исследователь. Социальный конструктивизм убедительно показал важность внутринаучной коммуникации: встреч, разговоров, публикаций и их критического обсуждения, переписки, где уточняются гипотезы и оттачиваются идеи. Вот почему урбанист, как и любой другой современный исследователь, много времени проводит за *email*. Более того, вряд ли наш потерявшийся исследователь – фрилансер, скорее, он служит в вузе или исследовательском институте и вместе с коллегами вовлечен в самое важное сегодня дело – дело получения финансирования. А раз оно зависит от того, твоя идея или идея твоего конкурента будет поддержана, ищи союзников. И чем твои союзники влиятельнее, чем неотразимее их репутация, тем более велики твои шансы на продолжение научного поиска. Социальный капитал ученого соединяется с местными материальными ресурсами и обстоятельствами, в которых знание производится. Мастерство описаний

неотделимо от психологической искушенности и коммуникативной компетентности. Место, с которого ты смотришь и вникаешь в городскую реальность, соединяется с инструментами, которыми ты располагаешь, группами, которым принадлежишь, практиками, в которых участвуешь, сетями, в которые вовлечен.

Один из социальных конструктивистов – Барри Барнс – подчеркивает, что «реальность без протестов стерпит альтернативные описания. Мы о ней что угодно можем сказать, и она не будет спорить» [1994, 31]. Городская реальность с ее бесконечно сложным сплетением камней, подземных труб, проводов, транспорта и хрупких человеческих тел, каждое из которых жаждет тепла и простора, амбиций власти и личных амбиций горожан, с ее нередкой неразличимостью материального и символического просто создана для альтернативных описаний. Может показаться, что смысл суждения Барнса в том, что городу нет дела до того, что мы о нем скажем. Да-да: мэру есть дело, деятелям культурной индустрии, возможно, тоже, а городу – этому симбиозу людей и вещей, который существовал, когда мы в этот мир пришли, и, дай бог, продолжит существование после нашего, городу-то дела нет. И тем не менее, это Париж, а не Москва, был назван столицей XIX в., это Санкт-Петербург, а не Хельсинки лег в основу огромного интертекста, это в Чикаго, а не в Сиэтле сложилась городская социология, это Лос-Анджелес, а не Екатеринбург породил традицию литературного, кинематографического, а теперь и интеллектуального «нуара» – мрачно-апокалиптических описаний его настоящего и будущего. Почему одни названия и описания «прилипают», а у других нет ровно никаких шансов поразить своей точностью кого-то, кроме их автора? Тут нам нужно присмотреться к тому, как действует «социальность», скептически упомянутая авторами статьи. Она, как всем известно, строится на *общем* использовании языка, и это ее изменения приводят к складыванию неповторимых комбинаций харизматических субъективностей, возможных социальных ролей, новых городских практик, богатых ресурсами экономических и социальных институтов, в ходе которых возникают



доминирующие описания и модели города. И, возникнув, они обретают влияние, сопоставимое с силой материальных процессов, поскольку, в конечном счете, воплощаются в том, какие здания строятся, какие люди и где предпочитают жить, сколько в город приезжает туристов и пр.

Противопоставление туриста и исследователя неизбежно возникает во многих научных текстах, и ирония в отношении последнего понятна: не лишенный рефлексии человек знает, сколь шатки основания его деятельности, сколь уязвим его статус. О. Запорожец и Е. Лавринец остроумно пишут о том, что вконец «потерявшийся» исследователь рискует уподобиться городскому сумасшедшему. А. Космарский [2006, 22] включается в эту игру, заявляя, что его позиция – позиция «ученого как туриста: от ученого берется презрение к необходимости утверждать аутентичность/героичность собственного опыта **там** ярким стилем и увлекательными историями; от туриста – отказ от вескости, авторитетности, объективности суждений «знатока предмета».

Исследователь «бродил по городу один», не забывая при этом, однако, как явствует из текста, о том, в качестве члена каких сетей он будет описывать увиденное, какой язык придаст убедительность его наблюдениям. Феноменологический же пафос статьи Запорожец и Лавринец связан, как мне кажется, с их критическим отношением к «институциональной» парадигме» (рассмотрению города как системы институтов). Но не получается ли так, что поиск альтернативной, не-на-институты сориентированной позиции, бессознательно переключает внимание исследователя на самого себя: он видится себе «праздным», не чурающимся того, чтобы пройтись иногда вместе с «аборигенами», но чаще сосредоточенным на собственных чувствах и переживаниях.

Я не собираюсь – в постколониальном духе – обижаться за «аборигенов». И не намерена – в духе марксистском - пенять авторам за увлеченность «праздностью». Мне, однако, кажется, что их текст симптоматичен для достаточно избирательной рецепции западной современной урбанистической теории, которая обозначилась у нас. К примеру, ни один выпуск журнала

«Логос» не имел, наверное, столь широкой аудитории, как тот, что посвящен городам [2002, № 3–4]. Если бы индекс цитирования гуманитарных журналов в нашей стране определялся, в данном случае он наверняка бы зашкалил. Английские культурные географы Найджел Трифт и Аш Амин победили бы в этом соревновании немецкого теоретика начала XX в. Георга Зиммеля по бессмертному принципу: «Свежее – значит лучшее». Я хотела бы сделать три замечания на этот счет.

Во-первых, Трифт и Амин заслуженно привлекают читателя поразительной теоретической свободой и способностью зафиксировать самые эфемерные, самые трудно схватываемые нюансы сегодняшних теории и методологии. Но они же – одни из самых ярких представителей британской культурной географии, которая не случайно именуется в литературе «левой», «прогрессивной» и «критической», и главным достижением которой они сами считают не просто [2007, 112] «постоянное брожение идей» (что, в общем согласуется с их призывом испробовать на себе позицию потерявшегося человека), но «приверженность к такому использованию этих идей, чтобы добиться политических изменений во всех вариантах политики и борьбы и вообще попытки изменить политическое воображаемое». Понятно, что они здесь отсылают читателя к возможности по-разному понимать политику и политическое. Если понимать политику в ключе упомянутой выше «институциональной парадигмы», то она вся сведется к властным иерархиям, к социальному верху, «центру» и т. д. В таком случае естественной реакцией нормального интеллигентного человека становится «держаться подальше» и сознательно делаться «потерявшимся» аутсайдером, потому что ничего хорошего от (так понимаемой) политики ждать нельзя. Но если всерьез продумать иную линию понимания политики, представленную, к примеру, рассуждениями Ханны Арендт о инаковости, то получается, что те практики, которыми заняты «аборигены», в группах и по отдельности могут нести в себе проявления политики в ином смысле: использования своей власти, чтобы что-то изменить в своем жизненном мире. Вопреки карикатурному образу

непримиримого левака, Трифт и Амин настаивают: «В конце концов, условие того, что ты участвуешь в политике – способность знать, когда идти на компромисс, когда возможно чего-то добиться, а когда необходимы тактические отступления» [114]. Эстетические измерения городского существования важны и интересны, но вопросами о том, как распределяются в городе ресурсы, кто принимает эти решения, как эти решения сказываются на индивидуальном существовании и, главное, как индивиды отвечают на эти решения, при всей их кажущейся скучности, «потерявшийся» исследователь вряд ли задастся. Удерживать в поле зрения связь интеллектуальной работы и политики можно только при условии, что для нас существует реальный материальный мир во всей его фактичности, которая предшествует нашим мыслям, определяет их и часто им сопротивляется.

Второй момент состоит в сложностях рефлексии отечественного городского опыта и размещении его, так сказать, на карте урбанистики. Возвращаясь к Трифту и Амину, вспомним, что в той книге, откуда взята переведенная глава, они подчеркивают, что именно «северные города» имели в виду, когда писали свою книгу. Это знаменитые, благополучные, богатые западные города имеют в виду авторы, побуждая нас снова и снова продумывать вопрос об универсализуемости урбанистических выкладок, т. е. о приложимости теоретических штудий, написанных «в виду» одной городской реальности, к реальности несколько иной. Иначе говоря, здесь возникает вопрос об отношениях между разными городами, имеющий отношение и к пространственной политике научного исследования. Эта политика включает в себя и то, что на воображаемой карте, определяющей работу специалистов в одной стране, «их» города могут занимать совсем иное место, нежели в работах «северных» коллег. Можно привести несколько примеров. Так, мало кто из пишущих про глобальные города включает в этот список Москву, хотя в осмыслении образа города российскими авторами «глобальность» (часто в сочетании с космополитизмом) встречается нередко. В ряде недавно изданных монографий российские города фигурируют в постколониальном контексте, т.

е. разбираются в компании Сан-Паулу и Иоганнесбурга, а отнюдь не Лондона и Парижа. Комментаторы единодушны в том, что проект «Пассажи» не был бы столь глубок, не будь у Бенямина за плечами «другого» опыта. Однако именно анализ Берлина и Парижа взят за основу многими сегодняшними авторами (в том числе Амином и Трифтом). «Накладывая» их методологические инсайты на наши реалии, сколь многие из нас готовы допустить, что отечественный городской опыт продолжает для значительной части западных наблюдателей оставаться сугубо **другим** (и интересен только в этом качестве)?

Наконец, третий связанный с рецепцией текстов географов момент. Автор опубликованного в другом номере (Логос, 2003, №6) выборочного перевода главы из книги Эда Соджа «Постметрополис» простодушно заявляет [133], что купюрам подверглись политические «злободневности», а вот «философия городского пространства» была сохранена. В тексте перевода, состоящем из выражений вроде «новая этериализация географии», «дефиницирование» и даже «эксцентричный космический профет», трудно узнать замысел Соджи – дать очерк преобладающих сегодня вариантов – «дискурсов» осмысления пространства, и трудно усмотреть основы специфической философии пространства самого автора (кроме, может быть, той очевидной идеи, что воображаемое и реальное в сегодняшнем понимании пространства неразличимы). В тексте перевода распылен по сноскам и список ключевых для лос-анджелесского мыслителя текстов, в которых, с его точки зрения, представлены основные линии географической, или пространственной, как он предпочитает выражаться, мысли. С моей точки зрения, все это симптоматично для нарастающего сегодня равнодушия к контексту, в котором рождаются те или иные идеи, что выражается в предпочтении «краткого содержания предыдущей серии» без утомительного обращения к первоисточникам (далеко не всегда, кстати, доступным). Вызов, с которыми сталкиваются урбанисты в нашей стране, заключается в том, что существенные моменты развития западной урбанистической теории получили весьма слабое отражение в нашей литературе – и содержательно, и методологически. Вскидывать ли опять в

последний вагон уходящего поезда, воспевая «прецессию симулякров» в родных осинах, или попытаться найти в разнообразии школ и подходов такие, которые открывают возможность критического анализа происходящего или хотя бы интересно теоретически обрамленных плотных описаний – это серьезный выбор.

## **Задачи и план книги**

В этой книге суммируются ключевые идеи урбанистической теории. Работ, написанных по урбанистике, очень много, так что моя «сумма» неизбежно субъективна и неполна. Я подробнее рассматривала те идеи, которые кажутся мне особенно полезными для рассмотрения тех или иных сторон жизни города, особенно в нашем, российском контексте. Способы, какими социологи, философы, географы, урбанисты, планировщики, специалисты в области культурных исследований, теоретики политики, а также те, кто не озабочен тем, по какому дисциплинарному ведомству проходит, осмысливают города – разнообразны и далеко не всегда согласуются друг с другом. Неизбежная эклектичность существующего сегодня городского знания осложняет ситуацию становящегося в России и чрезвычайно разобщенного сообщества урбанистов. Необходимость «догонять» западных коллег по объему освоенных понятий и аналитических приемов соединяется с пониманием того, что многие из этих понятий и приемов проблематизируются процессами вроде убывания городов или их стремительного роста в регионах Юга. Изменения в физической и социальной структуре современного города привели к складыванию нового типа городской агломерации, ставящей под вопрос традиционную форму, «концепт» и границы города. Теория всегда «отстает» от разворачивающихся на наших глазах изменений.

Книга организована тематически, хотя хронологию разворачивания тех или иных идей, влияний и тенденций я тоже имела в виду. В гл. 1–2 я выделяю

главные идеи, которые легли в основу модернистской и постмодернистской урбанистической теории. В них я не только обращаюсь к работам тех мыслителей, что оказали, мне кажется, серьезное влияние на целые поколения исследователей, но и пытаюсь ответить на вопрос о том, какие модели понимания городов сложились в прошлом – далеком – и совсем близком – и каким образом они сохранили свою значимость сегодня? Все последующие главы рассматривают альтернативные способы осмысления городов, фокусируясь на экологических, экономических, глобализационных, политических, связанных с разного рода различиями и повседневными измерениями городской жизни. Важно иметь в виду, что за редким исключением сегодняшние авторы не задаются целью построить всеобъясняющую и универсальную урбанистическую теорию. В последней главе – «Будущее городов» – я как раз это и подчеркиваю, опираясь на имеющиеся немногие попытки спрогнозировать как будущее городов, так и будущее урбанистики.

## Литература

*Абашев В.* Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь, 2000.

*Абашев В., Масальцева Т., Фирсова А., Шестакова А.* В поисках Юрятина. Литературные прогулки по Перми. Пермь, 2005.

*Бойм С.* Общие места. Мифология повседневной жизни. М., 2002.

*Ваксер А. З.* Ленинград послевоенный. 1945-1982 годы. СПб., 2005.

*Вендина О.* Мигранты в Москве: грозит ли российской столице этническая сегрегация? // Миграционная ситуация в регионах России. М., 2005. Вып. 3.

*Волков С.* История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М., 2005.

*Глазычев В.* Глубинная Россия наших дней. Публичная лекция, прочитанная в клубе «Bilingua» 16 сентября 2004 [Электрон.ресурс]. Режим доступа: <http://www.polit.ru/lectures/2004/09/21/glaz.html>

*Глазычев В.* Глубинная Россия: 2000 – 2002. М., 2005.

*Дятлов В.* Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). М., 2000.

*Запорожец О., Лавринев Е.* Прятки, городки и другие исследовательские игры: urban studies в поисках точки опоры // *Communitas*. 2006. № 1.

*Каганов Г.* Санкт-Петербург: Образы пространства. М., 2004.

*Корепанов Н., Блинов В.* Город посредине России. Екатеринбург, 2005.

*Космарский А.* Исследователь в городе: от всевластия взгляда к столкновению с Другим // *Communitas*. 2006. № 1.

*Литовская М. А., Кропотов С. Л.* Second-hand «стиль Европы»: Европейское в жизни азиатского города // *Границы: Альманах Центра этнических и национальных исследований ИвГУ*. Вып. 2: Визуализация нации. Иваново, 2008 (в печати).

*Литовская М. А., Кропотов С. Л.* Ревитализация утопического в урбанистическом пространстве: случай Екатеринбурга-Свердловска // *Oboz. Problemy Naradow Bytego Obozu Kommunisticheskogo*. 2007. Т. 2, № 17.

*Любовный В. Я.* Динамизм роли городов в социально-экономической и пространственной организации общества // *Пространственная организация общества*. Екатеринбург, 2007.

*Медведев С.* Иркутск на почтовых открытках. М., 1996.

*Митрофанов А.* Прогулки по старой Москве. Серия книг. 2005, 2006, 2007, 2008.

*Молева Н.* История новой Москвы, или Кому ставим памятник. М, 2008.

*Ревзин Г.* Москва: десять лет после СССР // *Неприкосновенный запас*. 2002. № 5.

- Рубл Б.* Дворы Санкт-Петербурга и переулки Вашингтона: заброшенные соседи официоза // Вестник Института Кеннана в России. 2002. Вып. 2. *Топоров В. Н.* Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. СПб., 2003.
- Трущенко О. Е.* Престиж центра. Городская социальная сегрегация в Москве. М., 1995.
- Филиппов А. В.* Социология пространства. М., 2008.
- Amin A., Thrift N.* What's Left? Just the Future // *Antipode*. 2005. Vol. 37. Nr.2.
- Amin A., Thrift N.* Cities: Reimagining the Urban Cambridge 2002.
- Barnes B.* How Not To Do The Sociology of Knowledge // *Rethinking Objectivity*. Durham, 1994.
- [\*Blokland T.\* Urban Bonds. Oxford, 2003.](#)
- Dear M.* Comparative Urbanism // *Urban Geography*. 2005. Vol. 26, Nr. 3. *Ethington P. J.* The Public City: The Political Construction of Urban Life in San Francisco, 1850–1900. Los Andgeles, 2001.
- Hohemberg P. M.* The City: Agent or Product of Urbanization // *Urbanization in History*. Ad van der Waude/ Akira Hayami, and Jean de Vries (eds.). Oxford, 1990.
- Massey D.* Geographies of responsibility // *Geografiska Annaler*. 2004. Vol. 86B
- Massey D.* For Space. L., 2005.
- Massey D. et al.* City Worlds. L., 1999.
- Oswald I., Voronkov V.* Die «Transformation» von St. Petersburg - Anmerkungen zur postsowjetischen Stadtentwicklung // *Die europaeische Stadt / W. Siebel (Hrsg.)*. Frankfurt-a/M, 2004.
- Pile S.* Real Cities. L., 2005.
- Ruble B. A.* Second Metropolis: Pragmatic Pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka. Cambridge, 2001.
- Ruble B. A.* Creating Diversity Capital. Transnational Migrants in Montreal, Washington, and Kyiv. Baltimore, 2005.
- Serres M., Latour B.* Conversations on Science, Culture, and Time. Ann Arbor, 1995.
- Smith M. P.* Transnational Urbanism. Oxford, 2001.



*Schwartz V. R. Spectacular Realities: Early Mass Culture in Fin-de-Siecle Paris. Berkeley, 1998.*

*Schwartz V. R. Walter Benjamin for historians // American Historical Review. 2001. Vol. 106, Nr. 5.*

## **ТЕМА 2. КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ГОРОДА**

Предрешены ли какие-то траектории развития людей и социальных групп в силу их существования в городах (и определенных местах в городах)? Или все же их жизненные сценарии открыты изменениям и могут развернуться совсем непредсказуемо? Вот одна из дилемм, волновавших основателей урбанистики. Социальный контроль, доминирование власть имущих, свобода от патриархальных ограничений, влияние технических новшеств на повседневность и искусство – темы, обсуждавшиеся социологами начиная со второй половины XIX в. Подчас трудно отделить (да и, кажется, не всегда необходимо) рассуждения социальных теоретиков о жизни людей в период модерности и их собственно урбанистические соображения. Ключевым для возникновения социологии было различие между городским образом жизни, воплощавшим новизну модерности, и традиционно-деревенским образом жизни. Его проработали **Фердинанд Теннис** и **Эмиль Дюркгейм**. В целом можно говорить о следующих имеющих отношение к урбанистике проблемах, которые были поставлены в социологии, начиная с XIX в. (Savage et al, 2003, Hubbard, 2006, 14):

- что представляет собой городской образ жизни и можно ли говорить о том, что он проявляется во всех городах?
- способствует ли городской образ жизни возникновению новых социальных групп и вариантов идентичности?

- как воздействует городская жизнь на традиционные социальные отношения, в основе которых лежит уважение к обладателям «вышестоящего» классового, гендерного, кастового или расового статуса?
- способствует или препятствует город складыванию социальных связей между людьми разного происхождения, места проживания и занятий?
- в чем существо истории урбанизации и почему население концентрируется именно в городах и агломерациях городов?
- каковы основные черты пространственной организации городов и порождают ли различные ее варианты особые способы социального взаимодействия?
- какой диагноз можно поставить городским проблемам, таким как перенаселенность, загрязнение, бедность, бродяжничество, преступность и разбой?
- в чем особенность городской политики и ее неравномерного воздействия на разных горожан?

К классикам урбанистики относят **Карла Маркса** и **Фридриха Энгельса**, о идеях которых идет речь в главе о городской экономике данной книги, **Макса Вебера**, в работе «Город» продемонстрировавшего связь урбанизации с возникновением союза бюрократии и капитала, **Георга Зиммеля**, авторов чикагской школы и **Анри Лефевра**, к которому я обращаюсь в главе о повседневности. Классики признавали недостаточность фиксации внешней каузальности в осмыслении городской жизни, проявлявшейся во включении людей и социальных групп в большое повествование вроде марксистского. Последнее рисовало людей инструментами и «продуктами» действия масштабных социальных процессов. Люди мыслились способными к историческому творчеству в результате их же, социальных процессов, влияния.

Теоретические вызовы, с которыми эти авторы сталкивались, состояли, во-первых, в сложности (граничащей с невозможностью) зафиксировать в понятиях только **становящиеся** процессы социальной и психологической дифференциации горожан, и во-вторых, вникнуть в парадоксы самого становления новых форм социальности. Эти формы сочетали усиление

беспорядочности и хаотичности городской повседневности с вызревaniem ее внутренней логики и потенции к самоупорядочиванию и самоорганизации.

В этой главе я останавлиюсь на идеях Зиммеля – мыслителя, с которого классическое осмысление городской модерности началось, и чикагской научной школы, в трудах членов которой оно достигло своего своеобразного апогея. Развитие городов в период модерности совпадает с развитием социальной теории, во многом и стимулированным необходимостью зафиксировать преобладающие в городах социальные отношения и процессы, распознать повторяющиеся способы существования и решения проблем. Эта масштабная задача могла быть решена с помощью масштабных же ресурсов, вот почему столь важна была институционализация социологии, в частности, создание социологического факультета в университете Чикаго. Рост городов сопровождался появлением новых вариантов социальной организации (и новых проявлений социальной патологии), что приводило к описанию социальной организации городов с учетом нормативных измерений городского существования. Трансформация социума, которую города с такой силой и столь стремительно воплощали в конце XIX и начале XX в., делала неизбежным использование эволюционистских идей, которым отдали дань и Зиммель, и Беньямин, и деятели чикагской школы, но побуждала при этом к поиску достаточно тонко настроенных моделей эволюционизма.

### **Уравнение Георга Зиммеля**

Фильм Мартина Скорсезе «Отверженные» (2006) начинается кадрами обычной уличной суеты южного Бостона, видной из окна ресторана. За кадром звучат слова старого босса бостонской ирландской мафии Винса Костелло, которого играет Джек Николсон: «Я не хочу быть продуктом окружающей меня среды, я хочу, чтобы окружающая среда была моим продуктом»\*. За те лет двадцать, что прошли в фильме со времени этого монолога, город превратился

---

\* "I don't want to be a product of my environment. I want my environment to be a product of me." *Departed* (2006). Режиссер Мартин Скорсезе. Сценарий Уильяма Монэхена (ремейк гонконгского полицейского триллера «Внутреннее расследование» (2002)).

в моральный пустырь, борьба этнических кланов сочетается в нем с противоборством корпораций, а вопросы лояльности и предательства (в отношении к Департаменту полиции штата Массачусетс и ирландской мафии) неумолимы и неразрешимы. Самоуверенный выпад легендарного мафиози против банальной максимы социального дарвинизма фильм и подтверждает и оспаривает. Этническое, расовое и классовое измерения городского существования сплетаются с бунтом одного героя против и искусным приспособлением другого к правилам жизни «по понятиям». В разгар важной операции Костелло в гневе учит партнеров-китайцев тому, как делаются дела «в этой стране». Патриотизм и национализм беспроблемно соединяются с жестко удерживаемой властью, расизмом и социопатией: «Черные так и не поняли: никто тебе ничего не даст. Ты должен сам это взять». Красоты центра старого Бостона открываются в фильме из окна лофта стремительно делающего карьеру молодого полицейского-ирландца – своего человека Костелло в полиции. Его ровесник, с которым они вместе учились жизни на улицах ирландского квартала и семейными узами оказались связанными с мафией, а потому вроде бы обреченный тоже пополнить ряды гангстеров, становится настоящим полицейским и успешно внедрен в полицию Бостона в число людей Костелло. При этом один – продажный – стремительно утверждает в роли преуспевающего белого представителя среднего класса, другой – честный – остается бедным ирландским маргиналом. Никто в фильме не морализирует по поводу одинаковой цены, которую заплатили за успешную ассимиляцию один и сохранение подобия нравственной целостности другой: оба убиты. Просто в живых останется тот, кто придет и выстрелит последним.

Фильм Скорсезе представляет собой мизантропический вариант решения того, что **Георг Зиммель** называет «уравнением, которое составляется между индивидуальным и наиндивидуальным содержанием жизни». Его решение, опять-таки по Зиммелю, – «в приспособляемости личности, благодаря которой она уживается с внешними силами». Дилемма «окружающая среда – я»

зафиксирована в начале «прототекста» всей урбанистики – эссе Георга Зиммеля о духовной жизни больших городов (Зиммель, 2002, 23):

Глубочайшие проблемы современной жизни вытекают из стремлений индивидуума охранить свою самостоятельность и самобытность от насилия со стороны общества, исторической традиции, внешней культуры и техники жизни. Это – последняя из выпавших на нашу долю форм борьбы с природой, борьбы, которую первобытный человек ведет за свое физическое существование.

Как видно из этого отрывка, Зиммель – один из создателей социологии – общество мыслит как источник давления на человека, уподобляя его природе, законы которой неумолимы и от которой надо защищаться, что объединяет его, скорее, с поздними критиками дисциплинарного общества и общества контроля, нежели с теми его современниками, для которых общество было заменителем бога – единственным источником объяснений. Его взгляды потому служат источником многочисленных инсайтов в отношении только намечающихся сегодня процессов, что он увидел ограниченность понятия общества, объяснению и постижению которого социальная теория посвятила столько усилий. Его взгляды менялись, и сегодня, возможно, нам более интересен не столько Зиммель, впечатляюще (и вполне позитивистски) разложивший разнообразие социальных интеракций на *диады* и *триады*, сколько Зиммель, амбивалентно относящийся к современному обществу. С одной стороны, общество замораживает **становление** и разрушает **стихийность** и **неупорядоченность**, связываемые Зиммелем с **жизнью**, с другой стороны, никто из людей не избегает того, чтобы впустить внутрь его установления и там самым стать его частью.

### Эволюционный витализм Зиммеля

Отправной точкой рассуждений Зиммеля была *жизнь* – социальная, культурная, духовная. Ее бесконечное течение кристаллизуется в стабильных **формах**, оставаясь в то же время динамичным содержанием **опыта жизни**. «Жизненная сила» универсальна и абсолютна. Каждый ее момент отличен от того, чем он только что был, потому что жизнь – это постоянное становление. Пишет ли Зиммель об обществе или о культуре, в его описаниях постоянно встречается «стремление», «усиление», «углубление». В эссе «Как возможно общество?», свидетельствующем о глубоком влиянии на него Канта, Зиммель говорит о том, что это **формы** лежат в основе социальной онтологии, это они удерживают общество вместе (Simmel, 1971). Жизнь – это, с одной стороны, материал для создания объективированных форм, препятствующих дезинтеграции общества, с другой стороны – безусловная ценность. Такое понимание позволило Зиммелю предложить теоретически состоятельный, трезвый, но лишенный мизантропии очерк современного городского существования.

Зиммеля более всего интересовало, каким образом субъект «уживается с внешними силами», когда эволюция общества модерности приводит к тому, что главные социальные процессы начинают разворачиваться не в маленьких замкнутых группах, но в больших городах. На его взгляды повлияла «творческая эволюция» Бергсона, наделившая, пусть и в разной степени, людей и вещи способностью к восприятию и памяти. Зиммель, по выражению Скотта Лэша, был эволюционистом-виталистом. Классический эволюционизм имеет дело со **случайным** порождением изменений, будь они природные или социальные, которые затем ложатся в основу приспособления вида или индивида к новому или изменяющемуся окружению, и мыслит окружающую среду как **внешнюю** причину изменений функций и структур. Виталистский эволюционизм Зиммеля сосредоточен на ресурсах **само-причинения**, **само-конституирования**, **само-организации**, которыми обладают вещи и люди: их жизнь постоянно преодолевает сложившиеся свои формы и создает для себя новые (Simmel, 1989, 62): «Именно для человеческого удела, или удела души...

противоположность тождества и различия исчезает в непрерывности самотрансформации». В этом ключе нужно понимать тезис Зиммеля о том, что в городе «человек **создает себе средство** самозащиты» (от перегруженности разнообразными стимулами).

Классический эволюционизм ранжирует ценности на основе их значимости для существования вида как целого. Виталистский эволюционизм использует другой критерий: его интересует, какие ценности способны привести человеческий вид к более высокому порядку жизни. Сама жизнь – ценность, так что эволюция – это движение от жизни к более полной жизни. Жизнь – «субстанция» ценности. Не просто жизнь, но социальная жизнь. Отношение между жизнью и формой подобно отношению между интересом и его реализацией, или проблемой и ее решением. «Социальность» есть одна из форм, в которой проявляются интересы индивидов. Люди создают формы, преследуя «влечение, интерес, цель, склонность, психическое состояние, движение» (Simmel, 1971, 24). Существование каждой формы претерпевает эволюцию от статуса инструмента до самоконституирующего феномена, подчиняющегося особой внутренней логике. Чтобы удовлетворить свои интересы в отношении друг друга, люди создают особые социальные формы, такие как обмен и разделение труда, искусство и знание, этика и игра. Постепенно каждая из этих форм создает особую для себя логику и обретает относительную автономию от других, частично лишаясь своей инструментальности. Только деньги сохраняют инструментальность, оставаясь главной социальной связью. Зиммель их называет пауком, выющим социальную паутину.

Витализм однако связан с иными, нежели деньги, ценностями, поэтому одной из его значимых частей является **этос** жизни. Способы бытия людей неразрывно связаны с вариантами поведения, мышления, отношения к окружающим и полагания ценностей.

### **Техники жизни в городе**

Городской тип личности и его истоки, лежащие в городе модерности, – вот тема, которой Зиммель начинает классическую урбанистику, не смущаясь ни того, что социальный анализ в его эссе сочетается с психологическим (ведь задача, которой он задается – понять, за счет чего человек города «уживается с внешними силами» – по своему характеру психологическая), ни использования «виталистской» терминологии. Он равнодушен к тем теоретическим табу, которыми «обложила» себя социология с момента своего возникновения. Решая сложную задачу постулирования «социального» и как объекта и как источника анализа, социология ввела строгий запрет на «биологизм» и «психологизм», что, как мы увидим в дальнейшем, предопределило ограниченное использование идей Зиммеля и чикагской школы до 1990-х гг. прошлого столетия

Между тем поиск причин психических заболеваний в изъянах окружающей среды был популярен на рубеже XIX–XX вв. (Vidler, 1994), что, несомненно, помогло Зиммелю поставить свой знаменитый диагноз: «бесчувственно-равнодушный» человек – преобладающий в городах тип – порожден (2002, 23) **«повышенной нервностью жизни**, происходящей от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений». В то же время если позитивистский социальный наблюдатель наблюдал человеческие атомы общества сквозь всегда **уже существующие** формы институтов, то социальный философ Зиммель демонстрирует, каким образом в «метрополисе» **возникают** новые формы социализации. Их суть в том, что отныне социум (олицетворяемый городом, в котором царят деньги и рации) становится источником смысла для субъекта, который одновременно жаждет развить свою индивидуальность. Деньги гомогенизируют социальный мир, нарастает дистанция субъекта от произведенного им продукта и самого труда. Городское окружение бомбардирует его тысячью противоречивых стимулов, не давая возможности ни на чем остановиться и ни к чему привязаться. Способом справиться с этим становится особое отношение безразличия к происходящему, которое формирует субъект, обесценивая внешний мир и такой ценой сохраняя



неприкосновенность своего внутреннего мира (2002, 27): «Значение и ценность разницы между вещами, а потому и сами вещи кажутся ничтожными. Они представляются человеку с притупленными чувствами однообразно тусклыми и сырыми, ничего не стоящими, недостойными никакого предпочтения перед другими».

«Бесчувственное равнодушие» – особое культурное приспособление, которым индивиды защищают себя, вытекает из их постулируемой Зиммелем неспособности взаимодействовать лицом-к-лицу с тем обилием людей, что они видят каждый день. Эмоциональная энергия слишком легко и напрасно бы исчерпалась, захоти городские обитатели близко к сердцу принимать многочисленные контакты, на которые их обрекает город. Гораздо более психологически экономны игнорирование окружающих, избегание контакта с ними, культивирование антипатии к другим, сочетающейся с враждебностью: преобладают (2002, 25) «конкретное деловое отношение к людям и вещам, при котором нередко формальная справедливость сочетается с беспощадной жестокостью».

Человек сформирован городской окружающей средой так, что он определяет себя не через класс, этничность, пол или профессию, но через особую **предрасположенность** (которую составляет безразличие к городскому окружению). Городское окружение состоит из «стимулов» – множества возможностей, впечатлений, наружностей, жестов, товаров, образов и звуков, которые сливаются в пестрый и непостижимый хаос. Средство самозащиты – тип личности, каким субъект становится, усвоив социальную логику, лежащую за этим хаосом: сосредоточенность на своих интересах и равнодушие к социальным процессам. Капиталистические формы управления людьми обратной стороной имеют разрушение коллективов и «обесцвечивание» людей. Разобщенность постоянно производится и воспроизводится, в итоге чего индивиды психологически «затвердевают» в жесткой городской жизни и отделяются друг от друга. Вот в чем состоит главный вектор приспособления, главное решение зиммелевского уравнения.

Исчисляющая, инструментальная рациональность капиталистической жизни личностей для себя не требует, более того, она, если воспользоваться более поздней метафорой Ю. Хабермаса, «колонирует» городскую жизнь. Насколько же при этом Зиммель тоньше марксистов! Он отнюдь не выводит человеческие несчастья из этого обстоятельства, а фиксирует следующий парадокс (2002, 31): «Отнюдь не необходимо, чтобы свобода человека отражалась в его душевной жизни ощущением благополучия». Разобщенность, получается, дает свободу. Отвердевание душой – возможность делать самого себя. Более того, разобщенность – это вид новой социальной связи, в которой только и возможна эта, невозможная в рамках иных, тесно сплоченных общностей, свобода. Свобода эта прежде всего умственная, позволяющая индивиду сделать самого себя в соответствии с правилами городского окружения, где связи с другими мимолетны, а союзы непрочны, будучи подчиненными правилам городской функциональности. Только не будучи членом тесно сплоченной социальной сети, а потому связанным по рукам и ногам обязательствами и нормами, может индивид обрести свободу для того, чтобы стать непохожим на других (и эту непохожесть затем тоже с выгодой для себя использовать). Практики городской жизни разобщают, но в ходе включенности в них появляется гибкость восприятия, формируется габитус изобретательного городского индивидуалиста.

### **Бремя культуры**

Помимо естественной для горожанина антипатии к другим, Зиммель выделяет еще один тип антипатии – к месту, к городу, точнее, к его «объективной» культуре, вызывая в памяти ницшевского верблюда, нагруженного бесполезным профессорским знанием. Вот его описание значительной части того, из чего город состоит (2002, 33): «Здесь в зданиях и учебных заведениях, в чудесах и комфорте техники, в формах общественной жизни и внешних государственных институтах сказывается такая подавляющая масса кристаллизованного, обезличенного духа, что перед ним личность,

можно сказать, совсем бессильна». Тут важно помнить, что, отдав дань экономическому пониманию основ социальной жизни и показав, что обмен и деньги являются одними из главных форм, Зиммель движется дальше в своем анализе того, как соединены жизнь и форма. Он показывает, насколько фундаментальную роль в существовании общества играет взаимосвязь культуры и жизни. В эссе «Конфликт современной культуры» он определяет культуру как самореализацию (2006, 61) «творческой стихии жизни». Фиксированные и неизменные **формы** дают возможность течению **жизни** выразить себя. Жизнь, по Зиммелю, нуждается в постоянном самовыражении, и его формы – произведения искусства, социальные и религиозные институты, развитие техники и науки, развитие городов. С одной стороны, в них жизнь **протекает**, с другой стороны, у этих форм – свой порядок и логика развития, противоположные общей неупорядоченности жизни. Чем больше они берут верх, тем сильнее та или другая форма жизни отдаляется от своего первоначала, опустошается, перестает служить нуждам самовыражения жизни, в результате чего жизнь ищет для себя другие каналы, другие формы, другие точки кристаллизации, оттесняя старые свои формы на задний план и некоторые из них ломая.

Именно эти старые, отслужившие свое, пустые формы видятся индивиду «массой кристаллизованного духа». Из них сложно построить развитую индивидуальность, к чему так стремится горожанин Зиммеля. Мыслитель осмысливает конфликт между «объективной» культурой города и «субъективной» культурой личности с точки зрения того существования, которое город предлагает, и того, какой жизнь могла бы быть (2002, 33):

Жизнь для нее становится, с одной стороны, бесконечно легкой, так как ей со всех сторон напрашиваются возбуждения и интересы, все для заполнения времени и мыслей, и это постоянно держит ее точно в потоке, где пловцу едва нужно делать кое-какие движения. Но, с другой стороны, жизнь индивида слагается ведь все более и более из такого безличного содержания и материала, которые стремятся подавить специфически-личную окраску и оригинальность.

Зиммель тут говорит о цене, которую платит индивид за возможность быть в потоке городских событий. Здесь речь идет о намеченной в философских текстах Кьеркегора и Ницше, Шелера и Хайдеггера дихотомии подлинности индивидуального самопревзойдения и неподлинности повседневного городского существования с оглядкой на других, которая вылилась в общие для европейской философии конца XIX–первой половины XX в. негативные оценки социальных форм повседневного поведения. Зиммель, не ограничиваясь философской рефлексией, сочетает в своих размышлениях социологический анализ, психологические зарисовки и штудии культуры. «Невыносимая легкость бытия», которую Зиммель зафиксировал в вышеприведенном фрагменте более, чем за полвека до культового романа Милана Кундеры, воспроизводится во многих сегодняшних литературных и повседневных объяснениях экзистенциальной значимости жизни в метрополисе. Для многих возможность быть «точно в потоке» связывается не просто с городом, но с городским центром: так, от обитателей московских кварталов вблизи Остоженки–Пречистенки можно услышать, что «просто находясь здесь, ты в курсе всего происходящего».

Смутное представление людей о том, что жизнь, которая разворачивается перед их глазами, при всем ее жестком на них давлении – только одна из возможных – реализуется в своеобразном **этосе** – этическом измерении проживаемой жизни. Этос, в свою очередь, проявляется в разнообразных, как сказали бы сегодня, стратегиях сопротивления современности, в поведении и психологических предрасположенностях различных городских типов. Противопоставляя в городе «типичные существования» (рассудочные натуры) и «самодовлеющие существования» (бунтарей вроде Ницше), Зиммель говорит, что для вторых «ценность жизни заключается именно в несхематическом, своеобразном, не поддающемся равному для всех определению». Современный «городской уклад жизни» тем самым противопоставляется иному, в котором жизнь могла бы быть разнообразнее. И хотя жажда «несхематического»

приводит иных, как показывает Зиммель, к тому, чтобы всецело сосредоточиться на задаче выделиться любой ценой, прибегая к экстравагантным манерам или стилю, важно, что «этос» жизни происходит в любом случае из опыта, из чувства, а не задан, как у Канта, извне. Экстравагантность одних соседствует с сознательной незаметностью других, цинизм третьих сталкивается с чувствительностью четвертых, игривость контрастирует с религиозностью – на «этос» накладываются социальные роли, отношение индивидов к которым опять-таки различается: от полного слияния до расчетливого следования, от компенсаторно-защитного до истерически-эпатирующего.

### **Продуктивность антипатии**

Насколько реалистично допущение, что «бесчувственное равнодушие» может быть главным эмоциональным оружием субъекта, насколько естественна для него такая психологическая конструкция? Зиммель проницательно замечает, что (2002, 28 – 29):

Область безразличия при этом вовсе не так обширна, как это на первый взгляд кажется; деятельность нашей души отвечает более или менее определенным ощущением на каждое почти впечатление, получаемое от другого человека, и только несознанность, скоротечность и быстрая смена этих ощущений приводит к видимому безразличию. В действительности последнее было бы нам также несвойственно, как невыносимо было бы расплывчатое постоянное обоюдное произвольное внушение. От обоих этих опасностей большого города нас охраняет антипатия, первичная стадия еще скрытого антагонизма практической жизни; она помогает создаться расстоянию между людьми и удалению их друг от друга, без чего жизнь в таких городах была бы невозможна... то, что в последней сначала кажется разрушающим всякую общественность элементом, есть лишь один из самых элементарных факторов социального развития.

Пространственные отношения не только определяют отношения между людьми, но и их символизируют, – считает Зиммель и успешно разворачивает этот тезис, прибегая в своем пространственно-социальном анализе не только к упомянутой оппозиции дистанции-близости, но и противопоставляя привязанность и отчужденность, притяжение и отвращение.

Обозначенный здесь и не утративший своего значения для понимания городской повседневности век спустя ход мысли нашел свое дальнейшее развитие в наброске о «Чужаке», написанном Зиммелем через пять лет после эссе о больших городах.

Исторически чужаками были торговцы, отношение которых к местным жителям было прежде всего прагматично-инструментальным: «Купят или не купят?». Чужаку не нужна была их близость, кроме, возможно, той, что продавалась: он слишком дорожил своей независимостью от них. Однако в отличие от странника, который сегодня здесь, а завтра там, чужак сегодня приходит, а завтра остается. Чужаку, как правило, не было дела до того, что и к нему относились как к типу, идентифицируя его чаще всего по национальному признаку. Это означало, что от него не потребуется ничего, вытекающего из местных обязательств или лояльностей. Его близость всегда временна, без каких-либо гарантий на будущее. Никакой «органической солидарности». Дистанция, сдержанность и анонимность – качества, которыми отмечен чужак, одновременно составляют и атрибуты городского существования. Не случайно Зиммель говорит, что положение чужака составляют в определенной мере и близость и дистанция. Хотя в какой-то степени они характерны для всех отношений, особое их сочетание и взаимное между ними напряжение образуют специфическое, формальное отношение к чужаку.

Важно замечание Зиммеля в «Философии денег» о том, что чужаков в традиционном историческом смысле в городе больше не найдешь (1978, 227). Гомогенизирующая сила денег такова, что отношения между людьми становятся все более «абстрактными и бесцветными». «Великий уравниватель» – деньги – сводит на нет контраст между местным и неместным обитателем

города. Или, что следует из эссе о больших городах, все в равной мере оказываются чужаками. Амбивалентно относящийся к миру и окружающим горожанин платит за погруженность в разнообразие жизни довольно высокую цену: он не видит людей в их уникальности, он ориентируется среди них, подразделяя всех посторонних на типы. И сам оказывается объектом такой типизации, как только выходит на улицу. Итог прост: посторонние – все. «Чужак», описанный Георгом Зиммелем, был не просто одним из маргинальных городских типов, но запечатлел преобладающий вариант своеобразной связи горожанина с местом обитания.

Эта тема была развита многими мыслителями. Раз «чужака» нет смысла понимать с точки зрения включенности-исключенности, раз чужаками являются в пределе все, тогда его концептуально имеет смысл искать внутри своей общности или даже внутри себя. Универсалистскую позицию здесь занимают историк городов **Льюис Мамфорд** (Mumford, 1990, 23) который называл горожан живущими «всегда в присутствии другости», и политический философ **Мэрион Янг** (Young, 1990), для которой город – «встреча чужаков». Урбанистическая мысль в XX в. колеблется между прославлением культурной продуктивности хаотичности городской жизни, ее вызова психологической инерции и трезвым пониманием того, что у разнообразия и непредсказуемости, которые так волнуют в городских встречах незнакомцев, есть обратная сторона – страх и тревога, связанные с тем, что «другие» пришли, чтобы остаться, что бы стать соседями и конкурентами в поиске работы. Эти страхи редко фиксируются в словах, но в делах властей, связанных с иммиграцией и управлением городами, и граждан они проявляются отчетливо. Более того, «скрытый антагонизм практической жизни», о котором говорит Зиммель присущ и иным социальным отношениям, в основе которых лежат класс и статус, культурные притязания и борьба за ресурсы. «Половинчатые, неясные отношения, укорененные в сумрачном настрое, который с равной легкостью порождает ненависть и любовь, и смешанный характер которого иногда

выражен в колебании между тем и другим» (1971b, 40) сквозят в наших и окружающих людей взглядах и движениях чаще, чем бы нам этого хотелось.

Зиммель наметил и иной поворот в осмыслении проблематики постороннего в городе, а именно связь между тревогами людей по поводу их собственной идентичности и принадлежности и присутствием рядом с ними других, на которых эти тревоги проецируются. Предсказуемость и прозрачность отношений, эмоциональный комфорт, который мы испытываем в «родной» группе, базируются на одном обстоятельстве: существуют «они», совсем не такие, как мы. Мы – трудолюбивы, они – ленивы, мы – честны, они – пронырливы, мы – дружелюбны, они – только и ждут нашего промаха. Что еще важнее – наши мысли схожи, мы друг друга в состоянии понять. Они – непостижимые чужаки. У нас – предсказуемость. У них – неопределенность. Представим, как сложно было бы определить границы «нас», не существуя «их». Фактически, «мы» и существуем как группа только за счет того, что существуют «они», вот почему нужда в них постоянна. «Иностранец живет внутри нас: он тайное лицо нашей идентичности», – продолжает эту тему **Юлия Кристева** (1991, 1).

Не случайно именно «Чужак» Зиммеля ложится в основу текстов, посвященных росту расистских настроений в городах. Диалектика близости и дистанцированности, намеченная мыслителем, получает развитие в осмыслении проблем пространственной сегрегации, когда доминирующая в обществе группа предпринимает значительные усилия по поддержке физической разделенности в пространстве мест своего обитания и мест обитания подчиненной группы – до той степени, что, не видя и не сталкиваясь с ее членами, ее представление о них становится все более абстрактным и все менее дружественным (что может оказаться питательной средой для расизма).

### **Значимость исследовательской оптики**

Сочетание дистанцированности и привязанности к городу отличает и тексты самого Зиммеля. Берлин рос, превращаясь в одну из крупнейших



европейских столиц, что совпало с собственным развитием Зиммеля. В то же время тексты мыслителя выразительно свидетельствуют о том, что простой погруженности в пестроту и насыщенность жизни метрополиса недостаточно, что нужен специфически настроенный взгляд на происходящее. Город именно потому был для Зиммеля бесконечным источником интригующих нас инсайтов, что мыслитель разработал специфическую исследовательскую оптику. Эта оптика основывалась на поиске характеристик того или другого вида социализации, т. е. «стиля» жизни, и вписывании их в широкий интеллектуальный или исторический контекст. Тем самым раскрывалось скрытое значение практик и техник городской повседневности, ее пространств и предметов. Но поиск скрытого и глубокого смысла в потоке событий – не самоцель. Городская жизнь сама по себе, как она протекает сегодня и завтра, тоже важна для мыслителя. Однако дело заключается опять-таки в том, какую стратегию «обрамления» того, что открывается твоему взору, выбрать, какой фокус избрать. Остановиться ли на отдельном индивиде в его точном отличии от всех других или нацелиться на создание картины общества с его формами и красками. Различие между целями познания соответствует различию в занимаемом исследователем расстоянии.

Где мы как наблюдатели находимся, какова наша **позиция** в отношении интересующего нас предмета – Зиммель побуждает нас вдуматься в пространственный смысл привычно используемых познавательных метафор, предвосхищая недавние дискуссии о исчерпанности взгляда из ниоткуда и важности рефлексии исследователем своей **местоположенности**. Но если в этих дискуссиях (прежде всего феминистских) под местоположенностью нередко понимается политическая мобилизованность исследователя, его готовность говорить и смотреть на вещи не с универсальной «точки зрения вечности», а с позиции группы, с интересами которой он отождествляется, то для Зиммеля предмет и фокус исследования были результатом непростой динамики научной цели и психологической предрасположенности исследователя. Последняя включала широкие эстетические пристрастия, что и

привело к тому, что это в сложностях постижения *искусства* черпал Зиммель аналогии для понимания происходящего в городе.

Во-первых, увлеченность Зиммеля понятием дистанции и постулирование дистанцированности как ключевого для модерности социально-пространственного отношения связаны с переосмыслением им Кантовой эстетики. Если Кант дистанцированность помещал в центр эстетического переживания, настаивая на беспристрастности субъекта, на его «незаинтересованном», т. е. отвлеченном от собственных интересов переживании произведения искусства, то для Зиммеля поле, в котором умение держать людей и предметы «на расстоянии» является ключевым, расширяется от тонкостей искусства до пределов всего общества (и связано с нивелирующей различия и абстрагирующей функцией денег).

Во-вторых, анализ Зиммелем понятия социальной **границы** восходит к понятию **рамы** картины или фотографии, задающей единство и целостность того, что открывается зрителю. Подобно тому, как рама картины одновременно усиливает и ее реальность и впечатление от нее, имеющиеся у общества и прекрасно сознаваемые людьми границы – то, что придает ему внутреннюю однородность. Верно и обратное: то, как функционально связаны элементы общества, получают пространственное выражение в замыкающей их границе. «Граница», понимаемая Зиммелем одновременно и в качестве пространственно сформированного социального факта и по аналогии с рамой картины, служит примером специфической для мыслителя понятийной работы, в которой соединяются эстетическое и научное.

В-третьих, сама метафора «картины» общества тоже, конечно, имеет эстетические измерения. Как существует бесконечное число вариаций пейзажа или портрета, так, допускал Зиммель, у стабильных вневременных «форм» может быть множество разнообразных содержательных выражений. Эти выражения, «содержания» форм, варианты инвариантов он описывал, обращаясь в своих эссе к городской жизни, моде, руинам, живописи Беклина, стилям поведения, вариантам взаимоотношений.

В-четвертых, подобно тому как хорошее произведение искусства открыто бесчисленным интерпретациям, включая и те, что осуществлены «по гамбургскому счету», касаясь «последних», экзистенциальных вопросов, Зиммель убежден, что мельчайшие детали, минутные эпизоды городской повседневности могут многое открыть внимательному наблюдателю. С этим связаны задачи, которые он ставил перед собой, описывая «духовную жизнь больших городов», допуская, что (2002, 26) «из каждого пункта на поверхности жизни можно опустить лот в самые глубины души, что все самые банальные внешности связаны в последнем счете с конечным решением вопроса о смысле и стиле жизни». Здесь сформулирована исследовательская стратегия Зиммеля, состоявшая в использовании фрагментов жизненного опыта и эпизодических впечатлений для создания полномасштабного анализа интересующего его явления, будь то деньги или культура.

### **Чикаго как место производства урбанистического знания**

Чикаго – заповедник классической американской культуры: от домов в стиле «прерия» Фрэнка Ллойда Райта до небоскребов Мис Ван Дер Роэ, от блюза и музыки в стиле *house* до первого в мире колеса обозрения. «Вертикальное» впечатление от города усиливается тем, что он воплощает рожденный в период модерности стиль планирования города по принципу строгой геометрии (решетки): улицы соединены друг с другом под прямым углом, а не петляют, как, например, в Бостоне. Когда многочисленные иммигранты осваивали городское пространство, они следовали этой геометрии, что выразилось в пространственной отделенности друг от друга «Чайнатауна», «Германии», «Гетто», «Маленькой Италии» и «Луп» – делового центра. Границы между местами обитания разных этнических групп, как и между неравными группами, живущими поблизости друг от друга, довольно строго охранялись. Границы всегда существуют и развиваются в отношениях между группами, когда у одной группы достаточно ресурсов, чтобы держать на

расстоянии другую группу. Город быстро и стихийно рос, а сосуществование старых и новых жителей далеко не всегда было мирным – до той степени, что именно в Чикаго сложилось понятие **расовые отношения** - в 1919 г., когда во время расовых волнений была здесь создана специальная Комиссия по расовым отношениям. То, что чикагские социологи видели каждый день на улицах, вылилось в их теоретическое понимание города, в основе которого лежало осмысление возможности и границ социального контроля за происходящим в городах.

Местом производства урбанистического знания был, однако, не только город в целом, но и здание под номером 1126 по 59 Ист Стрит – здание факультета социальных наук, где с 1929 г. обосновалась чикагская школа – сплоченный коллектив профессоров, исследователей, сотрудников и студентов, которые приняли вызов руководства этого нового университета, созданного в конце XIX в. по завещанию Рокфеллера-старшего: добиться столь же блестящих результатов в преподавании и исследованиях, что показывали старые элитные американские университеты. К отлично оснащенным помещениям скоро добавились издательство Чикагского университета и «Американский журнал социологии». Неудивительно, что с такими ресурсами Чикагский факультет социологии быстро и почти на все столетие стал лидирующим в стране, а чикагская школа произвела невероятное количество книг, статей и методических руководств. Так что чикагская школа представляла собой прежде всего институциональное и организационное место, позволившее наладить конвейер эмпирических исследований под руководством маститых ученых. Маститость, кстати, к некоторым из них пришла весьма стремительно: **Роберт Парк**, к примеру, за десятилетие с небольшим вырос из журналиста, специализировавшегося на освещении расовых проблем в колониях и южных штатах США, в лидера этой школы.

Провести границу (а тем самым ответить на вопрос, чем собственно занимались чикагские исследователи) между городской социологией и городской антропологией как дисциплинами и социологическим изучением

подростковой преступности, миграции, бедности и богатства, гомосексуализма, социальной сегрегации (темы, открытые чикагцами) на примере данного города не всегда возможно, но можно выделить несколько специфических для них концептуальных и, если угодно, эмоциональных тенденций.

Во-первых, это не иссякший до конца существования школы энтузиазм в отношении изучения города, в котором они жили – Чикаго. Его история и его обитатели, его демография и его структура – все это было интересно и все волновало до такой степени, что сухие социологические выкладки нередко перемежались в текстах с поэтическими именованиями: кварталы богемы именовались «городом башен» (*towertown*), кварталы, промежуточные по своему характеру, – «миром меблированных комнат» (Zorbaugh, 1929). Поэтичные метафоры чикагцев позволяли «растягивать» себя и на другие города. Впрочем, ниже еще пойдет речь о двусмысленной позиции чикагцев в отношении того, до какой степени это знание приложимо к другим городам.

Во-вторых, это их реформаторский, прогрессистский настрой. Чикагцев иногда называют консерваторами на том основании, что они были озабочены увеличением преступности и оздоровлением нравов, проявляя при этом гомофобные и сексистские настроения. Так, известно, что Парк и Берджес противопоставляли свою науку социальной работе как «женскому» делу. В то же время некоторые их студенты подрабатывали в городских реформистских организациях, что приводило к тому, что они следили за теми самыми людьми, что изучали (или изучали с тем, чтобы этих людей было проще потом «реформировать»). Изучение чикагской школой таких нетрадиционных в первой половине XX в. тем, как сексуальность, что влекло за собой, в частности, такой специфический вариант включенного наблюдения как «работа под прикрытием» в гей-сообществах Чикаго, порождало многочисленные противоречия и конфликты интересов (Неар, 2003). В то же время они были убеждены в возможности вертикальной мобильности, которую открывает американское общество. Их позиции в отношении того, как именно производимое ими знание может способствовать социальным реформам,

отличались: если Парк настаивал на том, что главное – достижение максимально объективной картины происходящего и скептически относился к предложениям участия в социальной работе, то Берджес не чурался членства в нескольких муниципальных комитетах, нацеленных на оздоровление нравов и популяризацию нравственных норм среднего класса.

В-третьих, это демонстрация контекстуальной местоположенности всех социальных процессов, их локализованности в пространстве и времени (Abbot, 1999, 196–197). Невозможно понять жизнь общества, не вглядываясь во взаимодействия людей в конкретных социальных пространстве и времени. Поэтому социальный факт теряет свой смысл в отвлечении от места и времени. Каждый факт местоположен, окружен другими фактами, в совокупности образующими данный контекст и вызван к жизни процессами, связанными с прошлыми контекстами. Когда осуществляется синхронный анализ, акцент делается на социальных отношениях и пространственной экологии, в случае диахронного анализа – на социальных процессах. Сегодня изложенные принципы кажутся элементарными, но если мы всмотримся в массив производимых сегодня текстов, то увидим, что нередко в них речь идет о демонстрации связей между социологическими переменными вне зависимости от масштаба обсуждаемых процессов: «образование» будет иметь «влияние» на «профессию» независимо от других качеств индивида, его прошлого опыта, его друзей, знакомых и связей, места его проживания, времени его жизни и жизни его сообщества и социума. Чикагцы, нанешие на карту 75 «естественных ареалов», охватывающих собой свыше 300 районов города, резонно сочли бы такой ход мысли не очень продуктивным.

В-четвертых, это сочетание эволюционизма и натурализма в качестве оснований их мысли. Чикагская школа мыслила город как естественное место обитания цивилизованного человека, и поскольку это западная цивилизация мыслилась передовой, то чикагские авторы были убеждены в неизбежности и необходимости ассимиляции многочисленных мигрантов. Им, однако, хватало трезвости понимать, что усвоение людьми норм свободной жизни в свободной

стране будет проходить не в виде диффузной эволюции, а в рамках борьбы за лидерство и места под солнцем тех групп, к которым они принадлежали. В этом отношении мысли Парка, Берджеса и Уирта близки логике, определяющей масштабный исторический очерк становления нравов в европейской цивилизации, написанный **Норбертом Элиасом**. «Процесс цивилизации», т. е. позиционирование себя доминирующими социальными группами в качестве более цивилизованных (обладающих более продвинутых манерами и т. д.), как убедительно показывает немецко-американский социолог, часто шел незапланированным образом, но неизбежно основывался на борьбе за лидерство между различными социальными группами.

### **Городская экология**

«Выживает сильнейший», – этот нехитрый лозунг социального дарвинизма, наверное, главное, что сближает современных отечественных наблюдателей за городской жизнью и чикагскую школу городской социологии. В ней города интерпретировались как постоянно развивающиеся организмы, причем это развитие включало как рост, так и упадок, как социальную норму, так и социальную патологию. «Городская экология» – так называется подход к изучению городов, объединивший **Роберта Парка, Роберта Маккензи, Луиса Уирта, Эрнеста Берджеса, Харви Зорбаха**. В нем биологизм сочетался с эволюционизмом, а социальность городской жизни виделась укорененной в материальной среде. Устойчивые способы воспроизводства социальной жизни в городах понимались этими авторами с отсылкой к естественным **силам**, действующим помимо сознания людей. Социальная организация мыслилась как результат неосознанной эволюции.

Вглядываясь в то, как все новые волны мигрантов оседали в районах города, – без какого-то особого регулирования и координации со стороны государства – в соответствии с некоторой логикой чикагцы увидели в этой логике проявление «биотической борьбы», как ее называет Парк, т. е. бессознательного соревнования и приспособления групп людей, приводящего к

тому, что различные социальные функции закреплялись за самыми подходящими участками пространства. Те виды активности, которые функционально более всего подходили для данного места, постепенно в этом месте воцарялись, вытесняя другие активности, которым необходимо было искать для себя другие места. Между различными типами пользователей одного и того же места постепенно устанавливался симбиоз, от сосуществования друг с другом они получали выгоду, и в целом установившаяся экологическая система стремилась к состоянию равновесия. Нарушение равновесия в силу увеличения населения или каких-то иных причин приводило к новому витку биотического соревнования, в ходе которого новые группы пытаются найти для себя новые ниши в изменившейся среде. Старые варианты использования места уступают место новым, равновесие восстанавливается, а социальная и культурная жизнь начинает происходить в рамках возникших новых сообществ.

Социальный дарвинизм нашел выражение в теориях концентрических зон и «естественных» ареалов. Трансформация индустриального города в связи с приростом мигрантов виделась чикагским социологам так: городская жизнь – это бесконечная борьба за ресурсы, в ходе которой складываются так называемые естественные ареалы, каждый из которых закрепляют за собой особые группы людей. «Естественные» ареалы – это социальные пространства, возникающие в ходе «естественного» экологического развития города – в противоположность запланированному развитию. Стремление найти проявления регулярности в видимом хаосе преступности, семейных проблем, беспризорных детей привело к успешной «визуализации» сдвига социальных и моральных норм, происходящего в американском обществе (и имеющего обязательные пространственные эквиваленты). Если какие-то городские территории колонизируются новыми резидентами, старым приходится искать для себя новые места обитания – почти так же, как в животном мире. Вторжение новичков неминуемо означает отступление или «поражение в правах» старожилов. Соревнование между различными социальными группами



сопровождается процессами вторжения, защиты и подчинения себе тех естественных ареалов, к которым группы наиболее хорошо приспособлены. Стремление повысить социальный статус ведет к ассимиляции мигрантов, а их неудачи на этом пути приводят к маргинализации. И те и другие процессы имеют пространственные корреляты: бедные районы уступают по популярности богатым, а социальная сегрегация выражается в пространственной, и, более того, все, за чем в обществе закрепилось название «социальное», может быть в конце концов сконструировано и описано как пространство.

Социальный дарвинизм чикагцев не был тотальным, дополняясь признанием роли культурного наследия и социального взаимодействия в складывании отношений между белыми и цветными обитателями города. Борьба последних за социальный статус, стремление закрепиться и даже ассимилироваться представляла собой один из устойчивых «паттернов» городской жизни, который приводил к пространственным последствиям: движение из бедных сегрегированных районов в богатые. Люди вторгаются в жизнь друг друга, пытаясь направлять, контролировать и выражать свои собственные конфликтные импульсы, – был убежден Парк. Чикагские авторы, конечно, отдавали себе отчет и в том, что многое происходящее в городе есть результат целенаправленной деятельности, но настаивали на том, что устойчивые модели городского роста – результат глубинных эволюционных процессов. Значимость культурного измерения городской жизни отражена и в убеждении Парка, что необходимо было исследовать влияние средств массовой коммуникации (телефона, радио, газет и журналов, массовой литературы) на нравы и мобильность населения. Студенты и молодые исследователи вняли этому призыву, изучив и то, как многочисленные журналы «про любовь» разрушают традиционные семейные узы, маня несбыточным, и то, как в чикагских библиотеках зачитываются до дыр романы, в которых идет речь об романтических отношениях, далеких от повседневных.

В своей знаменитой схеме концентрических зон роста города и его социальной организации Берджесс выделяет пять зон: центральный деловой округ (1), «зона транзита», в которой старые частные дома перестраиваются и приобретают иные функции, прежде всего коммерческие и жилые (2), зона домов «независимых рабочих» (3), зона «домов получше» (4) и зона перемещения (5) (Burgess, 1925, 142–155). Поскольку эта схема призвана была проиллюстрировать социальную и **моральную** организацию городского пространства, Берджесс уделяет особое внимание «зоне транзита» с ее кварталами богемы, районами «красных фонарей», «миром меблированных комнат», Чайнатаунами и т. д. как самой проблемной. С его точки зрения, достаточная удаленность зоны от центра города была эквивалентна гарантии социальной нормальности. С другой стороны, чикагцы, напомним, были прогрессистами: вера в то, что в их стране возможна социальная мобильность, также находит отражение в этой схеме, ибо она позволяет зафиксировать не только закреплённость участков города за какими-то социальными слоями, но и перемещение городских обитателей из одной зоны в другую. «Гетто» Луиса Уирта как раз прослеживает, каким образом обреченные начинать жизнь в новой стране в «проблемном» центре города еврейские эмигранты постепенно выбирались в социально благополучные пригороды.

Опираясь на многочисленные архивные документы, опросы, свидетельства и case-studies, проведенные ими самими, их студентами, социальными работниками, реформаторами, в ходе которых была документирована жизнь афроамериканцев и проституток, посетителей танцзалов и обитателей муниципального жилья, богемы и гомосексуалистов, бездомных и обитателей трущоб, лидеры чикагской школы создали карты, документирующие «социальный отбор» (Р. Парк) городского населения. Были созданы диаграммы, отражающие карьеры гангстеров и любимые места шизофреников, не говоря уже о расположении гостиниц, борделей, магазинов и прочих мест деловой активности. Парк выделил «естественные социальные группы», что близко по смыслу расам, и показал, как они подчиняют себе

определенные районы города, в ходе чего китайцы создают Чайнатаун, итальянцы – Литтл Итали и т. д. Процессы сегрегации устанавливают моральные дистанции, которые превращают город в мозаику маленьких миров, которые соприкасаются, но не проникают друг в друга, – так виделось происходящее Парку. Это отрывает возможность быстрого перемещения индивидов из одного морального ландшафта в другой, осуществляя проблематичный эксперимент по совмещению пространственной близости и ценностной изолированности. Ему вторит Берджесс, показывая, что изобретательность молодых людей из хороших семей, нацеленная на поиск свободных от надзора и нотаций пространств, подкреплялась активным строительством кабаре, танцзалов, дворцов в богатых частях города, сулящих «приключение и любовь» (Burgess, 1929, 169).

Деятельность Чикагской школы была отмечена колебаниями между накоплением деталей, характерных только для данного места – Чикаго, и стремлением продуцировать достаточно универсальные модели, пригодные для любого города. Историк Чикагской школы Эндрю Эббот (Abbot, 1999) рассказывает о характерном в этом отношении эпизоде. Эрнест Берджесс часто выступал в университете и за его пределами с докладом о своей теории концентрических зон (о ней шла речь выше), показывая присутствующим схему этих зон, наложенную на карту Чикаго. Здесь важно помнить, что зоны – условное членение городской территории, позволяющее проследить процессы, связанные с мобильностью населения и различным использованием земли. Когда кто-то из присутствующих спросил Берджесса после доклада: «А что это за голубая линия посреди схемы?», последовал ответ: «О, это озеро!». Берджесс имел в виду озеро Мичиган – огромный водоем, больше похожий на море, без которого Чикаго невозможно представить. «Голубая линия» важна в том смысле, что невозможно строить модель функционирования города, не принимая во внимание характер его территории: уникальность Чикаго – в том, что существование озера предопределило структуру города. Однако в книге Берджесса и Парка «Город» фигурируют две схемы: так сказать, с озером и без.

В первой удержана специфичность города, во второй воплощена абстрактная модель, годящаяся повсюду. Суть комментария Берджесса по поводу первой схемы была такова: ни Чикаго ни какой-то другой город полностью под эту идеальную схему не подпадает. Берег озера, река Чикаго, железнодорожные пути, исторические факторы в расположении промышленных предприятий и некоторое сопротивление местных сообществ вторжениям извне усложняют картину. По поводу второй Берджес говорил, что эта схема представляет идеальную конструкцию тенденции к радиальному расширению из центрального делового района, развития, характерную для любого городка или города.

### **Критика чикагской школы**

Организмизм, биологизм, эволюционизм – при всем отличии этих понятий ортодоксальной социологией активно отвергаются как заведомо редукционистские варианты понимания социального развития. Причин здесь несколько. Во-первых, это влияние постколониальной мысли и в целом постклассических теорий. Эволюция западной цивилизации не мыслится более как единственно возможная теоретическая модель, поэтому под подозрением находятся все эволюционистские модели. Во-вторых, это влияние теорий социального действия, в которых источником изменений мыслится индивидуальная деятельность, нацеленная на достижение запланированных результатов. В-третьих, это увлечение возможностями радикальных изменений, сквозящее в текстах неомаркистов. В-четвертых, это распространение социального конструктивизма, проблематизировавшего сам ход мысли, согласно которому хоть что-то в человеческих действиях и социальных институтах может быть объяснено на основе «естественных» процессов. Так, по мнению сторонников этой парадигмы, предположение о том, что расовая, классовая, сексуальная идентичность легко определяемы и бесп проблемно соединяемы с определенным городским кварталом, привело к

тому, что классовые, расовые и прочие различия «эссенциализировались», а группы виделись как чрезмерно однородные и сплоченные.

Общая непопулярность эволюционной теории в социологии привела к тому, что городская экология чикагцев, начиная уже с 1930-х гг., была подвергнута серьезной критике.

Первая линия критики была связана с постулированием чикагскими авторами существования неких глубинных процессов, которые не всегда получали очевидное выражение на «поверхности» социальной жизни. Так, оспаривалось не просто выделение чикагцами в качестве отдельного детерминирующего рост городов фактора **биотического соревнования**, но их неспособность эмпирически продемонстрировать значимость этой детерминанты (того, что «биотические» процессы работают отдельно от культурных и социальных). Социолог **Уолтер Файри** (Firey, 1945, 140–148) на примере Бостона показал, что иногда биотическое соревнование (если оно вообще существует) может быть заблокировано культурными факторами: сентиментальная привязанность жителей к старым центральным районам, находящимся под угрозой вторжения в них новых обитателей, может, так сказать, перевесить биологическую логику. На недооценке культурных факторов в жизни городских сообществ построил свою критику **Мануэль Кастельс** (Castels, 1977).

Интересно, однако, что в статьях последних двух десятилетий именно работа «биологической» логики в городах берется под защиту. К примеру, говорится, что «биотические силы» можно мыслить как реальные, но ненаблюдаемые процессы в организации городов, которые только **могут** проявиться в некоторых городах, если для этого сложатся подходящие условия. Как правило, однако, очевидность действия культурных факторов препятствует этому (Dickens, 1990).

Вторая линия критики парадоксальным образом связана с тем, что результаты, полученные чикагскими авторами, относились к конкретному городу, и не могут быть распространены на другие регионы. Главным

препятствием мыслилась уникальность Чикаго как города со стремительным ростом населения в результате внешней и внутренней миграции, индустриализации и разворачивания капиталистических отношений, тогда как в городах в других частях света рост был куда более ограничен, население – однороднее, и они в значительно меньшей степени были затронуты индустриализацией (Hannerz, 1980, 57–74).

Третья линия критики была, наоборот, связана с универсализующими тенденциями в исследованиях чикагских авторов. К примеру, постулирование Уиртом универсальных характеристик **урбанизма как образа жизни** оспаривалось урбанистическими этнографами на том основании, что в действительности существуют **разные** «урбанизмы». Всегда ли насыщенные, разносторонние социальные отношения, которые возможны в городских гетто, со временем теряют свою глубину и превращаются в отношения холодного безразличия к окружающим? Всегда ли городской образ жизни связан с конкретными пространственными формами? Эта линия проблематизации была развита авторами, исследующими специфику урбанизма в незападных городах. Так, авторы так называемой манчестерской школы городской этнографии, изучая социальные отношения в городах Замбии, пришли к выводу о том, что в них специфически соединяются трайбализм и урбанизм, анонимные отношения и упорная работа по категоризации окружающих людей по принципу «свои – не свои», поиску все новых и новых линий связей с теми, кто родом из твоей деревни, дальний родственник или просто знакомый знакомого (Robinson, 2006, 41–65). Способность создавать и укреплять разнообразные сети отношений, разнящиеся по степени близости и интенсивности контактов, способность до неузнаваемости варьировать поведение в зависимости от исполняемой социальной роли были теми качествами, которые формировало у обитателей африканских городов существование в условиях колонизованного города. Все это усилило понимание антропологами урбанизма как совокупности **различных** культурных опытов.

## Уроки чикагской школы

Города функционируют как организованные системы – с этим тезисом согласны многие исследователи. Но какова природа этой организации? Всецело ли она связана с целенаправленным планированием или в ее генезисе и функционировании есть нечто от «естественных», незапланированных процессов? Ответы на последний вопрос, который дает современная социальная теория, делятся на три группы. Первая группа близка идеям «городского менеджизма» (они кратко рассматриваются в главе о городской политике). Властвующие индивиды, или элиты, мыслятся как главные субъекты организации городов, активность которых предопределяет то, как города создаются и функционируют. Вторая группа ответов, даваемых урбанистической политической экономией и марксистской социальной географией, объясняет трансформации городов масштабными капиталистическими силами. Режимы аккумуляции капитала в городах, город как место производства материальных благ и воспроизводства рабочей силы, город как место потребления в нем же произведенных товаров – практически все в организации и функционировании города объясняется капиталистической динамикой. Третья группа ответов связана с отказом от тотальной социологизации объяснений в пользу попыток представить городскую организацию как результат сложного взаимодействия природных, материальных, политических, социальных и культурных факторов. Эта исследовательская стратегия связана с социальными исследованиями науки, с нарастанием междисциплинарности городских исследований, с пониманием опасности социально-конструктивистского редукционизма.

Чикагцы были одними из первых авторов, кто недвусмысленно заявили, что эволюция и организация городов не может быть объяснена только на основе экономических или культурных факторов, но проходит на «биотическом» уровне, не попадающем в поле человеческой рефлексивности. К примеру, преобладающие варианты социальной сегрегации могут быть точнее объяснены не только на основе экономических процессов (динамики рынка

недвижимости) и культурных предпочтений (стремление поселяться в районах, отвечающих представлениям людей о стиле жизни), но и врожденными и унаследованными сантиментами и мотивами, которые влекут людей к близким себе по крови или по духу.

Отстаивая тезис о современности идей городской экологии, британский урбанист **Питер Сондерс** убедительно демонстрирует, как «что-то еще», помимо экономических, социальных или культурных детерминант, работает в пространственных предпочтениях горожан, обращаясь к исследованиям динамики расселения мигрантов в Бирмингеме, проведенных Рексом, Муром и Томлинсон (Saunders, 2001, 44–45). Политика властей и домовладельцев препятствовала поселению недавних чернокожих мигрантов в пригородах: чтобы стать домовладельцем и претендовать на заем, необходимо было предоставить солидные гарантии долговременной занятости, чего у приезжих, конечно, не было. Они, как это происходило и в тысячах других европейских и американских городах, селились в оставленном состоятельными людьми центре, где можно было дешево купить старые большие дома, разделить их на квартиры и зарабатывать, сдавая эти дома в аренду тем, кто поселился в данном районе позднее. Пока в этой истории на первом плане – экономические и политические факторы, препятствующие поселению мигрантов там, где бы им хотелось («белые» пригороды). Но по истечении примерно двух десятилетий картина было совершенно иной. На вопрос о том, хотели бы они перебраться в пригороды, большинство отвечало отрицательно – по той причине, что теперь здесь, в одном из районов центра, они чувствовали себя как дома, спокойно и защищенно. В терминах чикагской школы, группа чернокожих иммигрантов «вторглась» в данный городской район, достигла в нем «доминирования», «приспособила» к своим нуждам его инфраструктуру и начала в его рамках утверждать свою собственную «культуру», в итоге возник новый «естественный ареал», к которому у его обитателей возникло чувство привязанности. Сондерс противопоставляет этому «биотическому» процессу противоположный – когда в результате искусственно возникших



административных границ или политических нововведений людей вынуждают жить бок о бок с теми, кто социально от них далек. С его точки зрения, драматические эпизоды истории Косово, Северной Ирландии или Бургундии связаны именно с этим, не говоря уже о многочисленных примерах плохо функционирующих сообществ с высоким уровнем внутреннего антагонизма. Англия с ее довольно грустной историей послевоенного социального реформирования (движение *New Towns*) дает немало примеров провалившихся попыток реформаторов создать районы, в которых проживали бы бок о бок представители разных классов. Те, кто имели средства, из этих районов быстро уехали, сегрегация только усиливалась, а попытки «местно» насадить социальное разнообразие потерпели полное фиаско. Самым выразительным примером здесь является история «Каттслоу Уолс» в Оксфорде, где обитатели частного квартирному комплекса заставили местные власти построить стену, отделяющую их от соседнего комплекса, в котором жили не устраивающие их обитатели. Советский опыт пространственного насаждения социального равенства и стремительное нарастание пространственно-социальной фрагментации городов в последние двадцать лет также демонстрируют, что «биотические» факторы – серьезная сила.

Тезис Парка состоял в том, что «естественные ареалы», отличавшиеся довольно высокой культурной однородностью, эффективно определяли пространственное структурирование города **в том числе и потому**, что люди **предрасположены** к кооперации с близкими себе. Какого рода эта предрасположенность и как именно в ней сочетаются унаследованные и благоприобретенные факторы – на эти вопросы нет точных ответов, но открытость чикагцев допущениям о не всецело-социальной природе этих диспозиций заслуживает уважения.

**Саския Сассен**, подчеркивая уникальность исследовательской ситуации чикагцев, называет Чикаго «эвристическим пространством для понимания масштабной динамики индустриальных обществ» (Sassen, 2005, 252). Вместе с тем тот факт, что не все их инсайты оказались востребованными, она объясняет

тем, что на протяжении большей части XX в. западные города просто не могли более составлять такое эвристическое пространство. Индустриальная эпоха, так сказать, устоялась, а своеобразные успехи политического и социального регулирования городов привели к тому, что какие-то интересные для урбанистов процессы в них стало проследить сложнее. Местом масштабной динамики стали, скорее, правительства и промышленность (включающая промышленное производство домов для американских пригородов).

Конец XX в., однако, опять именно города сделал объектом пристального интереса – в силу процессов глобализации. Они стали главным местом целого спектра новых политических, социальных, культурных, экономических процессов. Но здесь возникает такая сложность: для чикагских авторов город был «лабораторией», позволяющей на его примере судить о социальных процессах всего американского общества. Насколько изучение городов сегодня может помочь критическому и аналитическому пониманию масштабных социальных процессов? Проблема в том, что в разворачивающихся на наших глазах новых пространственных конфигурациях город как таковой уже не занимает того центрального места, какое он занимал в классической урбанистике. Масштабные, связанные с глобализацией процессы приводят к образованию новых пространственных феноменов, в результате чего если и существует сегодня «эвристическое пространство», то оно связано, скорее, с «городом-регионом». В широком мире «трансурбанистической динамики» город как таковой – лишь один из узлов. В его понимании на первый план выходит, во-первых, не замкнутость, но напротив, разомкнутость, во-вторых, не унифицированность, но сложность, в-третьих, не вписанность в пространственную иерархию, на вершине которой – национальное государство, но самостоятельная «глобальная» роль (возможная для некоторых городов). Поэтому теоретическое «государственничество», «статизм» уже не может играть роль доминирующей теоретической рамки в анализе городов.

Первый вызов, с которым, соответственно, сталкиваются урбанисты – это найти «не-статистскую» теоретическую рамку, освободиться от контейнерного

мышления в терминах национального государства. Второй связан с усложнившимся пониманием «мест». Переосмысление значимости физической близости для понимания привязанности людей к месту, потоки информационных технологий, динамика глобального и локального, маркетинг мест – эти и многие другие тенденции обуславливают то, что в городских исследованиях на первый план выходит место, часто понимаемое как связанное с транстерриториальными процессами. Детальная полевая работа могла бы помочь зафиксировать многие из этих новых процессов, и глубина погружения в процессы, идущие в одном городе, которую продемонстрировали авторы чикагской школы, остается непревзойденной.

## ЛИТЕРАТУРА

*Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь//Логос.2002.№ 3-4. С.23-34.

*Зиммель, Г.* Чужак // Социологическая теория: история, современность, перспективы / Под ред. А. Ф. Филиппова. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 237-271.

*Зиммель, Г.* Конфликт современной культуры//Избранные работы. Киев: Ника-Центр, 2006. С.61-79.

*Abbot, A.* Department and Discipline: Chicago Sociology at One Hundred. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

*Castels, M.* The Urban Question. London.: Oxford, 1977.

*Burgess, E.W.* The Growth of the City: An Introduction to a Research Project// The City/ Robert E. Park & Ernest W. Burgess (Eds.). Chicago: Chicago University Press, 1925. P. 142-55.

*Burges E.W.* Studies of Institution// Chicago: An Experiment in Social Science Research/ T.V. Smith and L.D.White (eds.). Chicago: University of Chicago Press, 1929.

*Firey, W.* Sentiment and Symbolism as ecological variables//American Sociological Review.1945. No. 10. P.140-148.

*Dickens, P.* Urban Sociology. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1990.

*Hannerz, U.* Exploring the City: Inquiries Toward an Urban Anthropology. New York: Columbia University Press, 1980.

*Heap, C.* The City as a Sexual Laboratory: The Queer Heritage of the Chicago School//Qualitative Sociology. 2003.Vol.26. No.4. P. 457-487.

*Hubbard, P.* City. London and New York: Routledge, 2006.

*Kristeva, J.* Strangers to Ourselves. New York: Columbia University Press, 1991.

*Robinson, J.* Ordinary Cities. Between Modernity and Development. L.: Routledge, 2006.

*Sasken, S.* Cities as Strategic Sites//Sociology. 2005. Vol.39 (2). P.352-56.

*Savage, M., Warde, A., Ward, K.* Urban Sociology, Capitalism and Modernity. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

*Saunders, P.* Urban Ecology, Handbook of Urban Studies/ Ronald Paddison (ed.). London: Sage, 2001,

*Sennet, R.* The Conscience of the Eye. New York: Norton, 1990.

*Simmel G.* How is Society Possible?//Georg Simmel on Individuality and Social Form. Selected Writing. Chicago: University. of Chicago Press, 1971. P.6- 22.

*Simmel G.* The Problem of Sociology// Georg Simmel on Individuality and Social Form, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1971, p. 24-40.

*Simmel G.* Gesamtausgabe. Ed. O. Rammstedt. Frankfurt: Suhrkamp, 1989. Vol. 13. p.62 (цит. по *Lash, S.*, Lebenssociologie: Georg Simmel in the Information Age, Theory, Culture, and Society, 2005, 22 (3), pp. 1-23).

*Simmel G.* The Conflict of Modern Culture//Simmel on Culture/Ed. By David Frisby and Mike Featherstone. London: SAGE, 1997.

*Simmel, G.* The Philosophy of Money. Boston, Routledge, 1978.

*Vidler, A.* Psychopatologies of Modern Space: Metropolitan Fear from Agorophobia to Estrangement// Rediscovering History/Michael S. Roth (ed.). Stanford: Stanford University Press, 1994. P.11-29.

*Young, M.* Justice and Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990.

*Zorbaugh, H.W. Gold Coast and the Slum. Chicago, 1929.*

### **ТЕМА 3. НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ГОРОДА**

В 1960-1970-е в урбанистике сочетались, во-первых, позитивистские по духу количественные модели использования городской земли; во-вторых, исследования субъективного отношения людей к городу, и в-третьих, радикальная политическая экономия, основанная на марксизме. Первые продолжали чикагские традиции картографирования города, используя статистические методы и бихевиористские модели. Бихевиоризм был популярной моделью и тех авторов, которые вслед за Кевином Линчем [Lynch, 1960], занимались исследованием ментальных карт города. Каким образом люди ориентируются в городе, как прокладывают себе путь, как принимают решения о найме жилья – эти вещи выяснялись вначале с помощью опросов, а затем с помощью компьютерного моделирования. Один из главных результатов этих исследований состоял в обнаружении того, что в повседневном поведении горожан немало иррационального. Радикальная политическая экономия обратилась к отношениям производства, потребления, распределения и обмена, способствуя пересмотру отношений между исследователями и властями. Ученые видели себя теперь не только поставщиками информации тем, кто принимает решения. Последние, наряду с планирующими инстанциями и девелоперами, были включены в число объектов исследования – в качестве факторов, скорее, создающих и воспроизводящих социальные проблемы, нежели их успешно разрешающих. И немудрено: поскольку фоном и истоком всех городских явлений и проблем для марксистской урбанистики был капитализм, то все агенты городского развития мыслились как вовлеченные в поиск наиболее выгодных мест для вложения капитала.

Не слишком ли, однако, жесткая это рамка для объяснения происходящего в городе, и в особенности процессов, связанных с социальными и культурными различиями? Таким вопросом все активнее стали задаваться

начиная с 1970-х гг. и феминисты и представители постколониальных исследований. Различия и их влияние на идентичность обитателей города были в центре их внимания. Допущение о том, что наряду с экономической логикой капитализма городская жизнь определяется другими процессами, роднит эти течения с постструктурализмом. Рефлексия феномена различий между людьми и культурами привела в последние десятилетия к обостренному ощущению присутствия «другого» в философском, историческом, критическом дискурсах и к проблематизации феномена гетерогенности человеческого существования. Сконцентрированность на языке и репрезентации мира в различных символических системах позволила сторонникам постструктурализма продемонстрировать взаимосвязь материальных и нематериальных сил. Так, последователи Мишеля Фуко показали силу дисциплинарных описаний современного мира и способность социальных наук собственные тотальные обобщения социальной реальности продвигать в качестве доминирующих – за счет местного и наивного знания. С тех пор тем ученым, кто считает, что их взгляд на реальность по той или иной причине является привилегированным, сложнее утверждаться в своих претензиях на интеллектуальное господство.

В урбанистике этот сдвиг проявился в пересмотре амбиций: все меньше ученых видит смысл в создании обобщающих теорий города и все больше – в обращении к местному и частному в городах. О чем бы ни писали сегодня исследователи и в какой бы области они ни работали, в их текстах можно подметить такие общие черты, как отбрасывание монолитного и гомогенного во имя разнообразия, множественного и гетерогенного, отрицание абстрактного, общего и универсального в свете конкретного, частного. Так, выполненные «культурными географами» работы полемически свидетельствуют, что итоги изучения, к примеру, феномена беспрецедентной притягательности американских торговых центров, типов спортивных или медиа-фанатов или «призраков», преследующих воображение горожанина, несут человечеству одинаково важную информацию.

Но есть еще одна важная причина, почему наследие классической урбанистики, в «чикагском» или традиционно-марксистском ее вариантах, обнаруживало ограниченность. Стремительно менялись сами города. Они «децентрировались», если воспользоваться популярным в пост-структурализме термином. IT-компании и торговые центры, тематические парки развлечений и заводы – все это существовало теперь за пределами города. В собственно же городе тоже шли новые процессы: он по-новому разграничивался на корпоративные центры, «сообщества за воротами», центры потребления и т. д. Потребление стало центром жизни изменившихся, постиндустриальных городов – мест постфордистской экономики.

Обсуждение всех тем этой книги было невозможно без обращения к тем или иным вариантам неклассических теорий, так что я не видела смысла в том, чтобы полностью сконцентрировать соответствующий материал в этой главе. Здесь я рассмотрю постколониальные и феминистские урбанистические идеи, а затем обращусь к лос-анджелесской школе урбанистов, попытавшейся создать теорию постиндустриального города.

### Увидеть аквариум: постколониализм и урбанистика

Читателю случалось, вероятно, сталкиваться с проявлениями работы специфического географического воображения, которое «западное» и «европейское» делает ценностным центром, а все остальное рассматривает как заведомо «недоотягивающее» и даже «дикое». С начала перестройки нам всем памятен не просто ремонт, но «евроремонт». На Урале это проявляется в разнообразных играх вокруг границы Европы и Азии, пролегающей недалеко от Екатеринбурга: и власти города и посетители соответствующего монумента явно тяготеют к «Европе» – с полным пренебрежением к географическим реалиям. Многим приходилось слышать неологизм «Азиопа» – грустный итог общей рефлексии о мере европейскости России. Знакомая журналистка, проехавшая по Сибири с запада на восток, рассказывала, что в каждом городе

она слышала одно и то же: «Дальше не ездите, цивилизация кончается здесь!». Кажется, что такого рода стереотипы мы впитываем с рождения и ничто их не устранил.

Постколониальные авторы считают иначе. Они полагают, что европоцентристское знание о пространствах и местах более не пригодно. Разделение мира на запад и восток, на котором основывается западное географическое воображение, приводит к тому, что характеристики соответствующим местам даются лишь на основе этой оппозиции.

Постколониальные исследования родились в 1970-е гг. – на волне активной деколонизации, антивоенных и антиимпериалистических движений. Они включают в себя во-первых, обсуждение опыта рабства, миграции, угнетения и сопротивления, различия, расы, гендера, места, и их материальных последствий; во-вторых, анализ реакции на дискурсы и идеологии имперской Европы (исторический дискурс, антропологический, философский, лингвистический). Они занимаются как анализом условий жизни и культуры в бывших колониях, так и в диаспорах, как условиями жизни людей в условиях колониализма и империализма, так и теми, что наступают с концом колониализма -- и этой парадигме присуще постоянное движение между прошлым и настоящим, ощущение исторического перехода и фокус на конкретном культурном месте.

Главный постколониальный вызов современного мира, возможно, состоит в «обратном» движении в страны-метрополии большого количества мигрантов. Они стремятся в более развитые страны потому, что там они как трудовой ресурс стоят дороже. Это порождает значительные проблемы и для переселенцев, и для соответствующих городов. Можно ли в принципе всех этих людей продуктивно занять на новом месте проживания – неизвестно. Ведь нужны гарантии не только устойчивого дохода, но и сохранения идентичности. Сила глобальных процессов постколониальными мыслителями не оспаривается, но мыслится как отказывающая индивиду в определенном месте в мировом порядке, природном или культурном. Глобальное и локальное



объединяются не как макрокосм и микрокосм, но конфликтно: каждое разрушает и искажает свою противоположность. Возможность абстрактно принадлежать миру тем самым исключается, а на ее место приходит «шок узнавания мира-в-доме или дома-в-мире», как выражается американский теоретик Хоми Баба. Не случайно, рассуждая о причинах и природе ноябрьских событий 2005 г. в северо-восточных пригородах Парижа, итальянский политический философ Антонио Негри вспомнил фильм французского режиссера Абдельлатифа Кешиша «Умолчание» (*L'esquive*) [2003]. Старшеклассникам одной из школ бедного арабского пригорода Парижа учитель предлагает поставить пьесу Пьера Карле де Мариво. «Нечаянности любви» французской комедии ошибок, входящей в классический канон, переплетаются с драмами отношений подростков, изъясняющихся на жестком слэнге и проводящих время в спорах и ссорах. Юные актеры-любители помогают Кешишу достоверно воссоздать повседневность обитателей социального жилья, в которой сказываются экономические и социальные проблемы, вызванные соединением постиндустриализма, перенаселенности мегаполиса, и гибридных идентичностей второго и третьего поколений мигрантов. Негри подчеркивает, что если вначале подростки идентифицируются с классической любовной историей, то затем, по мере того как сложная любовная динамика их собственных отношений достигает пика, они бунтуют против невинной пьесы, отказываясь играть «Нечаянности любви», в которой увидели комедию белой буржуазии.

Постколониальные исследования, как и cultural studies вообще, подходят к окружающему конструктивистски, т. е. не верят ни во что естественное, стремясь за социальными отношениями увидеть историю, показать, что дело могло бы обернуться и по-другому, что то, что существует, – не вечно, не универсально, т. е. является результатом конкретных исторических обстоятельств. Эту группу теоретиков отличает поэтому обостренный антиэссенциалистский пафос. Существуют ли расовые (классовые и прочие) отличия по природе? Существует ли «природа колонизатора» и «природа

угнетенного»? Зафиксировав, что имеет место позиционирование расовых отличий как «природных», в то время как в действительности эти отличия – продукт деятельности социальных сил, постколониальные авторы с подозрением относятся к «естественным» видам и категориям, апелляция к которым может скрывать оправдание устаревших социальных институтов. Последнее может сочетаться и с романтизированным прославлением местных культуры и знания и с нейтральным культурный релятивизмом. Так, американский постколониальный теоретик и феминист Гайатри Спивак с возмущением говорит о некоторых культурных релятивистах, которые не видят смысла в борьбе против детского труда, считая его частью местной, скажем бангладешской, культуры.

Работающие в этом поле исследователи успешно проблематизируют и самое различие между колонизаторами и колонизованными. Дело в том, что европейцы и их представления были в процессе становления, когда они колонизовали мир. Например, английская буржуазия создала понятие дома на основе идеализации английской капиталистической системы, базирующейся на наемном труде. Буржуазия противопоставляла свой идеал домашности «ужасным» условиям жизни, нравам и жилищам как бедных в самой Англии, так и жителей Африки. Поэтому идея «дома» не была сделана дома и затем навязана всему миру. Скорее, средний класс сконструировал ее в процессе взаимодействия с колониальным миром и с «другим» миром (бедных) в своей стране. Таким образом между европейцами и африканцами, средним классом и беднотой, модерностью и колониализмом существовали диалектические отношения взаимного влияния. Миссионеры, заставляющие местных использовать европейский архитектурный стиль для строительства своих жилищ, насаждали гегемонию, которая была бы невозможна без этой сложной диалектики. Власть не просто исходила от колонизаторов, и колонизованные не просто имели некоторое влияние на колонизаторов, но и те и другие находились в процессе постоянного взаимного создания.

Раскрывая противоречивость европейского понятия человека, постколониальные авторы не столько стремятся его разрушить, сколько выстроить более гуманистическую модель, в которой колонизованные все-таки размещались бы на стороне людей. В Южной Африке вытеснили людей, живущих на границе Крюгер-парка (из соображений охраны окружающей среды). Один из постколониальных авторов иронически заметил на этот счет, что, по-видимому, гиппопотамы более важны, чем люди, по крайней мере, бедные люди.

Я приведу в качестве красивой параболы этой новой познавательной ситуации образ из работы афроамериканской писательницы Тони Моррисон «Играя в темноте: Белизна и литературное воображение» [1992]. В работе идет речь о том, что американская литературная критика «не до конца» прочитала канонические работы американских писателей – от Марк Твена до Хемингуэя и именно белизну универсализовала, представив ее как норму, вечную и всегда оправданную. С точки зрения Моррисон, позиционируя себя как расово-нейтральную, или расово-слепую, американская литература не только утратила часть своей жизненности, но в итоге оказалась более расистской, чем она хотела бы быть. Она показывает, что черная раса является ключевой для формирования американской идентичности, что реальное, физическое тело негра, или пусть даже воображаемое, было тем основанием, на котором (или в противоположность которому, что чаще имело место) конструировались типичные черты американского характера – индивидуализм, высокие моральные качества, невинность. Обсуждая воздействие «расы», она переносит акцент с тех, кто пострадали от расистской идеологии на тех, кто занимает привилегированные позиции в американском обществе, открыто либо тайно исповедуя расистские взгляды. Соблазн поработать других вместо того, чтобы разделять с ними свободу – вот, что усматривает она в американской литературе, и считает, что эту истину надо принять, и только это станет источником будущей силы.

Моррисон призывает нас представить следующее: мы смотрим на аквариум и видим мерцание золотистых чешуек, зеленый кончик хвоста, белую изнанку жабер, игрушечные замки на дне, завораживающие пузырьки, поднимающиеся на поверхность, и вдруг мы увидели сам аквариум – устройство, которое прозрачно и невидимо и которое позволяет упорядоченной жизни, что внутри него, существовать в большом мире.

Аквариум, который увидела Моррисон – это раса. В прошлом можно было видеть золотых рыбок – тексты и замки – темы, в число которых не входили расовая история и политика Соединенных Штатов. Теперь произошел

сдвиг гештальта, стал видимым сам аквариум, и восприятие всей жизни полностью изменилось. Это переживание писательницы можно обобщить, используя его для очень многих оппозиционных, критических теорий, что возникли в последние сорок лет. Увиденным аквариумом могла быть сексуальная политика западной метафизики или любого города – мир белых мужчин, или, как в работах Эдварда Саида, ориенталистский дискурс, сквозь который «Запад» рефлексивно создает себя в столкновении с Восточным другим. Рожденный Моррисон образ схватывает демистифицирующую, денатурализирующую суть таких открытий (аквариум-то был всегда на месте, просто мы его не замечали), их масштаб (продолжая игру Моррисон, можно спросить – восстановится ли справедливость, если мы в наш аквариум посадим одну черненькую рыбку?) и их политическую траекторию (смысл не только в том, чтобы описать аквариум, но и в том, чтобы увеличить шансы на его изменение). Подобный сдвиг гештальта произошел и в урбанистике – в отношении стран так называемого третьего мира. Само различие между крупными западными городами первого мира и городами Африки, Азии и Латинской Америки, принадлежащими к третьему миру, было поставлено под вопрос как предполагающее однородность и сопоставимость опыта жизни в этих городах. Исследования разных вариантов сочетания исторического наследия и современных социально-экономических, политических и культурных обстоятельств показали, с одной стороны, что в городах третьего мира много непохожего на западные. Это – масштаб и размах неформальной экономики, огромные по площади трущобы и быстрый рост населения, сочетающийся с медленным ростом экономики. С другой стороны, эти исследования свидетельствуют о том, что в ходе процессов прошлой и настоящей глобализации между городами первого и третьего миров сложилось множество экономических, политических и культурных связей.

Американский исследователь Санджой Чакраворти [Chakravorty, 2000] рассматривает изменение городского пространства Калькутты сквозь призму некоторых из таких связей. В период колониализма город был британской

столицей Индии. После 1947 г., когда после завоевания Индией независимости официальной столицей стал Дели, а самым крупным и процветающим городом – Бомбей (Мумбай), Калькутта пришла в упадок. С 1980-х гг. политические реформы облегчили доступ в город зарубежного капитала. Эти перемены в характере связи Индии с мировой экономикой также отразились в городском ландшафте. В период колониального господства пространство города отражало деление всех людей на колонизаторов и колонизованных, что отражалось в глубочайшей пространственной сегрегации. Сразу после обретения независимости, так сказать, в период раннего постколониального существования Индии, в те части города, где раньше обитали колонизаторы, вселилась местная элита. Наконец, структура города в период после реформ усложнилась и обновилась. К примеру, к «старой» Калькутте добавилась Новая Калькутта – город на окраине, который облюбовали для себя обладатели новых видов профессий, крепко стоящие на ногах. Прежние попытки создания новых городов рядом с Калькуттой в соответствии с рекомендациями международных и местных специалистов по «развитию», закончились фиаско: между камнями мостовых там пробивается трава, а некоторые фонари так никогда и не были зажжены, потому что люди просто отказались в эти города перебираться. Новая Калькутта не повторит их судьбу, потому что ближе к «старой», что делает разрешимыми транспортные проблемы. В то же время в ней возможно обойтись без застарелых проблем индийских городов – плохой инфраструктуры, трущоб, бедности.

Чакраворти показывает, что история городского ландшафта не вписывается ни в одну из преобладающих историй урбанизации. Так, Калькутта не только никогда не была промышленным городом, но и вряд ли им станет: только в области компьютерной электроники она может конкурировать с другими городами на глобальном рынке. На южно-азиатском рынке она может занять лишь нишу фармацевтического производства и производства удобрений, обработки кожи. Исторически город был последним прибежищем больших масс сельского населения, и остается таковым поныне для примерно

300 млн людей (включая тех, кто живут в Бангладеш), так что маловероятно, что в «старой» Калькутте радикально изменится пространственное распределение богатых и бедных.

Чакраворти и Гайятри Спивак – индийские интеллектуалы, преподающие в университетах США. Фундаментальной исторической предпосылкой возникновения массива постколониальных текстов был переезд ряда интеллектуалов третьего мира в столицы мира первого. Политические и культурные возможности большого города (его, как правило, прогрессивная политика и бурная культурная жизнь) – привели к тому, что в текстах этих авторов именно глобальный город – Лондон или Нью-Йорк – метонимически и символически выступает микрокосмом нового деколонизованного мира. Город – сам по себе искусственное образование, в котором сочетаются возможность чувствовать себя членом какой-то общности и созерцать бесконечное разнообразие людей. Поэтому город – идеальный постколониальный «дом»: здесь никто не может претендовать на то, что «по рождению» заслуживает здесь находиться. Постколониализм отдает предпочтение, так сказать, безродным космополитам, подчеркивая случайность и сконструированность наших отношений с местом. Достаточно ли, однако, для постколониального интеллектуала лишь воспевать свои «безродность», гибридность, «изгнание»? Тексты такого рода в изобилии продолжают производиться, но я сама не раз была свидетелем того, как публика на международных конференциях заметно скучает, когда по программе доходит очередь до очередного изгнанника. Гайятри Спивак [Spivak, 1999, 358] говорит в этой связи о «элитарном» постколониализме, представители которого разработали стратегию дифференцирования себя от угнетенных собратьев по расе посредством того, что говорят от их имени. Спивак, которую часто приглашают выступать в европейских университетах, своими выступлениями часто вызывает гнев «подсевшей» на постколониализм европейской интеллектуальной элиты – и тем, что считает это течение в его нынешнем виде фиктивным, и тем, что вместо того, чтобы говорить о своей гибридной индийской душе, разговаривает с ними о Деррида (благодаря ее переводам с французского с ним познакомился англоговорящий мир) и Лакане. Она формулирует термин постколониальный информант, имея в виду многочисленных обитателей американских университетов, которые ничего не могут сказать о угнетенных меньшинствах в самих деколонизованных нациях [Ibid.]. Но «аура идентификации» с этими далекими объектами угнетения манит исследователей. В лучшем случае они

идентифицируются с другими расовыми и этническими меньшинствами в городе, где живут. В худшем – они пользуются этой аурой и играют роль местного информанта, не испорченного западным знанием. Они либо пишут повествования о культурной и этнической особости своих народов, либо прямо говорят, что их экономическое и социальное преуспевание – это сопротивление колониализму. Спивак разбирает самые разные случаи непрямого участия постколониальных интеллектуалов в «пособничестве» неоколониализму. К примеру, в постколониальной ситуации женщины не представляют собой единого коллектива с общими интересами и нуждами. Они столь же стратифицированы, как и мужчины. В таком контексте традиционная гендерная политика не может заменить классовую политику. Другой пример: если считать, что сегодняшние различия в уровне оплаты труда соответствуют традиционным различиям в уровне привилегированности, тогда внимание исследователей удобно отвлекается от процесса капиталистической эксплуатации на устойчивость феодальных традиций, на национальную, культурную, этническую специфику того или другого народа. В действительности же между капитализмом, традициями и разнообразием существует удобный симбиоз.

В рамках такого «мультикультурного» капитализма эксплуатация одного класса другим носит более опосредованные формы [Cohen, 2000]. Культурный труд – приписывание коллективных смыслов и персональной идентичности тем материалам, которые для этой цели выбраны (музыке, одежде, телу, мотоциклам, стенам), сам по себе материальной ценности не создает. Он создает знаки аутентичности и авторские подписи. Чтобы и то и другое функционировало в качестве товара, их надо пропустить через машину репрезентации. Это то, что делает культурный капитал, это то, что культурный капитал собой и представляет. Накопленное знание (власть) используется для того, чтобы культурный труд обменивать на деньги с помощью специфических средств репрезентации. С помощью этого соединения власти (знания) идентичность также превращается в ресурс, который можно продать или по

поводу которого торговаться. Разнообразие и изобретательность средств репрезентаций вуалирует социальную суть происходящих процессов. Так, Пьер Бурдьё и художник Ханс Хааке впечатляюще показали [Bourdieu, Haacke, 1995] в работе с ироническим названием «Свободный обмен», каким образом культурное разнообразие продается. Они, правда, говорят, главным образом, о субкультурном разнообразии, которое используется в ходе производства одежды, аксессуаров, музыки, молодежных стилей. Две стороны состоят в отношениях взаимной эксплуатации, которая превращает структуры неравенства в секретный пакт.

Многие афроамериканские и азиатские интеллектуалы успешно воспользовались тем, что в культуре, где царят дизайн, информационные и коммуникационные технологии, чрезвычайно востребованы самые разные проявления «фьюжн», гибридности. Так что изобретение традиций и, напротив, культивирование «аутентичных» корней комбинируются в разных пропорциях, создавая «постколониальную» интеллектуальную смесь. Многим представителям постколониального мира удастся вопросы расы и расизма видеть по преимуществу сквозь культурную призму. Постколониализм интеллектуальный оказывается своеобразным ресурсом освобождения. Никто не ждал этих людей в вузах, дизайне, арт-мире или массмедиа. Они «пробились», а понятия диаспоры, гибридности помогли мышление по поводу расы, нации и этничностей освободить от эссенциализма, сделать эти термины волнующими, чем-то таким, с чем можно играть. Они позволяли позитивно представить процессы внутренней дифференциации, которые имели место в городских афроамериканских и азиатских общностях второго и третьего поколений. Вместо патологизирующей картины молодых людей, навсегда и непродуктивно застрявших между культурами (которую рисовала традиционная социология города), стала возможной позитивная картина смешения влияний, где Запад и Восток встречаются равноправно, и где культурные политики и сепаратизма и ассимиляционизма проблематизируются. Постколониальные термины успешно выразили опыт тех, кто поднимался из



своих этнических гетто, чтобы занять заметное положение в новом мультикультурном среднем классе. Появление «постколониального города» дало им их изобретенные традиции, их собственную воображаемую историю и географию. Сгущенные, смещенные, кажущиеся равными пространственно-временные отношения глобализованной культуры вызвали нешуточные перемены субъективности и повседневности.

«Неприятная история легко может произойти с ней»: феминизм и город

В знакомом нам нарративе, соединяющем модернизацию и урбанизацию, город мыслится как место свободы от сословных предрассудков, от чересчур тесных и ко многому обязывающих социальных связей. Феминистские авторы напоминают, что свобода и мобильность в городах долгое время были прерогативой мужчин [Buck-Morss, 1986]. По мнению Джанет Вулф, «Переживание анонимности в городе, быстротечные внеличные контакты, описанные социальными комментаторами вроде Георга Зиммеля, возможность свободных от домогательств прогулки и наблюдения, вначале увиденная Бодлером, а затем проанализированная Вальтером Беньямином, составляли всецело мужской опыт» [Wolff, 1990, 58].

Чтобы иметь шанс насладиться прогулкой по парижской улице без помех, можно было переодеться в мужское платье. Но такой внутренней свободой обладали лишь немногие, к примеру, Жорж Санд. Женщины не появлялись на улицах европейских городов в одиночку. Одинокой женской фигуре на улице суждено было воплощать один из полюсов ценностной оппозиции: падшую женщину либо добродетельную женщину в беде. Все потому, что это мужской взгляд запечатлелся в литературе и живописи, на фотографиях и в моделях восприятия. Мужчины смотрели, оценивая, женщины были зрелищем. Только в обществе мужа, служанки, подруги или родственницы они долгое время могли наносить визиты. Только в XX веке без ущерба для репутации женщина могла выпить чашку кофе на террасе уличного кафе. В одиночку она могла

появляться только в определенное время и в оговоренных местах, к примеру, в больших универсальных магазинах – с большим удовольствием для себя и с пользой для экономики страны [Wilson 1991]. Другие времена и другие места до сих пор остаются для женщин закрытыми: многие ли из нас рискнут предпринять прогулку в одиночку в четыре утра даже вокруг родного квартала? Симона де Бовуар, описывая послевоенный Париж и объясняя, немногочисленно, большое число посредственных авторов среди женщин, пишет [1997, 790]:

Конечно, сегодня девушка может выходить одна и бродить по Тюильри, но я уже говорила о том, как враждебна к ней улица. На нее смотрят, до нее могут дотронуться. Неприятная история легко может произойти с ней и когда она бесцельно и бездумно ходит по улицам, и когда она, сев на террасе кафе, закуривает сигарету, и когда она одна идет в кино. Ее одежда и поведение должны внушать уважение. Мысль об этом «приземляет» ее, не дает забыть ни об окружающем мире, ни о себе самой.

Для продуктивного анализа гендерных отношений в городе важно не терять из виду единство материального, социального и символического измерений городской жизни. Город и гендер пересекаются, создавая непохожие сочетания возможностей и закрепленности для разных групп мужчин и женщин. Городские места, в которых воплощены доминирующие социальные отношения, либо позволяют либо препятствуют нам увидеть, где именно в социальном пространстве мы помещаемся. Более того, то, как мы смотрим на самих себя, на свое тело, на свою наружность, выражение лица и т. д. и то, как мы ощущаем себя (на месте или нет), определяется этими пространствами. Их неотъемлемые характеристики – сексизм, расизм и эйджизм. В торговом центре с кинозалом и многочисленными бутиками маркетологи, проводящие экспресс-опрос публики, останавливают прежде всего девушек. Девушки – излюбленная цель тех, кто продвигает новые товары. На них многие любят смотреть.

Девушки это знают, и на многое готовы, чтобы на них смотрели еще внимательнее. Некоторые из этих внимательных взглядов не лишены разного рода корысти: от надежды на мимолетное приключение до бог ведает чего. При этом раскосую и смуглую девушку в синем комбинезоне маркетологи, скорее всего, не остановят. На нее не засмотрятся мужчины. Она в этом центре работает «оператором поломоечной машины». Ее видят только в этом качестве. Пенсионерке удивятся в кофейне. По этой причине я люблю нежной любовью венские кофейни, где пожилых дам – великое множество. В мехах и с собачками, они смакуют пирожные, разглядывают посетителей и неспешно часами беседуют. В таких кофейнях проводят часы, а то и дни, безработные гуманитарии (и «гуманитарки», каких больше): под рукой газеты и никто не надоедает, классически «нашим» вопросом «Еще что-нибудь закажете?», давая понять, сколь мало от тебя здесь проку. Но пожилые хорошо одетые дамы – обитательницы центра Вены или ее богатых предместий. Состарившиеся на этнических окраинах хорватки и турчанки пьют кофе у себя на кухнях.

Упомянутые «измы» – функция преобладающих в городе мест, которые позволяют или не позволяют индивиду, так сказать, обладать именно этим телом и находиться именно в этом публичном месте. Сексизм, в частности, проявляется в том, что и во взгляде на свое тело и в ощущении себя в публичном месте женщина не свободна от оценивающего (иной автор сказал бы «колонизирующего») взгляда другого. Сходными ощущениями отмечен и расизм. Франц Фанон говорил, что страдающий от расизма человек находится в мире, где нет пространства, которое он бы мог считать своим: во всех заправляют люди высшей расы.

То, что Жиль Валентайн называет «географией женского страха» [Valentine 1989] пересекается с географией опасности. Феминистские авторы не случайно обращают критическое внимание на дизайн конкретных мест в городе, на недостаточное освещение или многоэтажные парковки как проявления нечувствительности к специфическим опасностям, которые подстерегают женщин. Однако ирония состоит в том, что если страх вызывают

ночные улицы, то опасность физического насилия ждет некоторых женщин дома. В то же время город не только предписывает и закрепляет гендерные роли, но и позволяет их «нарушать». Для скольких женщин, которым не очень повезло с семьей, возможность заниматься window-shopping'ом или просто не спешить домой после работы – настоящая отдушина. С тем большей оторопью мы читаем работы турецких и иных жительниц мусульманских городов, движение которых по городу регламентируется настолько, что препятствует и дополнительному заработку и возможности ощущать себя современной.

Изучение того, как накладываются друг на друга классовые и гендерные различия, ведется вместе с переосмыслением границ между приватной и публичной сферами. Публичность и интимность, общественное и частное, публичное и приватное взаимозависимы, составляют бинарную оппозицию. С возникновением государственных институтов модерности и становлением капиталистической экономики термин приватное стал относиться к широкому кругу феноменов: во-первых, к домашнему хозяйству, во-вторых, к экономическому порядку рыночного производства, обмена, распределения и потребления, в-третьих, к сфере гражданских, культурных, научных, художественных ассоциаций, функционирующих в рамках гражданского общества. Женщины и женский опыт помещались на стороне приватного. В последние три десятилетия этот расклад подвергся серьезной критике со стороны феминистских авторов. Если в начале речь по преимуществу шла о расширении участия женщин в жизни публичной сферы, то впоследствии внимание исследователей переключилось на защиту privacy в условиях роста государственной и негосударственной бюрократии в современных обществах. Приватное определяется как те аспекты жизни и деятельности, куда личность имеет право не допускать других, т. е. не то, что исключают публичные институты, но то, что сама личность предпочитает держать подальше от публичного внимания. Возвращаясь к соединению классовых и гендерных отношений, важно иметь в виду, что это классовые отношения традиционно мыслятся как включенные в публичную сферу, будь это рынок труда, политика

или массмедиа. Они редко фигурируют как значимый момент личных отношений. Напротив, гендерные отношения часто мыслятся как принадлежащие приватной сфере, ибо они строятся не только на эксплуатации, но и на чувствах. Теоретическое различие подкрепляется пространственным. Поэтому возникает задача демонстрации того, как в различных местах, начиная от отдельных социальных институтов и кончая рынком труда в целом, класс и гендер тесно переплетены [Baxter, Western 2001; 1993; Hanson, Pratt 1995].

Гендерные различия пересекаются в городах с другими проявлениями социальной дифференциации и другими вариантами идентичности – вот на чем настаивали феминистские критики традиционной урбанистики. В последней жизнь и интересы женщин, заявляли они, оставались невидимыми или искаженными. Гендерные отношения – значимый элемент общего базирующегося на неравенстве структурирования городского пространства, наряду с классом, расой, этничностью, возрастом и т. д. Городские ландшафты – это продукт патриархальных гендерных отношений – вот главная идея той линии феминистских исследований, что своим предметом сделали города. Города воплощают нужды мужчин уже тем, как в них привычно воспроизводится деление на публичное (пространства экономики и коммерции) и приватное (дома и пространства потребления). Так, эволюция пригородов с их часто отсутствующим общественным транспортом и недостатком сервиса рассматривается как воплощение традиционных допущений о гендерной специфике использования пространства и мужских и женских социальных ролях. Одни феминисты подчеркивают, что города сделаны мужчинами, которые преобладают среди планировщиков, архитекторов, политиков [Roberts, 1991]. Другие рассматривают упорство, с каким в дизайне городов жизни воспроизводятся стереотипные взгляды на гендерные роли, от чего страдают прежде всего женщины [Tivers, 1985]. Третьи предлагают альтернативное феминистское видение городов, включающее проекты дизайна городов и домов, и отвечающие на вопрос о том, каким мог бы быть «не-сексистский» город [Hayden, 1980, 1984; Sandercock and Forsyth,

1992]. Четвертые демонстрируют, что период капиталистической реструктуризации ускорил разрушение старого гендерного порядка: современные города не могут быть поняты без учета изменений в гендерном разделении труда и в структуре домашнего хозяйства [McDowell, 1991]. Старый гендерный порядок, основанный на модели одного зарабатывающего в семье, с 1970-х гг. уступает место целому спектру социальных новшеств. Карьерные траектории многих женщин беспрецедентны по своей стремительности. В то же время множество женщин обречены на низкооплачиваемую работу и социальную маргинализацию. Гендерные трансформации профессий да и просто рост числа занятых в экономике женщин в постфордистскую эру отражаются на идентичностях горожан и особенно горожанок. Так, деиндустриализация обрекает пожилых и не склонных к переезду мужчин с устаревшими профессиями на безработицу. Возможность финансовой независимости в жизни многих женщин сочетается со «стеклянным потолком», т. е. продолжающейся половой сегрегацией рынка труда.

Какие же новые гендерные идентичности формируются в городе? По мнению Анджелы Макроби [Macrobie, 2004, 100] «не определяемые более как чьи-то жены, дочери или подруги, женщины, и в особенности молодые, освободились для соревнования друг с другом, подчас безжалостного». Феминистские географы изучают феминизацию экономики и ее воздействие на мужчин и женщин, в частности, связь между постфордистскими экономическими отношениями и гендерными идентичностями. Кто выигрывает и кто проигрывает на сегодняшнем витке накопления капитала? Положение, которое мужчины и женщины занимают в рамках очень неравномерного распределения экономических возможностей, связано с гендерным разделением продуктивной и репродуктивной сфер, что включает проблемы домашней работы, разделения между работой и домом. Феминисты немало сделали, чтобы работой считалась не только та, что предполагает полную занятость и отсутствие работника дома.

Материальные аспекты занятости тесно связаны с другими сторонами городской культуры. Трудовые отношения, гендерные идентичности, стили жизни и городское пространство и его смыслы для обитателей создаются одновременно. Одним из фокусов урбанистического теоретизирования является сексуальная жизнь горожан, а именно: (1) разнообразные связи между плотской тоской, желанием, идентичностью и материальной средой и (2) изменение сексуальных нравов и условностей. Так, в рамках проекта по исследованию трансформаций сексуальности в России, осуществленного Гендерной программой факультета политических и социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге [Здравомыслова, Темкина, 2002] Екатериной Пушкаревой [2002] были реконструированы сексуальные отношения в подростковой тусовке городской окраины, а Юлией Белозеровой [2002] – динамика взаимодействия беременной женщины и ее социального окружения, образованного как повседневными взаимодействиями (мужчины в автобусе), так и социальными институтами (женские консультации). Елена Омельченко в ряде публикаций [2000, 2002] описала культурные пространства – «культурные молодежные сцены», используемые ульяновской молодежью для выражения своей идентичности, включающие как конкретные городские места (клубы, дискотеки, дворы, торговые центры), так и культурно-географические (столица, провинция, Россия, Запад), субкультурные и стилевые.

«Город, который американцы любят ненавидеть» и лос-анджелесская школа

«Это единственный город на земле, где все места видны под любым углом, очертания каждого ясны, никакой путаницы, никакого смешения», – пишет американский урбанист и географ Эд Соджа [Soja, 1989, 191]. Социальный комментатор, урбанист, историк и политический активист Майк Дэвис позволяет себе более парадоксальную оценку (она вынесена в название

этой главы). Апологетика национальной исключительности нами обычно на тех или иных основаниях порицается. Как быть с апологетикой городской исключительности – не совсем ясно. Лос-Анджелесская школа урбанистики в этом отношении представляет серьезный интерес.

С начала XX в. в описаниях этой школы подчеркивается, что Лос-Анджелес – не совсем обычный город: образование и развитие в нем самых разнообразных иммигрантских сообществ, а также его распыленность побуждали урбанистов судить о нем, скорее, исходя из него самого, нежели сравнивая его с другими городами. Этой тенденции – отстаивать исключительность Лос-Анджелесской школы был придан теоретический лоск в 1980–1990-е гг. группой южно-калифорнийских урбанистов – членов данной школы. Они сочли, что Лос-Анджелес – не просто необычный город, но что в своем развитии он опережает другие американские города, что его динамика «эмблематична» или «симптоматична» для всего североамериканского континента.

Два эпизода особенно значимы для истории школы: тематический выпуск «Пространство и общество» журнала «Окружающая среда и планирование», вышедший в 1986 году, посвященный Лос-Анджелесу, и встреча на озере Эрроухэд. Выпуск прославился предсказанием членов школы Алена Скотта и Эда Соджа, что если Париж был столицей XIX столетия, то Лос-Анджелес будут считать столицей XX в., и что интерес к нему таков, что скоро этот город по объему написанного о нем превзойдет Чикаго. «Не найти лучшего места для изучения динамики капиталистического опространствливания», – писал там же Эд Соджа [Soja, 1986; Soja, 1989, 191].

Осенью 1987 г., девять членов школы (и примкнувшие к ним) собрались на выходные на озере Эрроухэд в горах Сан-Бернардино. В ходе дискуссий они укрепились в убеждении, что Лос-Анджелес – архетипический город конца XX в., «один из самых информативных палимпсестов и парадигм развития в двадцатом веке городов и массового сознания» [Soja, 1989, 248]. Как написал позднее Майк Дэвис [Davis, 1989, 9],



Я достаточно неосторожен, чтобы говорить о «Лос-Анджелесской школе». В строгом смысле слова, я включаю сюда примерно двадцать представителей новой волны марксистских географов, или, как выражается один мой друг, «политэкономов в скафандрах», хотя некоторые их нас – неортодоксальные городские социологи или (как я) неудавшийся городской историк. «Школа» базируется, конечно, в Лос-Анджелесе, в Калифорнийском университете и в университете Южной Калифорнии, но некоторые ее члены живут в Риверсайд, Сан-Бернадино, Санта-Барбаре и даже во Франкфурте.

Дэвис признается, что сравнение их школы с чикагской и даже с франкфуртской школами привело их лишь к выводу о том, что связи членов их школы – куда более расслабленные и столь же «децентрализованные», что и город, который они пытаются объяснить. В центре их общего проекта – понятие реструктуризации и то, как процессы реструктуризации происходят на разных уровнях анализа – от городского района до глобальных рынков или «мировых режимов накопления» (термин Дэвиса).

Как мы знаем из социологии науки, каждая следующая парадигма тогда получает шанс на существование, когда она предпринимает усилия по демонстрации ее принципиального отличия от предыдущей. Авторы из Лос-Анджелеса здесь не исключение, в особенности Эд Соджа, который ставит под вопрос всю предшествующую теоретическую традицию. Главный вектор этой проблематизации – отношения города и территории или региона. Вот только один пример. Авторы чикагской школы описывали типичные для индустриального общества классические формы развития городов – такие как агломерации (для которых характерна синонимичность понятий города и центра региона), говоря о том, что город – лишь ядро более широкой зоны деятельности, из которой он извлекает ресурсы и на которую распространяется его влияние. Соджа убежден, что к концу XX столетия такие формы себя полностью исчерпали. Апеллируя к случаю Лос-Анджелеса, он настаивает, что

о городе как центре региона говорить бессмысленно, ибо специфические социальные, экономические и политические процессы привели к тому, что «центров» данной территории много. В то же время символическое значение города выросло. Каждое место, по крайней мере символически, претендует на то, чтобы быть городом, а процесс урбанизации – «осяземо прерывист и неупорядочен» [Soja, 2000, 397]. Поэтому разрыв в развитии урбанистической теории, фиксируемый лос-анджелескими теоретиками, вызван неспособностью ее традиционных моделей объяснить феномен Лос-Анджелеса. В чем же он состоит?

В период массового фордистского промышленного развития парадигмой города, повторим, стал центрально расположенный город, окруженный менее политически и экономически значимой территорией, откуда черпались разного рода ресурсы. Специфика Лос-Анджелеса заключалась в том, что его промышленное развитие свидетельствовало о неразрывности города и территории, точнее говоря, штата – богатейшего в США что, в свою очередь объясняется стратегическим расположением Калифорнии на берегу Тихого океана, высокой концентрацией хай-тек и медиа-индустрии, тесно связанной с университетской наукой и многонациональным населением. Иными словами, развитие региона и развитие собственно города оказались здесь сплетенными сильнее, чем где-то еще. Добавим сюда, что главным способом самоопределения людей, живущих в этой части Штатов, стал специфически-калифорнийский стиль жизни, вобравший в себя открытость нетрадиционным религиям и идеологиям, неформальность, нацеленность на радости жизни (подкрепляемую мягким климатом), соединенный с мощной культурной индустрией. Здесь набирало силу движение за гражданские права в 1960-е гг. и в защиту окружающей среды в 1970-е, отсюда начали победное шествие персональный компьютер в 1980-е и Интернет в 1990-е. Но здесь имели место и самые впечатляющие городские беспорядки, начиная с бунтов, инициированных «черными пантерами» в 1960-е гг., до периодически происходящих столкновений этнических меньшинств с полицией. Одной из

причин волнений был характер городского планирования: оно с начала XX в. было нацелено на максимальное коммерческое использование городских зон, расположенных друг от друга на значительном расстоянии. Рост пригородов сопровождался делением их на изолированные сообщества, образованные по этническому и классовому признакам. Строительство хайвэев и критерии, по которым городскими властями выделялись гражданам земли под застройку, усугубляли пространственную сегрегацию.

### Две самые известные школы урбанистов: попытка сопоставления

Эти и другие процессы, вызвавшие беспрецедентное разрастание города вширь и его социальную и политическую фрагментацию, нашли отражение и в литературе по истории города, и в текстах, более общего характера (выполненных в ключе социальной теории и философии). Знакомство с последними позволяет выстроить (заведомо неполную) сравнительную характеристику чикагской и лос-анджелесской школ.

Во-первых, если чикагцы строили свою исследовательскую стратегию на постулате моноцентричности города, то теоретики лос-анджелесской видят в своем городе модель полицентрического развития. Во-вторых, если для первых принципиальным был центр, то для вторых – периферия. В-третьих, если в первом случае исповедовалась идеология объективного научного исследования, заведомо превосходящего по глубине проникновения в предмет случайные наблюдения и опыт самих горожан, то во втором исследователи отнюдь не претендуют на то, чтобы «побивать» объективностью и глубиной своих изысканий какие-то другие. В-четвертых, если чикагцы интересовались материальным, социальным и измеримым, то теоретики лос-анджелесской школы строят свой анализ на тезисе о том, что социальное и политическое воображаемое по нарастающей становится материальной силой, воплощаясь в новых городских проектах. В-пятых, если чикагцы были достаточно равнодушны к действиям власти, то у теоретиков из Лос-Анджелеса, особенно

у Майка Дэвиса, ее действия часто становятся центром анализа. В-шестых, если в текстах первых поэтика «плотных» описаний нечасто (и нерефлексивно) проникала в социологические по характеру штудии, то в текстах вторых (и Дэвис здесь безусловный лидер) журналистский репортаж с места события сочетается с неспешным анализом художественной литературы, экскурсы в основы урбанистики сменяются непримиримой политической полемикой, а сфокусированность на городских процессах время от времени уступает место захватывающим дух картинам земных геологических сил и географических тенденций. В-седьмых, если чикагцы рисовали портрет классического индустриального города, то акцент лос-анджелесских теоретиков на реструктурировании вызвал их интерес к де-индустриализации и реиндустриализации городов, в частности, к росту индустрии развлечений. В-восьмых, если чикагцы следовали схеме линейной эволюции, то лос-анджелесцы выступают в пользу нелинейного видения развития города, представляющего собой своеобразное поле возможностей, в которой развитие одной части в результате капиталовложений никак не связано и никак не отражается на развитии какой-то другой части. Не случайно Майкл Диэ и Стивен Фласти [Dear, Flusty, 2001; 2002], так же члены лос-анджелесской школы, с энтузиазмом позиционируют чикагцев как школу мысли, воплотившую установки модерности, а свою школу – как постмодернистскую.

Однако сколь бы настойчиво идея о принципиальных различиях двух главных школ урбанистики не проводилась, достаточно очевидными являются и моменты преемственности между ними. Понятно, что в случае Чикаго традиционная структура города (с деловым центром) делала видение, базирующееся на «концентрических зонах» (я имею в виду диаграмму Берджеса), неизбежным. Однако увлеченность лос-анджелесских авторов «децентрированным» видением, постоянное подчеркивание ими, что в Лос-Анджелесе ни одна культура или сектор промышленности не лидируют, что это город меньшинств (при отсутствии какого бы то ни было доминирующего сообщества) кажется чрезмерным и Лос-Анджелесские авторы оспаривают

тезис чикагцев, что влияние всегда идет из «центра», из города, но если «центр» мыслить диалектически, то роль, которую ведущие корпорации играют сегодня в реорганизации пространства этого (и других) города, функционально совпадает с той, что издавна отводилась «центру». Во-вторых, преемственность проявляется в том, что некоторые ключевые понятия авторов школы те же, что использовались чикагцами. Так, Соджа в уже цитированной статье для тематического выпуска «Пространства и общества» описывает Лос-Анджелес как «упорядоченный мир, в котором микро- и макро-, идеографическое и номотетическое, конкретное и абстрактное можно увидеть в выраженном и интерактивном сочетании». Само словосочетание, которое он здесь использует – «упорядоченный мир» – восходит к видению города Парком и Берджесом как, во-первых, целостного социального мира – средоточия процессов цивилизации, во-вторых, мира, организованного на основе понятия социального порядка. В-третьих, в основу своей книги «Экология страха» (1998) Майк Дэвис, по сути, положил «самую знаменитую диаграмму в социальной науке» [Smith, 1988, 28] – диаграмму концентрических зон использования городской земли Берджеса и попытается с ее помощью представить будущую географию Южной Калифорнии. Рост антидемократических настроений, вызванный всеобщей озабоченностью безопасностью, приводит к усилению наружного наблюдения в центре Лос-Анджелеса, увеличению численности охранников и частных охранных агентств, строгой охране в школах, сокращению социальных программ, сопровождающемуся резким увеличением расходов на тюрьмы, программы «нулевой толерантности» – все это, по мнению Дэвиса, свидетельствует о готовности белых калифорнийцев пожертвовать гражданскими свободами из-за страха, который они постоянно испытывают. Город исчезает в безграничности пригородов, его ландшафт милитаризуется. Его ядро превращается в «зоны страха», в которых обитают торговцы наркотиками, проститутки, бездомные. Этот опасный бункер, как ватой, обит кольцами ареалов (это метафоры Дэвиса), жители которых более всего боятся социальной заразы, а потому добровольно заключают себя в подобие

современных анклавов. Схема Берджеса, напомним, отражала воплощение в пространстве города социальной иерархии: в зависимости от дохода и социального статуса, а также длительности пребывания в Америке, люди селились в трущобах, в этнических анклавах, отелях, квартирах и домах. В центре пространства Лос-Анджелеса, по версии Дэвиса, – безработные, чреватый насилием «даун-таун», по соседству – рабочие пригороды, где сообщество объединилось в тотальном надзоре друг за другом, предотвращая преступность, в отдалении – процветающие «сообщества за воротами», и, наконец, на самой периферии – кольцо «гулага», как любят выражаться американские авторы – многочисленные калифорнийские тюрьмы [Davis, 1998, 363–365] (см. илл. 1).

### Урбанистический миллениаризм Майка Дэвиса

«Нам не нужен Деррида, чтобы знать, откуда дует ветер или почему тает пакет со льдом», – полемически восклицает Майк Дэвис, раздраженный тем, что для его коллег-теоретиков постмодернистская французская философия – последнее слово истины, заслоняющее неотложные проблемы социальной поляризации. Однако избранный им интеллектуальный стиль включает в себя демонстрацию внутренних механизмов функционирования популярных мифов о Лос-Анджелесе, иначе говоря, стратегию деконструкции доминирующих дискурсов. Объясняя замысел своего первого бестселлера, он говорит [Но, 1999, 2]:

Для понимания Лос-Анджелеса не было всеобъемлющей рамки, поскольку истории города пишутся, как правило, односторонне: с акцентом на экономике, политике или архитектуре. Моя книга была попыткой более целостной и более радикальной критики места. Я рассмотрел, как образ города

– земли вечного лета и бесконечных возможностей – стал ключевым в его продаже и покупке.

Дэвис подробно проанализировал, каким образом группировки бизнесменов и ассоциации домовладельцев преобразуют город в соответствии со своими интересами и при поддержке городского департамента полиции, вытесняющего с привычных мест обитания и подавляющего бездомных, бедных и представителей этнических меньшинств. Через два года после того, как книга вышла в свет, новый всплеск расовых волнений в этом районе подтвердил своеобразную правоту его описаний Лос-Анджелеса как «города карцеров», чреватого потрясениями.

Лос-Анджелеса рассматривается Дэвисом в «Городе кварца» (1990) и как физическое и как воображаемое место, в котором игра национальных и международных политических сил и экономических тенденций происходит на фоне специфических для этого города расовых и классовых отношений. Воображаемое включается в эту игру как многочисленные конкурирующие мифологии, эрзац-истории, в которые город словно прячется сам от себя. Так, Дэвис останавливается на феномене «нуар», имея в виду не столько любимый нами жанр, сколько деятелей культурной индустрии, тяготеющих к беспросветным изображениям города в литературе и кинематографе. Отделенные от местных жителей «миниатюрным обществом» навязанного им самим себе культурного гетто [Davis, 1990, 47], «Веймарские изгнанники» (Дэвис имеет в виду волны эмиграции европейских культурных деятелей, приведшие в Голливуд, к примеру, Бертольда Брехта) так и не пришли к тому, чтобы начать с симпатией относиться к городу и его обитателям. Этот недостаток сочувственного воображения в сочетании с их повышенной креативностью привел к тому, что именно негативное в изображениях Лос-Анджелеса стало доминировать в популярном воображении. Идея о том, что именно европейцы спровоцировали рост «чернухи» об этом городе не лишена предвзятости. Джон Стэйнбек, Раймон Чандлер или Джоан Дидион – «местные» авторы, но от их внимания не укрылись ни размах политической

коррупции, ни расизм, ни капризы погоды, ни насилие, ни сексуальные скандалы.

Дэвису, однако, более интересно то, что чаще всего эти мифологии – порождение власти, поэтому в развитии города они получают материальное воплощение, закрепляя существующие привилегии. Лос-Анджелес как лаборатория будущего – это один из последних мифов, в распространении которого немалую роль сыграли сами урбанисты. Деконструируешь ты эти мифы или способствуешь их «гламуризации», создавая тексты о городе? Создаешь ты лишь впечатляющий перечень «родимых пятен» позднего капитализма или пытаешься соединить радикальную критику происходящего с альтернативными урбанистическими моделями?

Деконструкция мифов не станет для тебя самоцелью, демонстрирует Дэвис, если ты не забываешь, во-первых, о власти, во-вторых, об опыте обитателей города, в-третьих, о судьбе альтернативных проектов, в-четвертых, если у тебя хватит хватки, терпения, проницательности и литературного мастерства показать, каким именно образом городское пространство распределялось между властными группировками. Опираясь в значительной мере на материалы «Лос-Анджелес Таймс» за несколько десятилетий, Дэвис прослеживает, откуда приходили деньги, на которые город строился в XX в., и рассказывает весьма поучительную историю о том, как первые городские бизнес-кланы искусно добились того, чтобы федеральное правительство оплатило работы по усовершенствованию городской инфраструктуры. В итоге – парадокс: белая протестантская бизнес-элита даунтауна, знаменитая своими консерватизмом и антисемитизмом, расизмом и равнодушием к нуждам рабочих, добивается того, что в городе возводятся крупнейший в мире порт и эффективно работающая система водоснабжения. Затем на сцену выходит другая группировка элиты, пространственно сосредоточенная в Уэст-сайде, в Голливуде, либерально-демократическая и по-преимуществу еврейская, которая наладила отношения с профсоюзами рабочих и в целом выступила за более просвещенный капитализм. На несколько десятилетий «дарвинистские



войны за место» между даунтауном и Уэст-сайдом определяли жизнь города, пока не возникает третий узел интересов, вызванный опять же федеральным стимулированием оборонной промышленности в годы холодной войны. Читателя с советским прошлым, в габитус которого прочно встроено стремление воздерживаться от публичного высказывания каких бы то ни было суждений относительно отечественного военно-промышленного комплекса, особенно поражает свобода, с какой Дэвис оценивает слова и дела американского ВПК (чему также посвящено немало страниц в его недавней книге «Мертвые города»). «Бесшовный континуум корпорации, лаборатории и учебной аудитории», Калифорнийский технологический институт в Пасадине, руководство которого обладало особым талантом совмещать «физику и плутократию», соединив усилия с такими гигантами, как Аэроджет Дженерал, лег в основу индустрии, осваивавшей в год по 20 млн долларов федеральных денег и скоро обогнавшей Голливуд по влиянию и богатству. Калифорния нашла свою золотую жилу и, покуда военные нужды будут определять существование государства, за ее благополучие можно не беспокоиться. На фоне этой счастливо обретенной экономической «идентичности», показывает Дэвис, конфликты между группировками элиты на долгое время утратили почву. Затем на сцену выходит японский капитал, и, по мере того, как город фрагментируется, попытки элиты оставаться в рамках прочных коалиций становятся все менее удачными. Суля выгоды, торгуясь, обманывая, разобщенная элита все же сохраняет за собой участки власти.

Дэвис непримиримо показывает, как региональная элита, все сильнее связанная с национальной и международной через операции на рынке недвижимости и спекуляцию землей, во имя «развития» получает возможность разрушать и возводить, оставляя в городе видимые следы своих притязаний. Регуляция поступления в город воды и «эксцессы» вооруженной полиции, регуляция оборонной и хай-тек индустрии властями штата и государства, приватизация публичных пространств, вытеснение бедных из кварталов, где они традиционно обитали, – Дэвис касается этих и других проблем, задав как

минимум на десятилетие превалирующую стилистику описания трансформаций современных городов по типу «что еще плохого происходит и может произойти». Мертвые зоны города – это зоны обитания маргиналов, и власти предпринимают одну попытку за другой удержать «отверженных» в этих зонах, тем самым закрепляя образ Лос-Анджелеса как пост-либерального города, в котором тщательно охраняются (и пространственно закрепляются) привилегии белых и состоятельных. Город, который некогда мыслился как кейнсианское пространство, в котором доступ к благам открыт для всех, оставил позади либеральные и радикальные проекты, отделяя – архитектурно, пространственно, социально – чистых от нечистых. Безопасность, чистый воздух, пространство, время – приватизированы и огорожены. Есть что-то средневековое в тех картинах, что рисует Дэвис: замки белых и богатых, окруженные трущобами бедных. Пространство исключения, которое, однако, готово продать нескольких своих жертв на постмодернистском базаре экзотики.

Город джентрифицируется и деиндустриализуется, так что бывшие рабочие городки и кварталы, вроде Фонтаны, обречены на запустение. Дэвис подробно их описывает: это память о другом, возможном, городе, об исторической альтернативе «раю обладания». Дэвис не собирается романтизировать это альтернативное воображение, но показывает, что те, кто стирают следы другого прошлого Лос-Анджелеса, рискуют поплатиться за свое высокомерие.

Смерть и упадок, реальные и символические, были описаны им в «Мертвых городах» [Davis, 2002]. Дэвис рисует образ города как хрупкого и временного человеческого создания, которому постоянно угрожают природные и социальные катастрофы. Силы небесные и геологические создают фон для истории городов, которую прослеживает Дэвис, доводя ее до социальных катастроф XX в. и показывая, сколь многое в истории последнего столетия было направлено, скорее, на разрушение городов. Изменения в социальном воображении и восприятии городов, вызванные 11 сентября 2001 г., оттеснили на второй план «бустеризм» и «триумфализм». Гордость, которую вызывали

города как символ экономического процветания, осталась в прошлом, а апокалипсические картины происходящего и будущего, которые с мастерством подлинного писателя рисует Дэвис, нацелены на то, чтобы осмыслить город не как вечный спутник, смысл и средоточие человеческой цивилизации, а как что-то, что может исчезнуть куда быстрее, чем людям кажется.

Дэвис иллюстрирует эту идею малоизвестными эпизодами истории «неонового Запада» (так называется первая часть его книги «Мертвые города»), когда американские нефтяные корпорации и Голливуд были мобилизованы для помощи военным частям, связанным с химическим оружием. Города вроде Джермантауна, в которых были тщательно воссозданы интерьеры типичных немецких и японских квартир, были специально построены в 1943 году в пустыне Юты для экспериментов с применением напалма во время бомбардировок, чтобы добиться максимального поражения. Они трижды разрушались и воссоздавались заново, пока результаты не удовлетворили военных: пожары в городах врага были бы поистине разрушительными, доведись им применить разработанные технологии [Davis, 2002, 66–69]. Эксперименты с напалмом не прошли напрасно: 2 тыс. т. напалма были сброшены на Азакуса – рабочий район в Токио [Ibit, 79–80]. Погибли 100 тысяч человек, эти данные долго держали в секрете, а когда обнародовали, то они не вызвали ажиотажа. Некоторое время спустя гражданское население Хиросимы и Нагасаки стало мишенью ядерной бомбардировки.

Дэвис считает, что эксперименты военных обрекли целые регионы на то, чтобы стать «национальными зонами, принесенными в жертву». Это прежде всего юго-запад США. 1 059 взрывов было произведено между 1945 и 1992 гг., подавляющее большинство из них – на полигоне в пустыне Невады. Каждое облако – будь оно результатом подземного или атмосферного взрыва – содержало, считает он, больше радиации, чем то, которое поднялось над Чернобылем в 1989 г. Комиссия по атомной энергии дни выбирала для взрывов дни, когда ветер дул от Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса: обитатели маленьких городов и деревень считались менее значимыми.

Когда по приказу Черчилля велись ковровые бомбардировки немецких городов, британский премьер надеялся, что уцелевшее гражданское население поднимет восстание против Гитлера [Ibit, 66–71]. Реализация секретной стратегии воздушной борьбы против Германии сопровождалась массовой пропагандой, в ходе которой американцев убеждали, что только стратегически значимые цели будут подвергнуты бомбардировке. В действительности союзники предпочитали бомбить максимально заселенные районы, и Дэвис сообщает о разочаровании британских военных, которым так и не удалось вызвать масштабные пожары в подвергаемых бомбардировке городах. С марксистской страстью Дэвис подчеркивает, что это кварталы рабочего класса пострадали больше всего, тогда как виллы богатых и дома состоятельных, слишком далеко отстоящие друг от друга, не подходили в качестве целей бомбардировок: слишком много пришлось бы потратить на них бомб.

Хотя российского читателя это полномасштабное повествование о городах, пострадавших в XX в., смущает тем, что в нем полностью отсутствует упоминание о наших мертвых городах, о руинах Сталинграда, Минска, Киева, сама модель войны, ведущейся военными против гражданских лиц и больших и малых городов, описана им весьма впечатляюще.

### Марксистский постмодернизм Эда Соджа и Фредерика Джеймисона

«Исходить из пространства» – так обманчиво просто формулирует основания своего многолетнего исследовательского проекта Эд Соджа [Soja, 2000]. Сначала пространство, а потом история, сначала пространство, а потом дискурс, сначала пространство, а потом бессознательное – таков его взгляд на прошлую и настоящую социальную реальность. Сами названия книг, составивших трилогию: «Постмодернистские географии» (1989), «Третье

пространство» (1996) и «Постметрополис» (2000) безошибочно указывают на то, что главное определение реальности настоящего для Соджа – постмодернистская, а в содержании этих книг с разных сторон описан главный постмодернистский город – Лос-Анджелес.

Соджа был не первым автором, увидевшим в этом городе значимые для постмодернизма процессы. На пальму первенства с успехом может претендовать неомарксистский культурный теоретик Фредерик Джеймисон, опубликовавший в 1984 г. в «Нью Лефт Ревью» знаменитую статью о постмодернизме, или культурной логике «позднего» капитализма, в которой постмодернизм позиционировался как продукт меняющейся мировой экономики, а главным способом анализа этих изменений провозглашались не классовые отношения, а эстетическое измерение новой архитектуры (в качестве примера которой Джеймисон рассмотрел лос-анджелесский отель «Вестин Бонавентура»<sup>2</sup>, спроектированный архитектором Джоном Портманом, о чем ниже).

Неомарксист-постмодернист – не самая привычная для нашей страны комбинация взглядов. Здесь важно помнить, что в интеллектуальной истории США второй половины прошлого столетия между двумя этими линиями мысли сложились достаточно тесные отношения. Они состояли прежде всего в том, что волна сильного интереса к марксизму, вызванная событиями 1968 г., довольно быстро (в 1980-е гг.) сменилась волной другого сильного интереса – к постмодернистской теории, расплывчатость и многогранность которой препятствовали ее политической мобилизации. Изменения в политике американских университетов и издательств состояли в том, что если в 1970-е гг. марксизму были открыты все двери, то в 1980-е они открылись для постмодернизма (закрывшись, соответственно, для марксизма). Среди интеллектуалов-марксистов, которые приняли новый вызов, были Дэвид Харви и Фредерик Джеймисон. Если Харви сосредоточивается на экономическом

---

<sup>2</sup> В переводах на русский закрепился такой вариант написания, хотя в Лос-Анджелесе чаще можно услышать, как отель называют «Бонавенче».

анализе постмодерности, постоянно говоря о «гибком накоплении» и глобализации, то Джеймисон пытается воссоздать все разнообразие культурных проявлений новой стадии развития капитализма, организованного вокруг потребления и основанного на власти многонационального капитала. Его главная идея состоит в том, что постмодернизм выражает третью («позднюю») стадию развития капитализма, которая проявляется, во-первых, в нарастании связи технологии (электроники, автомобилей и ядерной энергии) с сетями социального контроля, во-вторых, в глобализации капитала, в-третьих, в организации жизни общества вокруг потребления, в-четвертых, в укреплении позиций массовой культуры и массмедиа, и в-пятых, в завершении процесса индустриализации.

Западный марксизм, который на зрелой фазе своего развития словно забыл об экономическом детерминизме и погрузился в утонченный анализ «надстройки», в трудах Лукача и Блоха, Бенямина и Маркузе, Адорно и Альтюссера - находит в нем достойного продолжателя, но для Джеймисона важно постоянно держать в поле зрения те процессы, которые происходят на стыке экономики и культуры. Вот почему «из всех искусств» для него особенно важным является архитектура, которую он считает самой близкой экономике, ибо с нею у нее – «непосредственные связи», состоящие в заказах архитекторам и динамике стоимости земли [Jameson, 1991, 5].

Джеймисона и Соджа, помимо участия в общем исследовательском движении, объединяют и более частные вещи. Одна из них – равнодушие к новой архитектуре Лос-Анджелеса. Соджа вспоминает об автомобильной прогулке по городу, предпринятой им, Джеймисоном и Анри Лефевром в 1984 г.: они ее с «Бонаventura» и к нему же вернулись [Soja, 1989, 63]. По Джеймисону, новые коммуникационные технологии усиливают мобильность капитала, который словно теряет вес и определенное местонахождение, а его усиливающиеся фрагментация и эфемерность отражаются в новых культурных предпочтениях. Отражаются в том числе и буквально: в зеркальном стекле, которыми множество зданий покрыты

снаружи. Когда мы недобро усмехаемся сегодня, увидев в столице или еще где-нибудь очередное зеркально облицованное корпоративное здание, полезно, мне кажется, помнить, что какие бы местные культурные смыслы за таким выбором не стояли (и какими бы удручающими не были иногда результаты), мы здесь – в «струе» (правда, этой тенденции уж больше сорока лет). Как пишет Джеймисон об «экстерьере» отеля «Вестин Бонавентура» [Jameson, 1991, 5], «Архитектура... остается привилегированным эстетическим языком; искажающие и фрагментирующие отражения одной огромной зеркальной поверхности в другой можно считать парадигмой центральной роли процесса и воспроизводства в постмодернистской «культуре». Ему вторит Соджа [Soja, 1989, 243–244]: “Бонавентура” стал концентрированной репрезентацией реструктурированной пространственности позднего капиталистического города: фрагментированный и фрагментирующий... пастиш отражений его поверхностей нарушает координацию, а вместо этого поощряет подчинение».

Джеймисон в отражениях окружающих зданий в зеркальной башне отеля видит выражение увязанных воедино в современной жизни эстетики, технологии и экономики. С Соджа они едины в оставлении его дезориентирующе-искажающей функции, лишаящей посетителя привычных ориентиров и референтов.

Отель «Бонавентура» останется в истории как место, которое посетило рекордное число звезд-интеллектуалов. Бодрийяр пишет о самодостаточности здания, сравнивая его зеркальные фасады с людьми, носящими черные очки. Он подчеркивает, что такого рода здания не только никак не взаимодействуют с городом, но и сами, в своей бесконечной самореферентности, лишены какой-либо тайны [Baudrillard, 1988, 59; Бодрийяр, 2000, 131]. Майк Дэвис тоже критикует отель и его интерпретацию Джеймисоном. Если Джеймисон убежден, что отель продолжает популярные архитектурные традиции Лос-Анджелеса, то Дэвис напоминает, что расположен отель в центре города, где обитает большое количество латиноамериканцев и азиатов-американцев, и что своей системой безопасности

(не каждый туда войдет) и, опять, зеркальным интерьером отель лишь закрепляет пространственную сегрегацию [Davis, 1985].

История отеля и его рецепции урбанистами заслуживают нашего внимания вот еще в каком отношении: она связана с популярным вопросом об исследовательской оптике. На что, собственно, смотреть и что анализировать в многоаспектной жизни городов и конкретных мест – эта методологическая проблема получает решение в зависимости от того, к какой исследовательской традиции принадлежит наблюдатель. Приведу два примера. Первый связан с анализом «эстетического производства», как его называет Джеймисон. Не желая участвовать в популяризации экономического детерминизма, Джеймисон и логику развития технологий отодвигает на второй план, подчеркивая относительную независимость от технологии и повседневности и культурного производства [1991, 37]. Между тем, когда мы читаем его рассуждения сегодня, в свете общего усилившегося интереса к материальности городов, то очевидна крайняя условность выдвижения им облицованного зеркальным стеклом отеля-небоскреба в качестве эмблемы эстетической сути постмодернистской эпохи.

Зеркальное стекло получило распространение в архитектуре XX столетия по причинам прежде всего экономическим и технологическим. Остекленные прозрачным стеклом здания простых очертаний, характерные для архитектуры модерности, стали эмблемой «международного стиля», воплощая послевоенные надежды на новую, свободную от невзгод жизнь. Они были гораздо дешевле традиционных каменных зданий, так как в них стекло закреплялось в промышленно производимых металлических рамах. Однако уже в 1950–1960-е гг. стал очевиден их серьезный дефект: они перегревались летом. Этот «тепличный» эффект хорошо знаком любому обладателю остекленной лоджии. Они плохо держали тепло зимой. В 1960–1970-х гг. в СССР строились магазины, присутственные здания, кинотеатры, фасады или витрины которых были остеклены. Впоследствии все эти здания пришлось перестраивать. В Америке повышенные расходы на кондиционирование летом и обогревание зимой, связанные с эксплуатацией таких зданий, и привели к поиску



архитекторами и технологами эффективных решений. Их тесная кооперация с производителями стекла привела к тому, что в начале 1960-х гг. были построены первые здания из зеркального стекла. За одно-два десятилетия было налажено его промышленное производство, а пока маркетологи искали стратегии продвижения нового продукта на рынке, в 1973 г. разразился нефтяной кризис, стоимость кондиционирования и обогрева зданий взлетела настолько, что маркетинг основывался на перспективе существенной экономии расходов, которую получают те, кто решатся возводить зеркальные здания [Heine, 1982, 86-104]. Небоскребы, требования к микроклимату которых были особенно повышенными, стали с тех пор активно облицовываться зеркальным стеклом, породив в конечном счете характерный облик центра почти любого американского города.

Вот мой второй пример, связанный с исследовательской оптикой. Американский урбанист-марксист Энди Меррифилд, прослеживая борьбу вокруг неолиберальной модели города (согласно которой предоставление каких бы то ни было социальных гарантий работникам экономически неэффективно), замечает [Merrifield, 1992, 79]:

Любопытно, что как раз тогда, когда радикальные профессора и культурные критики были заняты деконструкцией отеля Бонавентура как эмблемы поздне- капиталистической постмодерности, Мария-Елена Дюразо и ее команда пытались воссоздать в Лос-Анджелесе профсоюз работников отелей и ресторанов. Какое-то время они боролись за зарплату, на которую можно прожить – честную дневную оплату честного трудового дня – и вели эту борьбу в роскошных отелях вроде Бонавентура, где члены их профсоюза скребли ванны и унитазы, застилали постели, работали официантами и вывозили мусор. Чтобы придать выразительность своим проблемам, профсоюз использовал изобретательные медиа- и уличные тактики. ...Члены профсоюза участвовали в сидячих забастовках в лобби отелей... организовывали массовые бойкоты. Другие виды активности были более театральными, например так называемые

кофепития или «Джава за справедливость», когда члены профсоюза занимали в отелях целые рестораны и заказывали кофе.

Как бы скептически не описывалась в этом фрагменте, безусловно, необходимая теоретическая работа с культурными репрезентациями, Меррифилд «схватил» здесь суть проблематики, которая в урбанистике, с одной стороны, имеет достойную традицию, а с другой стороны, только начинает разворачиваться на новом витке интереса к классу, статусу и экономическому неравенству в целом, вызванному процессами глобализации и ростом популярности идеологии неолиберализма. Чикагский урбанист Саския Сассен призывает в своих текстах бросить более внимательный взгляд на ситуацию глобальных городов, «гламур» и экономическая привлекательность которых тесно связаны с существованием класса мигрантов. А калифорнийский социолог Рэчел Шерман «включенно» наблюдает жизнь обслуживающего персонала и пишет книгу «Классовые действия: сервис и неравенство в пятизвездочных отелях» [Sherman, 2007]. Сложность отечественной интеллектуальной ситуации усугубляется не только скомпрометированностью марксистской парадигмы, но и серьезной идентификацией значительной части наших пишущих людей не с теми, кто скребет унитаза, а с теми, кто может себе позволить заплатить за «персонифицированный» сервис. «Дольче вита» лидирует в нашем интеллектуальном воображении по многим причинам. Однако и та левая традиция, в которой исполнены многие тексты Соджа и Дэвиса, так что первым выразительно описаны влиятельные политики и звезды-архитекторы, а вторым щедро и подробно изображены социальные «низы» и переживаемые ими лишения, не обходится без сложностей. Одна из них – «диалектика влечения-отвращения», как ее называет Меррифилд, состоящая в том, что городское дно и наиболее острые проявления социальной несправедливости могут быть странно привлекательными как для авторов, так и для читателей, сообщать нездоровое волнение, вероятно, связанное с извечной людской страстью вглядываться в удел тех, кому не повезло, чтобы

утешиться на собственный счет (о непростой проблеме освещения жизни городских низов мы еще поговорим в главе о социальных и культурных различиях).

В своих зрелых работах Соджа отказывается от поиска очевидных архитектурных эмблем постмодернизма в пользу решения куда более сложной задачи: разработки специфической познавательной стратегии, которая позволила бы «начать с пространства». Опираясь на идеи Анри Лефевра о трех типах пространства, он вместо диалектики пространства и времени вводит понятие триалектики, объединяющей пространство, время и социальное бытие. Суммируем основные его идеи. Во-первых, Соджа успешно демонстрирует недостаточность историцизма, присущего модерности фокуса на времени, в ущерб пространству. Противопоставление неподвижного пространства стремительно бегущему времени быстрой индустриализации Соджа возводит к Марксу, связавшему получение прибавочной стоимости с социальной организацией времени. К чести Соджа, он не только стремится позиционировать себя как одного из главных участников «пространственного поворота» (оформление «пространственных» интересов большинства современных дисциплин) в социальной мысли, но и задается серьезным вопросом: каковы причины того, что интеллектуальная история модерности отмечена приоритетом времени по отношению к пространству, и почему этот приоритет столь упорно воспроизводится? Разбирая целый спектр текстов, от Кассирера через Хайдеггера к Фуко (у которого он и черпает эту проблематику), он приходит к выводу, что фундаментальной причиной были онтологические идеи о человеческом существовании, согласно которым «временные и социальные аспекты бытия-в-мире» понимались как более существенные по сравнению с «внутренней пространственностью человечества» [Soja, 2006, 818]. Во-вторых, Соджа призвал (со времени опубликования «Постмодернистских географий» прошло почти 30 лет) к тому, чтобы проработать идею социальной сконструированности пространства, к демонстрации социальной и географической местоположенности деятельных

субъектов. В-третьих, называя себя «убежденным сторонником критической власти пространственного и географического воображения» [Soja, 2003, 271], Соджа убежден, что пространственное измерение социальной реальности имеет большую практическую и социальную значимость. Он призывает читателей [Soja, 1996, 6–7] «по-другому осмыслить смыслы и значение пространства и тех связанных понятий, что образуют и составляют пространственность, внутренне присущую человеческой жизни: место, расположенность, местность, ландшафт, окружающая среда, ландшафт, дом, город, регион, территория и география». В основе его призыва – надежда, что привычные способы осмысления пространства можно отбросить, а пространственное воображение – расширить. Этому препятствуют, с его точки зрения, доминирующие в структурах человеческого мышления историчность и социальность. Если пространственность постулировать как «третье экзистенциальное измерение» существования, а «третьепространство» (Thirdspace) как такой способ мышления, который исходит из пространства (а не из истории или социума), то проблем традиционного модернистского мышления можно избежать.

Соджа, впрочем, сам не избегает рецидивов телеологического мышления: в «Постметрополисе», начав с Чатал-Хююка, т. е. с первых городов на Земле, он рассказывает историю городов так, что той, похоже, суждено было привести человечество к Лос-Анджелесу. Тем не менее Соджа – один из немногих авторов, описавших специфику постмодерного города. Он считает, что такой город, во-первых, «региональный»; во-вторых, постфордистский; в-третьих, «мировой»; в-четвертых, «дуальный», т. е. состоящий из поляризованных сообществ; в-пятых, «дисциплинирующий», т. е. включающий в себя активно контролируемые места («сообщества за воротами» и тюрьмы – два примера таких мест) и в-шестых, «город-симулякр», в котором производится гипер реальность и царит потребление.

## ЛИТЕРАТУРА

- Белозерова Ю.* Практики беременной женщины: личный опыт // В поисках сексуальности, СПб., 2002. 338–366.
- Бодрийяр Ж.* Америка. СПб., 2000.
- Здравомыслова Е., Темкина А.* В поисках сексуальности. СПб. 2002.
- Омельченко Е.* Изучая гомофобию: механизмы исключения «другой» сексуальности в провинциальной молодежной среде // В поисках сексуальности. СПб., 2002. 469–511.
- Омельченко Е.* «Жертвы» и/или «наильники». Феномены подростковой сексуальности в фокусе западных академических дискурсов // Другое поле / Под ред. Е. Омельченко и С. Перфильева. Ульяновск, С. 238-255.
- Пушкарева Е.* Подростковая компания городской окраины: сексуальные отношения в тусовке // В поисках сексуальности. С. 197–223.
- Baxter J., Western M.* Reconfigurations of Class and Gender. Stanford, 2001.
- Baudrillard J.* America. L., 1988.
- Bourdieu P., [Haacke H.](#)* Free Exchange. L., 1995.
- Buck-Morss S.* The Flaneur, the Sandwichman and the Whore: the Politics of Loitering // New German Critique. 1986. Vol. 39.
- Chakravorty S.* From Colonial City to Global City? The Far-From-Complete Spatial Transformation of Calcutta // Globalizing Cities: A New Spatial Order? // Ed. P. Marcuse and R.van Kempen, Oxford, 2005.
- Cohen P.* From the Other Side of the Tracks: Dual Cities, Third Spaces, and the Urban Uncanny in Contemporary Discourses of «Race» and Class // A Companion to the City / Ed. G. Bridge, and S.Watson, Oxford, 2000.
- Davis M.* Urban Renaissance and the Spirit of Postmodernism // New Left Review. 1985. Nr. 151.
- Davis M.* Homeowners and Homeboys: Urban restructuring in L.A // Enclitic. 1989. Nr.3.
- Davis M.* City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles. L., 1992.
- Davis M.* Ecology of fear: Los Angeles and the imagination of disaster. N. Y., 1998.
- Davis M.* Dead Cities and Other Tales. N. Y., 2002.

*Dear M. J., Flusty S.* The Resistible Rise of the L.A. School // From Chicago to L. A.: Making Sense of Urban Theory / Ed. J. Michael Dear. Thousand Oaks, 2002.

*Dear M., Flusty S.* The Spaces of Postmodernity: A Reader in Human Geography. Oxford, 2001.

*Gill V.* The Geography of Women's Fear // *Area*. 1989. Nr.21.

*Hanson S., Pratt G.* Gender, Work and Space. L., 1995.

*Hayden D.* What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work // Women and the American city / Ed. C. R. Stimpson, E. Dixler, M. J. Nelson, K. B. Yatrakis. Chicago, 1980.

*Hayden D.* Redesigning the American Dream: Gender, Housing, and Family Life. N. Y.; L., 1994.

*Heyne P. A.* Today's Architectural Mirror: Interiors, Buildings, and Solar Designs. N. Y., 1982.

*Ho C. L.* Scared? An Interview with Mike Davis // *Architecture*. 1999. Vol. 88. Nr.1.

*Jameson F.* Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, 1991.

*Lynch K.* The Image of the City. Cambridge, 1960.

*Merrifield A.* Dialectical Urbanism. Social Struggles in the Capitalist City. N. Y., 1992.

*McDowell, L.* Life without Father and Ford: The New Gender Order of Post-Fordism // Transactions of the Institute of British Geographers. New Series. 1991. Vol. 16.

*Roberts, M.* Living in a Man-Made World: Gender Assumptions in Modern Housing Design. L., 1991.

*Sandercock L., Forsyth A.* A Gender Agenda: New Directions for Planning Theory // Journal of the American Planning Association. 1992. Vol. 58.

*Sherman, R.* Class Acts. Service and Inequality in Luxury Hotels. Berkeley; Los Angeles, 2007.

*Smith D.* The Chicago School: A Liberal Critique of Capitalism. L., 1988.

*Soja E. W.* Taking Los Angeles Apart: Some Fragments of a Critical Human Geography // Environment and Planning D: Society and Space. 1986. Vol. 4.

*Soja E. W.* Postmodern Geographies: the Reassertion of Space in Critical Social Theory. L., 1989.

*Soja E. W.* Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford., 1996.

*Soja E. W.* Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. Oxford, 2000.

*Soja E. W.* Writing Geography Differently // Progress in Human Geography. 2006. Vol. 30. Nr.6.

*Soja E. W.* Writing the City Spatially // City. 2003. Vol. 7., Nr. 3. November.

*Tivers J.* Women Attached. London; Sydney, 1985.

*Wolff J.* Feminine Sentences. L., 1990.

*Wilson E.* The Sphinx in the City: Urban Life, the Control of Disorder, and Women. Berkeley; Los Angeles, 1992.

#### **ТЕМА 4. ГОРОД И ПРИРОДА**

##### **Природа как «другое» города**

В привычном нашем стремлении вырваться из города «на природу» проявляется разделение между природным и социальным – то, на чем современное общество строит понимание самого себя. Динамика взаимодействия между природой, технологией и людьми сложилась в ходе модерности, но теоретически долгое время она отражалась весьма ограниченно. Причина этого – в том, что история социальной теории неотделима от постоянно воспроизводимого противопоставления общества и природы. Это противопоставление встроено в понимание самого развития обществ модерности. Главное направление развития было зафиксировано в понятии **прогресса**. Прогресс определялся успехами в покорении природы – как внешней, так и тех черт человека, которые традиционно связывались с его природным происхождением. Новые формы организации социальной жизни осмысливались на основе жестко воспроизводящегося качественного различия между традицией и модерностью. Люди традиционного общества мыслились

как от природы зависимые и вынужденные с нею считаться. Индустриальное урбанизованное общество стало эмблемой независимости людей от природы. Успехи промышленности воспроизводили взгляд на мир как неограниченное поле возможностей его преобразования. Городской образ жизни свидетельствовал о том, что город успешно пренебрегает теми ограничениями, что природные циклы накладывают на социальную активность (делением дня и ночи, к примеру): он никогда не спит и не зависит от погоды.

Город и природа оказались связанными в одном нарративе, где город мыслился как место цивилизации, но лишенное добродетели, а природа – как «дикая», но обладающая моральным порядком. Парадоксальность отношений природы и города состоит в том, что, с одной стороны, дискурсивно и концептуально «город» был отделен от «природы».

Введенный **Эмилем Дюркгеймом** постулат – социальные явления имеют социальные причины и социальные же последствия, независимые от психологических или биологических факторов – предполагал разделение труда между естественниками (сфокусированными на природных фактах) и «неестественниками»<sup>\*</sup> – социологами, нацеленными на факты социальные. Как «другое» природы, город представлялся олицетворением совершенной от нее независимости. В итоге экологи и биологи устремлялись для изучения природы подальше от городов, а урбанисты и планировщики видели в городе исключительно творение рук человеческих.

С другой стороны, исторически город и природа тесно взаимосвязаны. Создание города возможно было только за счет соединения человеческих и нечеловеческих (природных) ресурсов. Но особенности развития социальной теории и характер городской повседневности обуславливали помещение природы в «слепое пятно»: ее роль и масштаб участия в происходящем просто не попадали в поле зрения. Глубокая, исторически сложившаяся сложная взаимосвязь между городом и природой ускользает от внимания обитателя. Этому способствуют, во-первых, физические обстоятельства, во-вторых,

---

<sup>\*</sup> Выражение А. Перцева



культурные репрезентации. Природа в них предстает (дискурсивно конструируется) как находящаяся «где-то там», за пределами города. И в самом деле, массивность бетона, размах городских просторов, защищенность от невзгод стихии при помощи отопления и кондиционирования, легкость «добывания» пищи в супермаркете, сам ритм городской жизни – все это препятствует осознанию того, как тесно и разнообразно природное и городское переплетены.

Прежде всего, их объединяет история. Каждый город был возведен на земле. Достаточно перенестись мыслью на несколько веков назад и представить, как выглядело место, на котором сегодня стоит твой дом, чтобы понять, каким относительно новым является столь важное сегодня различие между городом и негородом. Подчас только названия городов напоминают о том, что отличало ту местность, на которой они возникли, от соседних. Саратов – «желтая гора». Чикаго получил свое название от полей дикого чеснока, что росли в прериях между Скалистыми горами и Великими озерами. Оксфорд означает «бычий брод». Одна из версий истории названия Лондона – «дикое место». Москва, Минск, Самара, Воронеж, Тула, Рязань, Царицын, Казань и многие другие города названы по имени рек, на которых построены. Для строителей городов природа представляла собой «чистый лист»: ее ресурсы (реки, леса, минералы) использовались за счет ее же постепенного истребления. В текстах по истории городов она выступает как инертный фон для героического покорения. Города мыслятся как отделенные от физического мира, ибо на протяжении последних двух столетий тем, кто о них писал, было гораздо важнее понять их социальный смысл и роль, которую они играют в истории. Экологические факторы существования городов долгое время оставались на заднем плане именно потому, что социальное осознавалось социальными теоретиками за счет жесткого противопоставления биологическому.

### **Город как экосистема**

В наши дни обсуждение города как экосистемы ведется на основе сравнения его с «правильными», природными экосистемами. Природная экосистема включает все организмы (растения и животные) и неорганические «субстанции» данной местности: прежде всего воздух, воду и почву. Организмы и вещества объединены в сложную сеть. В этой сети различные варианты взаимозависимости ее компонентов («петель» обратной связи) приводят к тому, что изменения в одной части экосистемы разнообразно отзываются в других ее частях. Пример такой взаимозависимости – пищевая цепь, в которой зеленые растения, используя солнечную энергию, превращают неорганические вещества в органику, пригодную для потребления животных, снабжая их энергией для жизнедеятельности, которая рано или поздно завершается, а их тела, разлагаясь, поступают в почву. Природные экосистемы имеют встроенные стабилизаторы: у каждого вида живого есть своя экологическая ниша, обусловленная специфическим источником энергии, а циркуляция воды и воздуха, как и земляные массивы, способствует этой стабильности. Дополнительным источником стабильности является и общее разнообразие видов, и биомасса.

Городское общество, с этой точки зрения, не является экосистемой, потому что включает в себя только один вид животных – людей, и не включает ни одну из природных субстанций. Тем не менее объяснительная сила экологической модели такова, что урбанисты и социологи давно применяют ее к человеческим сообществам. Когда совокупность социальных отношений называют экологией, имеют в виду такое взаимодействие между множественными элементами, которое не является ни полностью автономным, ни полностью зависимым от чего-то еще. Экологическая модель объяснения тем самым противостоит, с одной стороны, механистической и организмической, а с другой – атомистической и редукционистской. Об «экологии людей» (*human ecology*) – подходе, сформулированном социологами чикагской школы, – идет речь в главе о классической урбанистике. Первым

ученым, предложившим все же понимать **город как экосистему**, был английский физический географ **Иэн Дуглас** (1981). Аргумент Дугласа состоял в том, что город, вбирая в себя одни вещества, выделяет другие. Поглощая энергию и воду, город порождает шум, изменение климата, загрязнение воздуха, отходы жизнедеятельности людей и мусор. В городах люди используют огромные энергетические ресурсы, что стало возможным потому, что человек нашел для себя уникальную энергетическую нишу. Научившись использовать солнечную энергию **прошлого**, сконцентрированную в угле, нефти и газе, вначале для обогрева, а затем для промышленных целей, он, во-первых, перестал быть зависимым от солнечной энергии, во-вторых, обеспечил постоянное снабжение едой, одеждой и жилищем, в-третьих, стал доминирующим среди живых существ видом. Земли расчищались, осушались или орошались, и люди могли не беспокоиться о последствиях своей деятельности. Отдаленные последствия использования природных сил и ресурсов мыслились как проблема последующих поколений либо как то, с чем со временем справится сама природа. Между тем в городах все природные, «встроенные» стабилизаторы экосистем либо уничтожены, либо нарушены. Чтобы уменьшить непредсказуемость своего существования, люди возвели здания для защиты от стихии, трубы и очистные сооружения для регуляции потоков воды, улицы и транспорт – для коммуникации, социальные институты – для регулирования «природных» человеческих страстей. Но сегодня обнаруживается, что эти артефакты и организации более не способствуют стабильности. **Город как экосистема** сам оказывается источником беспорядка в окружающей среде. Люди, живущие в городах, все сильнее зависят в своем благополучии и друг от друга, и от артефактов и организаций, и от того, насколько надежно организовано поступление необходимых для жизни веществ в город и освобождение его от более ненужных.

Зависимость города от источников энергии проявляется в том, что характер их развития задан стоимостью доступной энергии. Дешевое (до недавнего времени) топливо обусловило «расползание» американских городов,

тот факт, что значительное число американцев живет в пригородах (*suburbanization, sprawl*). Напротив, одно из объяснений того, что европейские города компактны и обладают хорошим общественным транспортом – дороговизна топлива.

Экологический отпечаток (*ecological footprint*), который города оставляют на окружающей среде, проявляется в так называемом феномене теплового острова. Всем известен факт, что в городах теплее. Тепло поглощается зданиями и улицами днем и отдается ночью. Это позволяет немного сэкономить на отоплении зимой, но увеличивает расходы на кондиционирование воздуха летом. Тепловой остров влияет на циркуляцию воздушных масс над городом, что выражается в том, что в городах выше облачность и чаще гремит гром. Другой печально известный экологический отпечаток – выхлопы и выбросы: углекислый газ, окись углерода, двуокись азота, бензопирен, угольная и мазутная золы, сернистый ангидрид. Около половины выбросов в атмосферу дают автомобили, почти столько же составляют продукты сгорания топлива объектов теплоэнергетики, вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды и городские предприятия. Страдают и люди (вредный городской воздух давно стал притчей во языцех). Страдает и атмосфера в целом: города – одна из главных причин глобального потепления и «озоновой дыры». Мусор, который современные города в силу высокой населенности и значимости упаковки для продвижения товаров на рынок производят в невероятных количествах, должен либо сжигаться (увеличивая выброс вредных веществ), либо перерабатываться, что далеко не всегда экономически выгодно. Забастовки мусорщиков в Германии в 2007 году и в Италии в 2008 году показывают, в какие сложные экономически-политические коллизии включена циркуляция мусора сегодня даже в тех странах, население которых восхищает нас своей экологической сознательностью.

### **Диалектика природы и города**

Город – центр сложных диалектических отношений природы и культуры. Американский географ и историк **Уильям Кронон** в книге «Метрополис природы» (1991) показывает, до какой степени стремительный рост Чикаго был обусловлен качеством окружающей его территории: рекой, позволяющей кораблям пройти в надежную гавань, прерией, посреди которой довольно легко было возвести железную дорогу, болотами, осушение которых в конечном счете способствовало процветанию знаменитых чикагских скотобоен. Британский географ **Мэтью Ганди** в книге «Бетон и глина: Преобразуя природу в Нью-Йорке» (2002) сосредоточивается на том, как взаимодействовали городские власти и ньюйоркцы, природа и город в налаживании городского водоснабжения, строительстве Центрального парка, организации вывоза мусора, строительстве скоростной дороги в Бронксе, разрушившем один из старых, сплоченных, населенных самыми разными людьми районов. Подчинение людьми природы нерасторжимо связано с подчинением одних людей другими: непригодные для жизни городские районы, места повышенной загрязненности всегда оказываются уделом бедных и обездоленных. Приватизация и нарастание корпоративной власти вносят сильный коммерческий элемент в функционирование городской природы.

Интерес к сложным отношениям между городом и окружающей средой воплотился в таких дисциплинах, как городская экология и гуманистическая география. Первым городским экологом стал биолог **Ричард Фиттер**, в «Естественной истории Лондона» показавший, как рост Лондона повлиял на «родную» для этой территории флору и фауну (1945). Но еще во второй половине XIX – начале XX века проблема городской окружающей среды обсуждалась в трудах реформаторов **Эбенезера Ховарда** (см. о нем вставку), **Фредерика Лоу Олмстеда**, **Патрика Геддеса**. Этому в свою очередь предшествовало прозрение о принципиально «неустойчивом» характере европейских городов **Фридриха Энгельса**, описавшего неприглядные условия жизни английского рабочего класса (его взгляды подробно рассмотрены в главе о классической теории города). Автор «Диалектики природы» трезво оценил

последствия стремительной урбанизации, предвосхищая современную рефлексию удручающей экологии городов (Энгельс, 436):

Два с половиной миллиона человеческих легких и двести пятьдесят тысяч печей, сосредоточенных на трех-четыре-х квадратных географических милях, потребляют необъятное количество кислорода, которое возмещается лишь с большим трудом, так как городские постройки сами по себе затрудняют вентиляцию.

В работе британского социолога культуры **Раймонда Уильямса** «Деревня и город» (1973) трансформация природы западным обществом прямо увязана с процессами урбанизации. **Социальность** природы, ее способность **выступать на стороне власти** – вот, что выходит на первый план. От конструирования знания о природе до способов, какими люди с ней взаимодействуют, от коммерческой апроприации природы как товара до ее физической трансформации в соответствии с представлениями власть предержащих – природа пронизана властными отношениями. По словам Уильямса, сама идея природы включает большой объем человеческой истории. Американский географ **Дэвид Харви** в работах, посвященных взаимодействию капитализма и пространства, подчеркнул, как взаимное преобразование общества и окружающей среды ведет к созданию все новых вариантов сочетания городских социальных и физических условий. Британский радикальный географ **Эрик Суигенду** подытожил эту линию мысли введением понятий **социоприрода** и **социоэкология**. Другие авторы используют понятие **городская природа**. Эти понятия фиксируют понимание городов как гибридов природы, технологии и архитектуры. Повсеместные комары в подвалах, крысы в подсобках, лондонские лисы, у которых, говорят, даже очертания челюстей изменились, потому что они добывают пищу из мусорных баков – часть городской, а не какой-то иной природы. Обмены и превращения, что поддерживают городскую жизнь, – еда и вода, банкоматы и компьютеры – демонстрируют бесконечную переплетенность природного и социального. «Органическая» еда, доставляемая в Москву из Европы, и частички гари, которые невозможно, кажется,

выкашлять из легких, когда горят подмосковные торфяники, – глобальные влияния и местные риски сплетены в связях, объединяющих людей, нефть, автомобили, растения и животных, леса и климат и создающих город в неравномерно распределяющихся социоэкологических процессах.

Материальное, символическое и социальное, объединяясь, создает всякий раз специфический вариант социоэкологии. Социальные и экономические процессы, в которых соединено локальное и глобальное, в городе материализуются и в городе только возможны. Литература, посвященная городскому развитию, редко связывает капитализм, технические аспекты развития и проявления несправедливости, связанные с окружающей средой (*environmental injustice*). Американский урбанист **Нил Смит** считает, что современный капитализм буквально вовлечен в производство и воспроизводство природы (1992). Зримым примером этого является сосуществование в каждом городе депрессивных, пустынных спальных микрорайонов и ухоженной зелени «дворянских гнезд». Процесс урбанизации становится неотъемлемой частью создания новой окружающей среды и новой природы.

### **Глобальные взаимозависимости**

В окружающей среде сегодня видят все больше проявлений социальности, тогда как в городах – все больше природного. Прежние границы между обществами изменяются процессами глобализации, которые, в свою очередь, приводят не только к тому, что последствия природных катаклизмов отзываются во всем мире, но и к тому, что последствия глобальных природных перемен неодинаково сказываются в разных регионах мира: глобальный Север защищен от них лучше глобального Юга. Так, на столице Индонезии Джакарте в 1998 году особенно сокрушительно сказались последствия лопнувшего «пузыря» глобальных финансовых спекуляций. Амбициозные небоскребы остались недостроенными, а множество людей остались без работы и

пропитания. В то же время и там же проявились последствия природного феномена «Эль-Нино» – циклического потепления воды в восточной части Тихого океана. Лужи стоячей воды в заброшенных высотных зданиях стали экологической нишей для комаров. К безработице и общей растерянности прибавились малярия и лихорадка денге. Так соединились глобальное потепление и перипетии перераспределения глобального капитала, глобальное и местное, природное и социальное, человеческое и физическое, культурное и органическое. При этом сами различия между отмеченными противоположностями могут быть проведены по-разному в разных обстоятельствах и в разные периоды. Историки окружающей среды и теоретики «акторов-сетей» показали, что различные «природы», которые общества производят, могут сами обладать активностью, могут сами изменяться и трансформироваться, сопротивляясь нам и нас удивляя.

Наращение понимания как социально сконструированных измерений природы, так и нерасторжимости природы и самых современных аспектов городской жизни ведется, таким образом, на двух основных полюсах. С одной стороны, это постструктуралистские в своей основе доказательства конфликтного сосуществования различных культурных и дискурсивных рамок, в которые помещается понятие природы (что отражается в том, что эти авторы предпочитают говорить о различных природах). С другой стороны, это достижения социальных исследований науки и идей теории акторов-сетей с их акцентом на гибридности большинства изучаемых сегодня наукой объектов, невозможности одностороннего проведения их по ведомству либо естествознания, либо социальной науки, а главное – способностью проанализировать сложные сети, объединяющие различные инстанции власти и комбинации человеческих и нечеловеческих агентов в конструировании природы.

## **Трубы и микробы**



Летом 2007 года в городе-спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме в результате вспышки легионеллезной пневмонии пострадали 166 человек, четверо погибли\*. Это необычное название болезнь получила, поразив участников встречи ветеранов Американского легиона в 1976 году в Филадельфии. Возбудитель – стойкая грамотрицательная палочка, живущая в воде, иле, камнях. Случаи заражения происходят, как правило, в городах, где системы водоснабжения и кондиционирования (слизь, накапливающаяся в водопроводных трубах, застоявшаяся теплая вода в охладителях кондиционеров) создают условия для размножения бактерии. Распространяющаяся алиментарно и ингаляционно, в Пышме бактерия находилась в горячей воде, которая остыла в трубах в период опрессовки и не была перед возобновлением подачи спущена или нагрета до нужной температуры. В качестве экспертов массмедиа привлекли микробиологов, санитарных врачей и специалистов по водоснабжению. Главный санитарный врач страны в интервью программе «Вести» телеканала «Россия» подчеркнул, что «Если соблюдать все технологии, которые предусмотрены утвержденными Минтопэнерго регламентами по эксплуатации теплосетей, то это гарантия того, что никто не заболеет». А спикер Госдумы связал случившееся с качеством оборудования, используемого в ЖКХ. «Совершенно ясно, что и качество труб, и качество другого оборудования во многих городах очень далеки от того уровня, на котором они должны быть», – подчеркнул он (<http://www.rian.ru/realty/20070731/70039235.html>). Спикер также призвал к наказанию всех виновных. Самый экстравагантный комментарий к случившемуся сделал в ходе телевизионной конференции губернатор Свердловской области: «В природе микробов столько, что удивляешься, как человек вообще выживает» (Мунгалов, С.2).

В газетных заметках и телевизионных репортажах об этом случае соединились факты биологии и политические ходы, изношенные теплосети и «недофинансируемые» больницы, повсеместность рисков и будущие выборы в

---

\* Цифры заболевших и погибших, даваемые различными источниками, не совпадают.

Государственную думу. Необходимость для одних людей справляться с последствиями болезни, других – спасти политическое лицо, третьих – предотвратить распространение эпидемии, четвертых – без опаски мыться горячей водой соединились в одной истории. Иррациональные страхи и политические интересы, глобальная циркуляция микробов и национальные особенности ухода за теплосетями, профессиональное знание и слухи, социальное и биологическое оказались сплетены в одной сети объектов и событий. «Гибриды природы и культуры», как называет подобные истории французский философ науки **Бруно Латур**, потому часто и остаются содержанием вчерашних новостей, что прямо не проходят ни по чьему научному ведомству.

## **Материальность города и социальная теория**

Социальная теория занимается тем, что переводит культурное знание о естественно-научной причинности на язык социальной причинности, включающий анализ социальных и политических интересов и нахождение среди социальных агентов ответственных и виновных и определение меры их ответственности и вины. Ни зловредный микроб, ни сплетения труб в толще земли «как таковые» не входят в ее компетенцию. Для нашего разбора трудностей социальной теории, обращающейся к городам, случай с легионеллой показателен тем, что соединяет социальные процессы, с одной стороны, с биологией, с другой стороны, – с технологией. Традиционно такого рода случаи не получали более или менее целостного рассмотрения именно по причине инертности дисциплинарного знания и жесткости границ между сферой компетенции трех родов знания – социально-гуманитарного, естественно-научного и технического.

Неразличимые компоненты и тенденции городской жизни, запутанные и переплетенные, видимые и невидимые, сверхординарные и надоевшие, рано или поздно проходят по разным познавательным ведомствам: специалисты по

водоснабжению могут объяснить, почему только у нас в стране «опрессовка» сопряжена с длительным отключением горячей воды, микробиологи – идентифицировать возбудителя, а политологи – «вычислить» мотивы, побудившие официальных лиц высказаться так, а не иначе.

Городская окружающая среда только на первый взгляд кажется средой обитания людей, в действительности в ней обитает невероятное число живых организмов. Мало того – это **техническая** и **материальная** среда. Подчас сети, в которые входят наши дома, улицы и природа, спрятаны от нашего взора как буквально (под землю) так и в силу привычных путей размышления. Сдвиг интереса урбанистов от зданий, кварталов и сообществ к проводам, трубам, воде, микробам, ядохимикатам, радиоактивным отходам и прочим **невидимым** составляющим городской жизни произошел в последние десять лет. Еще раз подчеркнем, что серьезными концептуальными импульсами этого сдвига явились философия **Жиля Делеза** и теория акторов-сетей (см. врезку об этой теории), разработанная социологами науки и технологии (см. врезку об этой дисциплине) **Мишелем Каллоном**, **Джоном Ло** и **Бруно Латуром** (см. врезку о ее книге) и др.

### **Официальные лица и легионелла**

В центре нашей истории и рассказанной **Латуром** истории о **Пастере** и оспе – микробы – невидимая часть городской природы. Главное отличие между ними в том, что **Латур** в своем историко-научном исследовании живописует научное **открытие** оспы, тогда как легионелла, уже будучи открытой, лишь проявилась, или «вспыхнула», в Верхней Пышме. С другой стороны, очевидная параллель между микробами Пастера и микробами в водопроводных трубах состоит в том, что как Франция XIX века не ведала об оспе, так и микроб легионеллы – до того, как он проявился поблизости и представил реальную угрозу – для большинства из нас не существовал. Он возник во всей своей очевидности, когда стало ясно, что **недогретая** вода для него – лучшая чашечка

Петри. И он... продемонстрировал свою активность в качестве «агента», объединенного с людьми в одну сеть, в данном случае – городскую теплосеть. Есть и другая параллель: оспа прославила Пастера, а в данном случае легионелла могла сделать свердловского губернатора печально знаменитым: «А, это тот, у которого люди заражаются воспалением легких, приняв горячей душ!». Как же это противоречит образу лидера стремительно трансформирующегося региона, в котором строятся все новые объекты и возводятся все новые высотные здания, в котором бьет ключом деловая активность и перспективы развития которого все более расширяются.

Небезосновательно позиционируя себя как большого мастера привлечения иностранных инвестиций, губернатор мог знать, а мог и не знать, что в еще одном крупном городе – Санкт-Петербурге – легионелла фигурировала в контексте, куда более тесно связанном с инвестициями. Туристская привлекательность второй столицы – источник экономического благополучия большого числа людей и структур. После того, как в газете «Guardian» была опубликована заметка о том, что пожилые английские туристы с круизного корабля, делавшего остановку в Петербурге, заболели легионеллой и допускают, что заразились поблизости от городских фонтанов (<http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,2138543,00.html>), пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга распространила заявление о том, что вода в фонтанах – водопроводная, т. е., по определению проходит глубокую очистку (как если бы под Екатеринбургом люди заразились не из водопровода), что фонтаны ежедневно осматривают специалисты (!) и что вода в них просто-напросто слишком холодная для выживания бактерий. Этот эпизод еще раз свидетельствует о том, что в сегодняшнем глобализованном человеческом воображении микробы играют важную роль. Они, с одной стороны, олицетворяют невидимость и повсеместность рисков, а с другой стороны, символизируют потребительскую искушенность и активность: микробы – внушают нам послания реклам чистящих средств – это то, с чем можно справиться, то, что можно уничтожить, то, по **отсутствию** чего на вверенной

тебе территории (кухня, унитаз, квартира, далее – везде) о тебе судят, как о хорошем хозяине.

В «Тринадцати друзьях Оушена» (2007) режиссера **Стивена Содерберга** есть эпизод: одним из способов мести за «кинутого» друга, который придумывают Оушен и К°, стало помещение судьи, присуждающего престижную гостиничную премию, именно в тот номер роскошного отеля при развлекательном центре, который предварительно был щедро опрыскан бульоном, кишмя кишасим бактериями. Когда все это биологическое разнообразие высвечивается судьей, проверяющим номера гостиницы на соответствие самым строгим гигиеническим нормам, в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, ты понимаешь ужас бедолаги. Но здравый смысл подсказывает, что что-то подобное – при подобающей смене оптики – можно увидеть и в родном жилище. Так потребители и колеблются между высокомерным самообманом и иллюзией контроля («Где угодно, только не у меня») и реалистичным пониманием того, что мы давно уже с микробами сосуществуем и наше счастье, что мы их не видим.

Легионелла в силу своей вездесущности – вредоносный агент (по Латуру, агент в буквальном смысле слова!), угрожающий имиджу города. Риторическая стратегия петербуржцев: «Это не у нас! В наших фонтанах ничего такого нет! Вы лучше кондиционеры у себя на корабле проверьте!». Риторическая стратегия свердловского губернатора: «Этот случай никак не связан именно с моей территорией, так как микробы повсеместны». Россель переворачивает традиционный социологический аргумент об «исключительности человека», в соответствии с которым физические и природные объекты рассматриваются «вдали» от людей с их проблемами. Он поднимает вопрос о том, как люди выживают в **мире микробов**, имея в виду, что раз микробы – повсюду, то окончательно справиться с ними невозможно. Контекст для социальных проблем здесь образован немного-немало всей биосферой. Губернатор, ведя речь о человеке вообще и микробах вообще, такой естествоиспытательской риторикой искусно «вычитает» из своей картины технологические сети и

«человеческий фактор», прибегая к классическому аргументу «неуправляемости природы».

## **Природа и политика**

В 1980–1990-е годы ряд социальных теоретиков в длинный перечень провозглашенных тогда «концов» (истории и автора, искусства и философии) включили и конец природы (Giddens, 1994; Smith, 1992). Риторическое обоснование «конца», как правило, включает поправку относительно того, что речь идет не о безоговорочном исчезновении того или иного феномена, но лишь об исчерпании традиционного его понимания. Так, говоря о природе, **Ульрик Бек** настаивает, что наступил «конец противопоставления природы и общества» (2000, 98), имея в виду, что природа, без разрушения которой современное общество не могло бы существовать, стала частью общественно-экономического и политического развития. Нет смысла представлять природу первозданной и неправы будут те, кто мыслит ее находящейся вдалеке. Все это в прошлом, теперь потенциально каждая ее малая часть может быть модифицирована, и нет ни единого места на земле, не затронутого антропогенной активностью. Бек справедливо обращает внимание на то, что язык нас дезориентирует, когда мы продолжаем говорить об «окружающей» среде, тогда как (2000, 99):

Индустриально преобразенную «внутреннюю природу» цивилизованного мира следует воспринимать не как **окружающую среду**, а как **внутреннюю среду**, относительно которой наши возможности дистанцирования и разграничения проявляют свою **несостоятельность**.

Эти оценки совпали по времени с разворачиванием парадигмы социального конструктивизма, в рамках которой невозможность отделить друг от друга социум и природу в их действительном материальном существовании была дополнена впечатляющей демонстрацией социальной

сконструированности представлений о природе и активной манипуляции понятием естественного в социальных и политических целях (Eder, 1996; Robertson, 1996). Так, географы **Нозл Кэстри** и **Брюс Браун** настаивают, что сегодня продуктивнее задаваться не вопросом о том, что общество делает с природой, но вопросом «кто конструирует какие природы с какими целями и с какими социальными и экологическими последствиями?» (Social Nature, 2002).

Драматическое одиночество человека в мире микробов, подчеркнутое в реплике губернатора, может быть истолковано так, что отношение «человека» к «природе» определяется ситуативно, в рамках местоположенных практик самых разных «публик». Эти отношения двусмысленны, различны и произвольны. Деловые сообщества и сообщества политиков, делегируя из своих рядов экспертов, должны как-то совладать с этой двусмысленностью. Губернатор, надо сказать, справился не худшим образом. Фактически, повторим, его реплика – это вариант аргумента о «неуправляемой природе», который активно, настаивают географы **Джон Урри** и **Фил Макнахтен**, воспроизводят члены правящих сообществ посредством «официально-бюрократических, научных и управленческих дискурсов» (Urry, Macnaghten, 1998). Нам этот аргумент знаком по освещению в прессе начала отопительного сезона: он всегда застаёт коммунальщиков врасплох.

Моральная и политическая насущность вопросов глобального потепления, эксплуатации транснациональными корпорациями экологии малоразвитых стран, последствия биомедицинского картографирования генетической системы – все это побуждает по-новому присмотреться к динамике отношений природы и общества, к тому, какие возможности для освобождения людей эта изменившаяся динамика может содержать. Люди стремятся сохранить свои среды обитания, будучи включенными во властные отношения. При капитализме множественные **социоэкологические отношения** доминирования и подчинения скрыты за товарными отношениями. Тем не менее город оказывается местом соединения разнообразных социоэкологических процессов – от ближайшего подвала до отдаленных

уголков земного шара. **Эрик Суигенду** продолжает эту тему в книге «Социальная власть и урбанизация воды» (2004). Регуляция поступления воды в города городскими властями – иллюстрация необходимости развития **марксистской урбанистической политической экологии**. Ее главный тезис в том, что **материальные условия городской природы контролируются и манипулируются в интересах элиты за счет маргинализированных слоев населения. Эти условия, в свою очередь, зависят как от социальных, политических и экономических процессов, так и от культурных конструкций и репрезентаций, определяющих, что понимается под «городским» и «природным».**

Ученица Суигенду, оксфордский городской географ **Мария Кайка** в книге «Город потоков» (2005) предлагает мыслить современный город как гибридный «ландшафт-палимпсест». Кайка – на примере воды в городе – показывает, что, хотя природу и город уже ничто в умах людей не связывает, циркуляция воды в городе определяется политикой: снабжение водой – это арена, на которой разворачиваются конкретные политико-экономические программы. Каким образом политическая экономия урбанизации проявляется в дискурсивных и материальных практиках в отношении воды? Если в пору культурного энтузиазма в отношении индустриализации плотины и водонапорные башни были популярными у людей местами посещения и отдыха, возле них даже устраивались пикники, то постепенно успехи промышленности и повсеместность технологии стали привычными, а процессы коммодификации укрыли от человеческих глаз «потоки природы» и включенные в них властные отношения: вода течет из крана и наливается из бутылки, так что о ее происхождении с неба или из реки не задумываются. Кайка рассматривает, каким образом процессы приватизации сказались на снабжении Лондона водой, начиная с 1970-х годов. Кратковременные интересы любой частной компании, т. е. ее нацеленность на максимально быстрое получение прибыли, ведут к тому, что экологические и социальные интересы всегда будут последними, что она примет во внимание. В случае Лондона,



недостаток ресурсов, отведенных для поддержания водопровода в порядке, приводил к многочисленным авариям и потере воды. Побудить компании к учету экологических последствий их деятельности могут только специальные меры, рассчитывать на логику рынка в данном случае совсем не приходится.

Многочисленные превращения и метаболизмы, поддерживающие и определяющие городскую жизнь, – от воды и пищи до сотовых телефонов и компьютеров – нерасторжимо переплетают между собой физические и социальные процессы. За ними важно видеть различные варианты городских экологий – от «умных» домов и ухоженных парков, сосредоточенных на территориях «дворянских гнезд» и коттеджных поселков, до вредных отходов, таящихся в почве под домами попроще, квартиры в которых отделаны дешевыми, но вредными для здоровья материалами. Внимание к разнообразию вариантов взаимодействия города и природы позволяет внести уточнения в тезис Энгельса о принципиальной «неустойчивости» городов: процессы развития городской экологии таковы, что если одни группы от них страдают, то другим они приносят выгоду. Урбанистическая политическая экология призывает задавать такие вопросы: «Кто платит за, а кто приобретает выгоду от развития городской экологии?», «Каким образом воспроизводятся глубоко несправедливые социозэкологические отношения?»

Самым зримым процессом, делающим политическую экологию насущной теорией, является **коммодификация природы** или окружающей среды с целью увеличения шансов городов и регионов на победу в глобальном или национальном соревновании по привлечению инвестиций. Так, в США понятия **устойчивого развития** (*sustainable development*) и **умного роста** (*smart growth*) активно используются в рамках дискурса зеленой революции (*green revolution*) во имя улучшения экологических условий жизни людей. Нередко, однако, это оборачивается улучшением условий жизни только для состоятельных людей. Политики устойчивого развития (защита «зеленого пояса» города, продвижение «зеленых» районов как привлекательных для состоятельных людей и т. д.) вытесняют людей с низким заработком в отдаленные районы, что влечет

увеличение времени на дорогу до работы и, соответственно, негативное воздействие на окружающую среду.

### **Экологическая устойчивость городов**

Если в прошлом люди составляли незначительный компонент природных экосистем, то постепенно их деятельность сравнивалась по своему масштабу с силами природы. К 2050 году население мира возрастет, по разным оценкам, от 7,6 до 10,6 миллиардов человек (United Nations, 2005). Справятся ли экологические системы Земли с этой нагрузкой? Способны ли будут общества снабдить едой и всем необходимым такое количество обитателей? В 2007 году человечество перешагнуло важный рубеж: сегодня больше людей живет в городах, чем в сельских поселениях (United Nations, 2004). Отражением этих тенденций и тревог стало понятие **экологической устойчивости города** (*urban sustainability*), фиксирующее необходимость сократить нагрузку, оказываемую городами на окружающую среду. В набирающих сегодня популярность терминах – уменьшить их **экологический след** (*ecological footprint*). Воздействие города можно описать, измерив его экологический след, т. е. меру «нагрузки» на природу, которая возникает в результате удовлетворения разнообразных потребностей городских обитателей. Сегодня, с одной стороны, социоэкологический след города стал глобальным (по словам Эрика Суингеду), с другой стороны, будущее некоторых городов неопределенно из-за экологической ситуации, которую они создают и усугубляют. Чем слабее законодательная регуляция экологических проблем, тем более высока вероятность того, что экономический рост быстро развивающихся стран будет достигнут ценой драматического загрязнения воздуха, воды и земли.

Политически эти тенденции отражаются в росте коалиций заинтересованных сторон и появлении все большего числа неправительственных организаций, пропагандирующих необходимость срочных мер и увеличения экологической осведомленности граждан. В июне

2005 года мэры крупных городов мира собрались в Сан-Франциско, чтобы подписать Декларацию зеленых городов. Общие городские экологические вызовы, с которыми городские власти и горожане сталкиваются повсеместно – перегруженность городов автомобилями, пробки, отдаленность мест проживания от мест работы, рост пригородов, недостаток воды, неравномерное развитие. Успехи городских властей по части устранения этих проблем, как правило, весьма скромные. Особенно значимы те, где властям удается убедить местное население в необходимости «что-то сделать». Так, бывший мэр колумбийского города Богота **Энрике Пеналоза** резонно гордится своим проектом «цивилизованного города», т. е. тем, что ему удалось ввести «дни, свободные от машин», побудить людей чаще пользоваться общественным транспортом и так называемыми мягкими способами передвижения – велосипедом и ходить пешком. Богатых обитателей Боготы он убедил в необходимости капиталовложений в инфраструктуру тех районов, где те живут – из того соображения, что лучше пользоваться общественными благами (школами, к примеру) «на месте», чем ездить за тридевять земель. Этот пример подтверждает очевидное: экологические проблемы тесно связаны с социальными. Успех в их решении зависит и от социального капитала района или города. Этот пример указывает и на некоторое преисполнение городских экологов 1980-х годов, предлагавших в своих книгах бороться с «гранитными садами», создавать города более дружественные к своим обитателям, с изобилием парков вместо парковок, с открытыми, а не спрятанными под землю реками (Spirn, 1984).

Строительство городов, гармонично сосуществующих с природой, сегодня вряд ли достижимо как в силу политических, так и экономических причин. Сложно заставить полчеловечества добираться на автобусе до работы или магазина. Сложно побудить людей отказаться от тех благ цивилизации, с которыми они сроднились и с которыми эмоционально связаны, пожалуй, прочнее, чем с природой. Пригороды, которые многие предпочитают сегодня как место жительства, воплощают тот стиль жизни, те представления о свободе

и необходимом для жизни пространстве, которые для многих людей нерасторжимы с их идентичностью. Самое же главное состоит в том, что никто не отказался бы от того, чтобы жить в более чистом и зеленом городе, но сделать что-то для этого индивидуально не готов. Мы сталкиваемся здесь с классической сложностью организации людей на какое-то коллективное действие. Решение экологических проблем в городе требует срочных коллективных действий, но коллективным действиям часто не удается достичь того, что бы предпочел каждый индивид. Более благополучная окружающая среда отнюдь не занимает достаточно высокого места в списке приоритетов людей.

Тем значимее работа каждого из нас над собой. Возможно, в не столь уж отдаленном будущем станут непопулярными езда на внедорожниках, поедание полукилограммового стейка, строительство огромных загородных домов, выбрасывание большого количества вещей под давлением моды. Если тебе есть дело до городской (и просто) природы, **ты** подашь пример другим людям. Когда таких людей будет достаточно много и они продолжают оказывать влияние друг на друга, появится рынок «зеленых» продуктов (покупаемых не только потому, что они полезны для **твоего** здоровья) и экологических технологий. Уже сегодня тенденции развития рынка автомобилей-гибридов и нарастающая популярность движения *down-shifting* (<http://www.downshifting.ru/about>) выглядят достаточно обнадеживающе.

---

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.

Блинов А. Азбука градостроительной экологии (статья): [nauka.relis.ru/09/0203/09203024.htm](http://nauka.relis.ru/09/0203/09203024.htm)

Мунгалов Д. Имя ей – легионелла // Русский Newsweek. 2007. 06–12 авг. С.2.

Энгельс, Ф. *Положение рабочего класса в Англии*. В кн.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. Т. 3, с. 231—517.

- Castree, N. and B. Brown (eds.) (2002) *Social Nature: Theory, Practice and Politics*. Oxford: Blackwell.
- Cronon, W. (1992) *Nature's Metropolis: Chicago and the Great West*. New York: Norton
- Douglas, I. (1981) "The city as an ecosystem", *Progress in Physical Geography*, no. 5: 315-367.
- Eder K. (1996) *The Social Construction of Nature*. London: Sage.
- Fitter, R. S. (1945). *London's Natural History*. London: Collins.
- Gandy, M. (2002). *Concrete and clay: Reworking nature in New York City*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Giddens, A.( 1994) Living in a Post-Traditional Society, in U. Beck, A. Giddens, S. Lash (eds.) *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Cambridge: Polity Press.
- Heynen, N., Kaika, M., Swyngedouw, E. (2006) *In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism*. London & New York: Routledge.
- Iannuzzi, T.J., Ludwig, D.F., Kinnell, J.C., Wallin, J.M., Desvousges, W.H. & Dunford, R.W. (2002). *A Common Tragedy: History of an Urban River*. Amherst, MA: Amherst Scientific Publishers.
- Kaika, M. (2005) *City of Flows: Modernity, Nature and the City*. London, Routledge,
- Keil, R. (2005). Progress report: Urban political ecology. *Urban Geography*, 26(7): 640-651.
- Robertson G.(1996) *Future Natural: Nature/Science/Culture*. London: Routledge.
- Smith, N.(1992) *Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Spirn, A.W. (1984) *The Granite Garden: Urban Nature and Human Design* (New York: Basic Books, ); *idem, Language of Landscape* (New Haven: Yale University Press, 2000).

Swyngedouw, E. (2004). *Social Power and the Urbanisation of Water: Flows of Power*.

Oxford, UK: Oxford University Press.

United Nations. (2004). *World urbanization prospects: The 2003 revision*. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. Available at <http://esa.un.org/unpp>

United Nations. (2005). *World population prospects: The 2004 revision analytical report*.

Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. Available at <http://esa.un.org/unpp>

Urry, J., Macnaghten, P. (1998) *Contested Natures*. London: Sage.

Whatmore, S. (2002) *Hybrid Geographies: Natures, Cultures, Spaces*. London, Sage.

Williams, R. (1973) *The Country and the City*. London: Chatto & Windus, 1973.

Gill, D. & Bonnett, P. (1973). *Nature in the urban landscape: A study of city ecosystems*. Baltimore: York Press.

## **ГЛАВА 5. ГОРОД КАК МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В урбанистической теории экономический анализ играл и продолжает играть ведущую роль. С одной стороны, экономика городов мыслится как основа социальных, политических, культурных и прочих аспектов их развития. С другой стороны, ведутся попытки оценить сами города как «агентов» экономического развития.

Какую экономическую роль играют города? Если отвечать на этот вопрос исторически, то ясно, что в прошлом их роль была беспрецедентной. В масштабной истории мирового капитализма, написанной французским историком Фернаном Броделем (2002, 2007), города органично вплетены в сложную картину случайностей, способствовавших либо препятствовавших движению вперед, проб и ошибок, природных ограничений и человеческой предприимчивости. Говорит ли историк о разделении труда или о складывании

рынка, город участвует в этих процессах как один из главных агентов. Говоря в общем, это город сделал разделение труда и рынок всеобщими явлениями. Говоря более конкретно, это в Севилье, Марселе, Генуе, Флоренции, Венеции и Милане сложился в XVI веке «торговый капитализм». Столицы крупной торговли, эти города стали и местом отработки новых форм промышленного производства, таких, как производство хлопковых и шелковых тканей.

Без городов не сложились бы фордистская экономика и промышленность, не оформились и не воплотились бы политически имперские амбиции европейских держав. Поскольку главным предметом интереса урбанистической теории являются современные города, тип которых начал формироваться около двухсот лет назад, она конкретизирует связь города и экономики. Ее интересует, как связаны город и капитализм. Сегодня, когда немалое число бывших социалистических либо колонизованных городов включилось в капиталистическое развитие, вопрос о разнообразии проявлений капитализма в городах и, наоборот, о различных сторонах жизни капиталистического метрополиса, приобретает универсальное звучание.

Капиталистический город сформировался в западных странах около ста пятидесяти лет назад – к середине XIX века. Три фактора оказали наибольшее воздействие на его формирование:

- развитие промышленности;
- ускорение сообщения между регионами за счет паровозов и пароходов, а также изобретение телеграфа, кинематографа и двигателя внутреннего сгорания;
- массовое потребление промышленно произведенных продуктов (ставшее возможным за счет механизации производства).

Строительство новых заводов, быстрый прилив рабочей силы в города (население городов удваивалось или утраивалось каждые пятьдесят лет), усиливающееся разделение труда, усложнение физической инфраструктуры городов, складывание банковской системы и многое другое способствовало тому, что с конца XIX века города превратились в машины капиталистического

накопления. Но еще раньше – в первой половине XIX века – противоречия нового общества стали настолько разительными, что вызвали интерес основоположников марксизма. К их трудам сегодня относятся достаточно амбивалентно: признается их вклад в изучение процесса капиталистического накопления, но не забывается, чем для значительной части человечества обернулась попытка воплощения марксистских идей. Тем не менее есть целая группа влиятельных урбанистов, предпринявших неомарксистский (или постмарксистский) анализ городов. Это такие авторы, как профессор Калифорнийского университета в Беркли социолог Мануэль Кастельс, британский географ Дорин Мэйси, американский географ Дэвид Харви. Критика современного неолиберального капитализма ведется левыми урбанистами, в особенности британскими, с поистине марксистской страстью. В главах данного пособия, посвященных городской повседневности и неклассической городской теории, идет речь и о других, не чуждых марксизму, авторах – от Вальтера Беньямина и других представителей Франкфуртской школы до американского мыслителя Фредерика Джеймисона.

### **Становление капитализма в европейских городах: идеи К. Маркса и Ф. Энгельса**

«Основой всякого развитого и товарообменом опосредствованного разделения труда является отделение города от деревни. Можно сказать, что вся экономическая история общества резюмируется в движении этой противоположности, на которой мы не будем, однако, здесь более останавливаться», – пишет **Карл Маркс** в «Капитале» (1983, 365). Пространство, в котором развивался капитализм, Маркса интересовало мало. В то же время, когда Маркс раскрывает механизм капиталистического способа производства в индустриальном обществе, он, конечно, имеет в виду городское общество. Если феодальное общество было основано на аграрном способе производства, то капиталистическое общество могло сложиться тогда, когда из прибавочной стоимости произведенных товаров можно было извлечь прибыль



(а для этого нужен был наемный труд). Это Маркс и имеет в виду в приведенном выше фрагменте. Превращение труда в товар было возможно, главным образом, в городах и на города существенно повлияло. Во-первых, образовался рынок труда. Маркс считает, что движение в города из деревень освобожденной от личной зависимости рабочей силы определяет современную историю. Немногие люди, владевшие средствами производства, могли нещадно эксплуатировать неимущих людей, привлеченных в города развитием коммерции и индустрии.

Сподвижник Маркса молодой радикал **Фридрих Энгельс**, ужаснулся условиям жизни этих людей, которые он наблюдал в Ланкашире. Его исследование «Положение рабочего класса в Англии» (1845) делает его предтечей и городской антропологии, и социальной географии. Некоторым читателям это сочинение памятно, вероятно, по семинарам по истмату, стоически претерпеваемым в юности. Убеждена, что эту работу Энгельса стоит прочесть в качестве достойного культурного артефакта. Сейчас можно только догадываться, пришла ли идея визитов в трущобы английских городов в результате растущей уверенности Энгельса в том, что нельзя принимать на веру слова, которые общество говорит о себе устами своих идеологов, или сказались нужды семейного текстильного бизнеса, но вот эти слова мыслителя в предисловии к работе, обращенные к рабочим, свидетельствуют, что его методология была по своему характеру антропологической (Энгельс, 236):

Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я исследовал его с самым серьёзным вниманием, изучил различные официальные и неофициальные документы, поскольку мне удавалось раздобыть их, но всё это меня не удовлетворило. Я искал большего, чем одно абстрактное знание предмета, я хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах...

«Классовый» словарь марксиста в это время еще только становится, вот почему он называет буржуазию и рабочий класс двумя «народами», настолько

различными, «как если бы они принадлежали к различным расам». Познакомить общественность с практически неизвестной доселе «расой» рабочих – такую задачу ставит перед собой Энгельс.

«Полевое исследование» Энгельса продолжалось почти два года. Манчестер и Ланкашир, Дербишир и Бирмингем, Шеффилд и «Стаффордшир, в особенности Вулвергемптон», не говоря уже о Дублине и Лондоне – города и местности, которых он касается в тексте. Многие темы, которые он рассматривает или впервые ставит – иммиграция и изображение иммигрантов в качестве «козлов отпущения» за насущные социальные проблемы, джентрификация, связь эксплуатации и роскоши – составляют предмет активных сегодняшних обсуждений.

Его описания скученности, грязи, болезней и общей безнадежности существования английских рабочих предварены общей историей индустриализации и урбанизации в Англии, изложенной мыслителем достаточно тенденциозно, в том смысле, что мыслитель, кажется, буквально видит, как все былое социальное разнообразие английского населения стремительно сводится к двум полярностям – рабочему классу и буржуазии (Энгельс, 257): «Так возникли большие фабричные и торговые города Великобритании, в которых по меньшей мере три четверти населения принадлежат к рабочему классу, а мелкая буржуазия состоит только из лавочников и очень, очень немногочисленных ремесленников».

Тенденциозно, а временами возмутительно политически-некорректно и отношение мыслителя к некоторым культурным группам, положение которых он описывал, прежде всего к «кельто-ирландской национальности». Ирландцы, бежавшие в Лондон, спасаясь от царящего дома голода и берясь за самую грязную работу, плохо влияли, считал мыслитель, на английский работный люд. Энгельс демонстрирует простодушный эссенциализм, граничащий с расизмом, когда говорит о «характере» ирландцев, которые «чувствуют себя уютно именно в грязи». Значительным ирландским присутствием отличались к середине XIX века многие английские города, что немедленно нашло

отражение в литературе, прежде всего в текстах Томаса Карлейля (кстати, именно этот английский романист впервые в 1854 году использовал слово «капитализм») и в общих ксенофобных настроениях. Ирландцы более всегогодились на роль «козлов отпущения», когда дело доходило до плохих жилищных условий и низкой зарплаты. Их непритязательность поощряла строительство новых трущоб. Энгельс, по сути, обвиняет в своей книге ирландцев за усугубление и без того тягостного положения английских рабочих, за дурное влияние на людей, нравы которых и без того отличались простотой. Тем самым он способствовал (вместе с другими людьми, посетившими Англию в то время) распространению многочисленных стереотипов об ирландцах, которые упорно воспроизводятся и поныне.

Эта часть городской антропологии Энгельса перекликается с сегодняшними антропологическими и социологическими штудиями иммиграции, а именно: с идеей тесной связи между переживанием страха и неопределенности, испытываемой местными жителями, и враждебностью к не самым лучшим представителям того или иного народа, кочующим по миру в поисках заработка.

В тексте его масштабной работы «различные официальные и неофициальные документы», в частности статистический анализ, используются более часто, нежели собственные наблюдения мыслителя, что немудрено: им описана, по сути, вся Англия. Другой причиной этого могло быть то, что традиция описания городов модерности к концу первой половины XIX века лишь складывалась, и вряд ли только риторическим является, к примеру, следующий пассаж: «Нищенские кварталы Дублина рассеяны по всему городу, и грязь и неблагоустройство домов, запущенность улиц не поддаётся описанию (курсив мой. – Е. Т.)». Интересно, что в некоторых используемых Энгельсом источниках справедливо отмечается практически полное отсутствие знания о беднейших слоях населения в своей стране, сопоставимое с объемом знания об отдаленных культурах: в благополучных частях города об обитателях соседних

с ними кварталов знали «не больше, чем о дикарях Австралии и Южной Океании».

И до и после Энгельса социальные контрасты английских городов выразительно описывались писателями, от Эдгара По до Чарльза Диккенса. Так, Энгельс активно использует тексты Томаса Карлейля для своего анализа масштабной ирландской иммиграции и ее последствий. Приемы контраста, противопоставления аристократического блеска и удручающей бедности в описании городской жизни (у того же Эдгара По в «Человеке толпы», к примеру) к тому времени уже сложились. Однако именно у Энгельса мы находим пронизательные описания того, к чему может приводить неравномерность городского развития. Бедность и богатство могут соседствовать на одной улице, что физическое соседство не исключает социальной пропасти, лежащей между обитателями того или иного квартала. Энгельс, среди прочего, показывает это на примере центрального лондонского квартала Сент-Джайлс, окружённого «блестящими, широкими улицами, по которым фланирует лондонский высший свет, совсем близко от Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, от Трафалгар-сквера и Стрэнда» (Энгельс, 266). Наблюдатель видит «беспорядочное нагромождение высоких трех и четырехэтажных домов, с узкими, кривыми и грязными улицами», жизнь в которых протекает столь же бурно, сколь на соседних фешенебельных улицах. Описания Энгельса выразительны и полны обличительной силы (266):

Дома, от подвала до самой крыши битком набитые жильцами, настолько грязны снаружи и внутри, что ни один человек, казалось бы, не согласится в них жить. Но все это ничто в сравнении с жилищами, расположенными в тесных дворах и переулках между улицами, куда можно попасть через крытые проходы между домами и где грязь и ветхость не поддаются описанию; здесь почти не увидишь окна с целыми стеклами, стены обваливаются, дверные косяки и оконные рамы сломаны и еле держатся, двери сколочены из старых досок или совершенно отсутствуют, ибо в этом воровском квартале они собственно не нужны, так как нечего красть. Повсюду кучи мусора и золы, а выливаемые у дверей помой застаиваются в зловонных лужах. Здесь

живут беднейшие из бедных, наиболее низко оплачиваемые рабочие, вперемишку с ворами, мошенниками и жертвами проституции. Большинство из них – ирландцы или потомки ирландцев, и даже те, которых еще не засосал водоворот морального разложения, окружающий их, с каждым днем все более опускаются, с каждым днем все более и более теряют силы противиться деморализующему влиянию нужды, грязи и ужасной среды.

Сент-Джайлс, описанный подобным образом (шум, вонь гниющих овощей, которыми торгуют тут же), – не единственный квартал, в котором соседствуют благополучие и безнадежность (267):

В огромном лабиринте улиц есть сотни и тысячи скрытых переулков и закоулков, дома в которых слишком плохи для всех тех, кто имеет возможность хоть сколько-нибудь расходовать на более человеческое жилье, и такие пристанища жесточайшей нищеты можно найти часто в непосредственном соседстве с прекрасными домами богачей.

Как же согласовать сетования Энгельса на неопишуемость того, что ему открылось в переулках Лондона, с этими «плотными» описаниями, в которых мыслитель пронизательно фиксирует главные компоненты социальной реальности большого города? Ведь это лишь в течение последних полутора столетий марксизм, так или иначе затронув большую часть человечества, стал общим для многих компонентом культурной памяти и популярной интерпретационной рамкой. В итоге противопоставление потребления богатых напоказ и стесненности бедных в средствах стало таким общим местом, что мы даже боимся его банальности и очевидности. Однако Энгельс описывал Лондон, центр которого продолжал застраиваться, и происходящее в нем еще надо было расшифровать.

Так, упомянутая Энгельсом Риджент-стрит была построена в 1820-е годы на деньги нескольких финансистов и задумана как место концентрации самых престижных торговых и доходных домов (Arnold, 2000, 48–493). Для того

чтобы привлечь богатых жильцов и покупателей, этот район надо было подвергнуть тому, что теперь называется джентрификацией (см. об этом главу «Город и глобализация»), – вытеснить прежних обитателей и вложить капитал для увеличения экономического потенциала района. Джон Нэш, спроектировавший знаменитые классицистские колоннады зданий улицы (ныне исчезнувшие), сумел придать единый социальный смысл кварталу – отныне месту обитания состоятельных людей. Выразительной стеной фасадов он закрыл дома победнее, в которых обитали торговцы и рабочие. Риджент-стрит стала своего рода социальным барьером, отделяющим места проживания богатых к востоку от нее и трущобы Сент-Джайлса к западу от нее настолько успешно, что благополучные обитатели Лондона могли прожить всю жизнь по соседству с беднотой, не подозревая об этом.

По замечанию Стивена Маркуса, Энгельс нашел своеобразную стратегию «прочтения непонятного» в городе, состоящую в том, что он изображает город одновременно и как прочитываемый и как нерасшифруемый (1973, 262). Планирование города в первой половине XIX века, как это ни парадоксально, добавляет городу «нечитаемости». Плотно стоящие друг к другу фасады богатых домов и дома бедняков, спрессованных как селедки, сосуществовали так, что люди по разные стороны социального водораздела видели только «своих». Потребовался «тенденциозный» взгляд социального теоретика, чтобы это невидимое доселе противоречие увидеть и зафиксировать, чтобы прочесть коммерческие здания и пабы бедноты как камуфляж, симптом, видимую часть невидимой реальности, как образования, «созданные из смещений и компромиссов между антагонистическими силами и инстанциями» (Ibidem).

Увидев классовые противоречия, Энгельс облакает их в плоть. Он описывает, как девушки из лондонских модных лавок слепнут, сутки напролет изготавливая предметы для «украшения буржуазных дам». «Какой-нибудь ничтожный дэнди», опять-таки «поблизости» от рабочих, «проигрывает в один вечер в фараон больше денег, чем они могут заработать в течение целого года».

Увидев классовые противоречия на Риджент-стрит, Энгельс изображает их в качестве главного измерения современной ему городской реальности: «Все, что можно сказать о Лондоне, применимо также к Манчестеру, Бирмингему и Лидсу, ко всем большим городам. Везде варварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с одной стороны, и неописуемая нищета – с другой» (264). Тропы «города контрастов», «разделенного города», с помощью которых современные авторы продолжают изображать социальные последствия экономических противоречий, в этом тексте кристаллизовались и упрочились, начав победное шествие по «городской» литературе.

Когда мы читаем Энгельса сегодня, то не в силах абстрагироваться от знания того, что поиски универсального минимума компонентов «урбанизма как образа жизни», которые были присущи теории городов первой половины XX века, велись с оглядкой на стандарты естественнонаучного знания и с уверенностью, что к воплощению своей сути города пришли лишь в XX веке. Между тем за полвека до Зиммеля и Уирта Энгельс проницательно замечал, глядя на Лондон, что «деньги – вот бог на земле», что человек – «лишенный воли объект всевозможных комбинаций и стечений обстоятельств», что «все жизненные отношения оцениваются по их доходности, и все, что не приносит денег, – чепуха, непрактичность, идеализм». В особенности выразительны его описания влияния на людей больших городов (264):

Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве. И хотя мы и знаем, что эта обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной и всеобщий принцип нашего современного общества, все же нигде эти черты не выступают так обнаженно и нагло, так самоуверенно, как именно здесь, в сутолоке большого города. Раздробление человечества на монады, из которых каждая имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, этот мир атомов достигает здесь своего апогея. Отсюда также вытекает, что социальная война, война всех против всех провозглашена здесь открыто.

Среди тех, с кем Энгельс говорил, собирая материал для своей книги, был манчестерский промышленник. С ним Энгельс идет по улицам рабочего квартала, пытаясь понять, почему сами принципы его застройки таковы, что обрекают рабочих на невероятную скученность и болезни. Ответ промышленника был циничен и честен: «И все же здесь зарабатывают очень много денег. До свидания, сударь!»(497). Он был далек от того, чтобы хотя бы притворно разделить классовую страсть Энгельса. Разделение труда между теми, кто зарабатывает, превращая городское пространство в капитал, и теми, кто критикует последствия капитализма для городов, оформившись в этом эпизоде, воспроизводится по настоящий день.

### **Идеи современных марксистов-урбанистов**

Американский географ **Дэвид Харви** в работе «Социальная справедливость и город» (1973, 202) называет город «центром организации данного способа производства» и призывает географов к отказу от мнимой объективности исследований в условиях, когда увеличиваются отряды городской бедноты. В книге «Сознание и городской опыт»(1985) он рассматривает связь между деньгами, временем и пространством как основу процесса урбанизации. Он различает **денежную экономику** и **капиталистическую экономику**. Первая существовала задолго до того, как возникли крупные города. Вторая оформилась в начале XIX века. Когда промышленность пришла в города, некоторые из городов уже насчитывали миллион и более жителей. Превращение людей в товар и циркуляция денег как абстракции этого товара соединяются. Нарастает противоречие между равенством, предполагаемым владением деньгами, и классовой борьбой, определяющей делание денег. Согласно Харви (1985, 12)

Деньги обладают невероятной способностью концентрировать социальную власть в пространстве, ибо, в отличие от других видов потребительной стоимости, они могут без



ограничения накапливаться в определенном месте. Эта невероятная концентрация социальной власти может быть использована для осуществления в конкретном месте массивного преобразования природы созданием городской среды и того подобного.

Иными словами, в капиталистическом городе усиливается связь между деньгами и пространством. Создание точных карт и земельных кадастров способствовало **коммодификации пространства**, т. е. превращения земли в актив, который мог быть продан или куплен. Она базируется не только на фиксации прав на землю, но и на том, что они отныне принадлежат не какому-то единоличному властвующему субъекту, но широкому кругу частных лиц. Сначала землю в городе поделили на аккуратно очерченные и продаваемые участки, затем ее владельцы научились получать арендную плату, которая увеличивалась по мере того, как росла стоимость городского пространства. Близость недвижимости к центру, рынку, вокзалу гарантировала наивысшую арендную плату, и с тех пор надежным способом увеличения стоимости земли стало строительство на ней зданий или дорог, каналов, железных дорог или аэропортов.

Книга Харви «Сознание и городской опыт» (1985) содержит один из немногих конкретных случаев развития городского пространства, включенных автором в большой корпус своих работ. Он ведет речь о масштабной перестройке Парижа, осуществленной **бароном Османом** при Наполеоне Втором. Если некоторые москвичи извели в полной мере горечь насильственных переселений в 1990–2000-е гг. (см. раздел о джентрификации в главе «Город и глобализация»), то парижане, особенно те, кто были причислены к «опасным классам» (в количестве 350 тыс. человек) – были вытеснены из трущоб Монпарнаса и Ле Галля в середине XIX столетия. Осман проложил Большие бульвары по живой ткани города, став первым из всех модернистских планировщиков, воплотивших свое видение нового и лучшего города вопреки всему и всем и, как правило, не считаясь с интересами низов. Осман построил театры для элиты, разбил несколько парков, но главное –

обеспечил легкий доступ от ее жилых кварталов к местам культурного потребления. Рабочий же люд был вытеснен из города на периферию – туда, где в это время возводились большие заводы.

В работе «Пределы капитала» (1982) Харви проясняет Марксову теорию капиталистического способа производства, с тем, чтобы осуществить исторический анализ процесса урбанизации при капитализме. Используя труды французского неомарксиста Анри Лефевра, Харви сосредоточивается вначале на **первичном обращении капитала**, в рамках которого труд создает прибавочную стоимость. Рабочие придают ценность продукту, который продается капиталистом для получения прибыли. Воспроизводство труда и потребление товаров также осуществляется в рамках первичного обращения. Все это хорошо описано Марксом в «Капитале». Харви показывает, насколько сложнее современная капиталистическая политическая экономия. Маркс предвидел эту сложность, сформулировав понятие **сверхнакопления**. Капитализм склонен порождать кризисы в первичном обращении, состоящие в избытке капитала, который требует прибыльного вложения. Симптомами кризиса являются: (1) перепроизводство товаров; (2) неиспользуемые промышленные мощности; (3) увеличение числа безработных.

Последний мощный кризис разразился в западном мире в конце 1960-х – начале 1970-х годов. Он пришел на смену послевоенному буму, отмеченному почти полным отсутствием безработицы, заметным повышением благосостояния людей, победы профсоюзов в борьбе за социальные права. При этом, в Марксовых терминах, капитал продолжал сверхнакапливаться. Старая техника не могла больше гарантировать высокой производительности труда и становилась убыточной. Рабочих не хватало. Борьба людей за гражданские права, как это ни парадоксально, подрывала уверенность в завтрашнем дне. Вложения в производство сократились. По мнению историка и социального теоретика Роберта Бреннана (2006), причина «хронического» для капитализма перепроизводства, которое привело к этому кризису, – анархическое соревнование между компаниями. Компании стран Юго-Восточной Азии в силу

своей технологической продвинутой оставили позади компании Европы и США, «застрявшие» в большом числе старых активов. Неолиберальные новшества привели к приватизации, дерегуляции и переносу производства из старых промышленных центров в регионы с дешевой рабочей силой. Это не значит, что попытки переструктурировать первичное обращение с тех пор прекратились. Напротив, пример японской промышленности (прежде всего автомобильной) побудил американских и европейских промышленников к «флексбилизации»: вместо больших промышленных предприятий с иногда пожизненно нанятыми рабочими пришла «гибкая» рабочая сила, соединенная новыми формами электронной коммуникации, нанятая независимыми сетями подрядчиков и субподрядчиков.

Еще одна причина окончания послевоенного бума в начале 1970-х – резкое (в четыре раза) подорожание нефти. Те же самые тенденции, что погрузили российские города в спячку относительного брежневского благополучия, привели на Западе к отчаянным попыткам найти новые источники получения прибыли. Спекуляции на недвижимости стали главной находкой с конца 1970-х годов. Создание новых или реконструкция старых городских пространств в качестве мест потребления или развлечения – сегодня главный способ, каким капиталу удастся избежать кризиса и снижающихся прибылей. Опасность сверхнакопления в промышленном первичном обращении капитала на стадии индустриального капитализма была главной причиной переключения капиталистов в направлении кратковременных спекулятивных операций на земле и недвижимости.

Городское пространство стало главным способом «фиксации» капитала. Присущая капиталу тенденция ускорять время своего обращения и уничтожать пространственные препятствия своей циркуляции обуславливает создание относительно стабильных и неподвижных пространственных образований. Каждая фаза капиталистического развития укоренена в особой форме территориальной организации – «второй природе», состоящей из инфраструктуры (включающей транспорт, иные коммуникации, институты

управления и т. д.), через которую капитал может циркулировать. Этот момент территориализации (который Харви называет **пространственной фиксацией** – (*spatial fix*) возможен за счет долговременных инвестиций в землю и постройки, которые – в ходе каждого кризиса накопления – переоцениваются. Это – причина, по которой изменяющиеся формы урбанизации и территориальной организации государства при капитализме попадают в ловушку пространственно-временных противоречий капиталистических отношений. Динамика развития капитализма обуславливает в городах беспрестанное строительство нового, разрушение существующего и его перестройку. Пространственная «фиксация» есть попытка вернуть капиталу его прибыльность, что выражается в новой конфигурации капитала и городского пространства, которая возникает после каждого кризиса. Пространство – абсолютное условие всего производства и всего потребления, и оно должно все активнее расширяться, чтобы соответствовать логике капиталистического роста. Но пространство может стать и барьером на пути получения прибыли и капиталовложений. Наружный покров городского пространства периодически должен «сбрасываться» и вырастать заново. Пространственная фиксация связана с двумя другими вариантами обращения капитала – вторичным и третичным. Капитал инвестируется во вторичное или третичное обращение (или в комбинацию того и другого). Вторичное обращение – вложения в физический капитал, которые после некоторого времени начинают приносить прибыль. Вторичное обращение предполагает также вложения в новые формы потребления. Так, ТВ и телекоммуникационные компании, вложив серьезные деньги в покупку спутников и т. д., получают хорошую прибыль. Коммерческий туризм также представляет собой вариант таких инвестиций. Как это видно из диаграммы Харви, вложения во вторичное обращение делаются игроками рынка и правительствами – теми, кто способны обеспечить так называемый фиктивный капитал (облигации, ваучеры, ценные бумаги, государственные обязательства). Это нужно для того, чтобы вложения, сделанные в один тип товара, были достаточно «подвижными» для перенесения

в другой тип товаров. Харви отстаивает идею, что земля – форма фиктивного капитала, чистый финансовый актив, тесно связанный с циркуляцией приносящего проценты капитала. Соединяя ее с марксистской концепцией накопления, сверхнакопления и кризиса, Харви дает подробный анализ денег, финансов, капитала и кредита. В его основе – погоня за прибылью через вложение в городскую недвижимость.

После публикации книг Харви его идеи были развиты, в частности, в том направлении, что урбанисты проследили и подробно описали механизмы приватизации городского пространства. Места, прежде являвшиеся общественными, стремительно переходят в частное владение. В России эта тенденция проявляется, в частности, в том, что из-за резкого подорожания городской земли парки и скверы становятся лакомым куском для девелоперов. Так, в Екатеринбурге в 2005 году торговый центр (молл) «Парк-хаус» был возведен на территории любимого горожанами Основинского парка. О завершении строительства центра на его сайте говорилось так: «Активно благоустраивается прилегающая территория, завершается уборка и реконструкция рельефа Основинского парка, на аллеях которого сейчас заканчивается монтаж системы освещения. Готовится к открытию и сам “Парк-хаус”: в будущих торговых галереях в три смены идут отделочные работы, торговые помещения передаются арендаторам. В здании начат монтаж технологического оборудования. В августе жителей столицы Урала встретит современный молл европейского уровня, который предложит богатый ассортимент товаров от мировых брэндов, разнообразные услуги и развлечения, включая фуд-корт, восьмизальный кинотеатр, боулинг, детские аттракционы и игровые автоматы». Искусная риторика PR-сотрудников центра позиционирует присвоение территории парка владельцами центра как деятельность по улучшению городской среды, тем самым повторяя классический риторический прием тех, кому надо оправдать продолжающуюся во всем мире приватизацию городов. Он состоит в утверждении, что нам всем станет от этого лучше: города станут благоустроеннее, шоппинг – удобнее, парки – ухоженнее, жизнь

горожан – более «европейской». Еще одним примером этой тенденции является рекламная компания «Твой дом и твой парк», продвигающая в Екатеринбурге масштабный жилищный комплекс «Зеленая роща» с видом на небольшой одноименный парк, ценность которого в том, что он – в самом центре города. Территория парка по причине ее малости, скорее всего, этим строительством затронута не будет. Здесь в промоутерской компании интересен другой момент: общественное место продается как частный символический актив, который, обещают рекламщики, будет принадлежать только обитателям будущего комплекса. Будет ли ограничен доступ горожан в Зеленую рощу – пока неизвестно, но, скорее всего, обещание девелоперов будет выполнено, и еще один участок общей земли будет навсегда изъят из коллективного пользования.

По сравнению с другими вариантами инвестиций, повторим, недвижимость оказывается наиболее выгодным вложением. Колебания процентной ставки накладывают отпечаток на географическую структуру капиталистических городов. Это проявляется в том, что образуется тесная связь между спросом и предложением финансового капитала и спросом и предложением земли. Низкая процентная ставка и избыток финансового капитала связаны с увеличивающейся стоимостью земли. Стремление получить максимум прибыли от недвижимости не только отражается в стоимости земли, но и стимулирует те способы ее использования, которые сулят наивысшую коммерческую отдачу. То, что к земле относятся как к чисто финансовому активу, создает городской ландшафт, в центре которого Марксов цикл производства, обмена, распределения и потребления. Цены на землю определяют действия девелоперов (кстати, русский Google выдает около 2 млн ссылок на это слово).

Какой бы притчей во языцех не был абсурд московского рынка недвижимости, спекулятивный характер земли и недвижимости присущ всем капиталистическим городам. Проницательный инвестор находит лучший момент для вложения капитала в землю, создавая тем самым материальную основу для получения в будущем более высокой, дифференциальной ренты.

Городское пространство оказывается крайне зависимым от колебаний процентной ставки и тенденций развития глобальной экономики. Высокая процентная ставка означает высокую стоимость кредитов, низкий спрос на офисную недвижимость и в целом снижение прибыли от недвижимости. Сверхвложения в сектор недвижимости подвергаются «дисциплинированию» со стороны законов экономики. Реальный капитал «дисциплинирует» фиктивный капитал через перенасыщение товарами, резкий спад производства и обесценивание. В секторе недвижимости эти тенденции проявляются следующим образом: владельцы офисных зданий, квартир, жилищных комплексов терпеливо ждут, пока финансовая ситуация станет более благоприятной.

Подытожим. Харви выделяет следующие характеристики капиталистической урбанизации:

1. Государственное регулирование классового конфликта;
2. Создание городской среды как предназначенной для элиты;
3. Создание рынка земли и недвижимости, увязанного с глобальной финансовой ситуацией;
4. Городское пространство – главный источник прибыли и возможный барьер на пути ее получения.

### **Изменение экономической роли городов при «позднем» капитализме**

В наши дни два ключевых фактора изменили экономическую роль городов: **нарастание мобильности труда и капитала** и то, что города (по крайней мере, западные) в течение **последних тридцати лет перестали быть местом индустриальной экономики**. Деиндустриализация – сокращение доли промышленного производства в экономике развитых стран приводит к тому, что, во-первых, индустриальная экономика сменяется пост-индустриальной (основанной на ИТ и сервисе); во-вторых, промышленное производство переносится из развитых стран в развивающиеся; в-третьих, заводы-гиганты уступают место небольшим фабрикам, где трудятся высококвалифицированные

рабочие. В центре городской экономической активности сегодня находится **сервис**. Покупателей и горожан обслуживают в торговых и развлекательных центрах, сосредоточивая прибыль в банках и страхуя ее в страховых компаниях. Помимо сервиса, с которым, как правило, и связывают постиндустриальный характер современного города, можно выделить еще несколько видов экономической активности, местом которых традиционно являются города. Это торговля: город – центр коммерции, распределяющий товары и сервис. Город – это место производства. В центре производства сегодня могут лежать знания, инновации, мода, исторические традиции, необходимость снабжать горожан едой и мебелью. Город – это центр неформальной экономики: здесь представлен весь спектр полулегальных, нелегальных и преступных занятий, не вписавшихся в мэйн-стрим людей (Кастельс, 1996).

Отношение урбанистов к связи города и экономики неоднозначное. Критически настроены британские теоретики Аш Амин и Лорен Грэхем (1997). Они указывают, во-первых, на дороговизну городской земли и недвижимости, перенаселенность городов и перегруженность городской инфраструктуры, что проявляется в автомобильных пробках, недостатке доступного жилья, больших классах в школах. Все это представляет собой экономическое бремя, налагаемое городом как на бизнес, так и на обитателей города. Во-вторых, депрессивные районы, в которых сосредоточиваются маргиналы, являются местом беспорядков. Американские города нередко называют местом, через которое просачиваются экономические ресурсы: социальная политика субсидий «не вписавшимся» экономически не продуктивна.

Другие авторы, и среди них - американский географ Дэвид Харви (идеи которого мы уже рассмотрели), считают, что все еще возможно считать города центром экономической активности. Большая группа авторов доказывает, что сочетание (агломерация) разных видов экономической деятельности в городах дает им серьезные преимущества. Еще в 1920-е годы экономист **Альфред Маршал** отметил три ключевых фактора агломерации: концентрация



квалифицированного труда, способствующая передаче знаний, умений и информации; наличие развитой сети вспомогательных фирм, обеспечивающих приток товаров и сервисов, и географическая близость, способствующая контактам лицом-к-лицу, установлению доверия и обмена информацией. Если в городах стран Запада, повторим, перестали размещать промышленные предприятия и открывать новые заводы, то эти тенденции проявляются в странах Азии, где, например в Шанхае, продолжают создаваться агломерации промышленных предприятий. Что же сохраняет экономическое «лицо» западных городов? По мнению **Аша Амина** (2000), можно выделить три аргумента в пользу сохраняющейся экономической значимости городов. Во-первых, это то, что преимущества городских агломераций продолжают перевешивать их недостатки. Во-вторых, то, что города продолжают играть роль в обмене и передаче информации, что особенно значимо для современной экономики. В-третьих, города – узлы глобальной экономики (см. об этом отдельную главу).

Сдвиг, происшедший в последние три десятилетия, – выход ряда работ, способствовавших пониманию того, что отношения между экономикой и всем остальным в городах вряд ли есть смысл понимать в стиле вульгарного марксизма, по принципу «первичное – вторичное». Сегодня отношения между экономикой и культурой мыслятся как взаимно конституирующие, что получило отражение в таких понятиях, как **символическая экономика** или **культурная экономика** городов.

### **Шарон Зукин о символической экономике**

Город сегодня представляет место, в котором возникают новые варианты сочетания экономики и культуры. Для городов культура – бизнес, а культурная экономика – значимый сектор экономики в целом. Это связано с тем, что капитализм, сегодня возможно, находится на такой фазе развития, когда культурные формы оказываются встроенными в производительную

деятельность, а культура в целом подвергается различным вариантам коммерциализации и коммодификации. Производство и маркетинг товаров и услуг предполагают наделение их эстетическими и семиотическими чертами, а в целом они оказываются предметами **символической экономики**.

Понятие «**символическая экономика**» ввела американский урбанист **Шарон Зукин**. Вначале в книге «Обитая в лофтах» (1989) она рассмотрела коммодификацию городских мест, их функционирование в качестве мест потребления. Отметила, что такие города, как Нью-Йорк, начинают потреблять сами себя – в качестве города-мира, воплощающего все лучшее и интересное, что есть на земле. Предметом ее рассмотрения были богемные районы Нью-Йорка, их использование девелоперами в качестве магнита для состоятельных клиентов и последующее вытеснение первоначальных обитателей, которым стало не по карману жить в джентрифицированных Сохо и Челси. Само слово «лофт» возникло, когда фабричные постройки стали перестраивать под жилье, не без влияния основоположника поп-арта Энди Уорхола, чья «фабрика» находилась на Вест 47-й улице в Манхеттене. Тогда же сложилась тенденция не членить просторные помещения на комнаты, позволяя наслаждаться целостностью обитаемого пространства и его гибридной природой (мастерская/квартира), отсылающей к мифам о художниках-авангардистах. Зукин даже ведет речь о своеобразном «художественном способе производства», который, с ее точки зрения, возник в Нью-Йорке в 1970–1980-х годах. Он состоял в переоценке зданий и улиц с точки зрения культурного потребления и исторической реставрации, использовании художественных практик как способа справиться с безработицей молодежи и создании нового набора ценностей, который фиксировал примат эстетических ценностей в отношении людей к городской среде. Практически эта тенденция выражалась в стремлении девелоперов увеличить ценность недвижимости за счет прибавления к ней художественной ценности, понимаемой в данном случае как поощрение поселения художников в бывших промышленных зданиях, предоставляемые им льготы на аренду жилья в том или ином квартале, с тем

чтобы у квартала появилась хорошо продаваемая богемная аура. С тех пор подобные меры использовали коалиции городского правительства и частных девелоперов в английских городах Ньюкастле и Ливерпуле. В американском городе Джексон (штат Мичиган) городское правительство увеличило привлекательность перестраиваемого района (в центре которого была заброшенная государственная тюрьма), предложив художникам мастерские и квартиры в прилегающих к ней промышленных зданиях.

В книге «Культура городов» (1995) Зукин исследует символическую экономику Манхэттена, сосредоточиваясь на отдельных его местах как примере пересечения обращения капитала и обращения культуры, таких, как Брайант парк, расположенный недалеко от Публичной библиотеки на 6-й Авеню. В 1930–1980-х годах парк пользовался сомнительной репутацией как место торговли наркотиками. В 1981 году городские власти пригласили урбаниста Уильяма Холи Уайта и организацию «Проектирование публичных пространств» для разработки проекта его реконструкции. По проекту предполагалось превращение парка в более открытое место, строительство в нем кафе, киосков и т. д. Одновременно была создана Корпорация реставрации Брайант парка, которая провозгласила своей целью сохранение присущей парку атмосферы оазиса среди небоскребов и функциональную его переориентацию, с тем чтобы другие люди и по-другому могли его использовать. В парке стали организовывать кинофестивали, бесплатные концерты под открытым небом, показы мод. Он – популярное место отдыха работающих в Мидтауне деловых людей. Еще одним новшеством были усиленная охрана и многочисленный персонал, хорошее освещение, несколько табличек с правилами поведения. Это помогло справиться с преступностью и вандализмом: если только в 1979 году в парке произошло 150 ограблений, после реконструкции – только одно: слишком хорошо он теперь охраняется и слишком открыт и многолюден. Вложения в парк с лихвой оправдались: он не только стал популярным местом отдыха, но и увеличил привлекательность прилегающего района, парк стал важным компонентом в его маркетинге. Это –

пример того, как местный бизнес, по сути, создал популярное культурное место. Если вместо баскетбольных площадок вы построите теннисные корты, если отводите «нежелательных» людей повышенной видимостью охраны, если глухие заборы вокруг парка снесете, но поставите оградки вокруг детских и собачьих площадок, достойные люди сюда придут. Зукин называет эту стратегию «умиротворение с помощью каппуцино» (*pacification by cappuccino*). Он анализирует этот случай, понимая неизбежность появления все новых коалиций городского развития и все новых стратегий маркетинга городов. Присвоение конкретного парка капиталом – частный случай продолжающейся апроприации городов, когда музеи и галереи, концертные залы и филармонии работают на «символическую экономику» городов, продавая города как местным (прежде всего состоятельным) обитателям, так и туристам.

### **Культурная экономика городов**

Какие же условия города способствуют производству коммодифицированных (произведенных на капиталистических предприятиях для получения прибыли в условиях рыночной экономики) **культурных продуктов**? Такого рода продукты предназначены прежде всего для развлечения, но также для коммуникации, саморазвития, украшения, утверждения и повышения социального статуса. Они могут быть «чисто» культурными (книга или CD) или сочетать культурное и утилитарное измерение (мебель, одежда). **Скотт Лэш и Джон Урри (1994)** показали, что современный, так называемый поздний капитализм отличается тем, что значимость культурного измерения товаров и услуг нарастает (соотношение между утилитарным и символическим меняется в пользу второго), а те секторы экономики, которые производят такого рода продукты, выдвигаются на передний план.

Простой факт состоит в том, что фирмы, производящие такие культурные продукты с повышенным содержанием символического компонента,

сосредоточены в больших городах. Размещение фирм в больших городах имеет то преимущество, что здесь сосредоточены высококвалифицированные, способные к инновациям специалисты. Географ **Ален Скотт** (2000) называет большие города **креативными полями**, объединяющими культурную и экономическую жизнь. Неважно, в бизнесе или культуре осуществляются инновации, но ряд городов действительно демонстрирует беспрецедентную концентрацию творческой энергии. Париж 1880-х годов (пик импрессионизма) или Вена рубежа XIX – XX столетий – родина атональной музыки, Манхэттен 1950-х – рождение абстрактного экспрессионизма, Ланкашир, в котором произошла революция в текстильной промышленности, или известная всем Силиконовая долина – передовой край развития ИТ. Говорим ли мы сегодня о Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, Милане или Токио, сети инновации, сложившиеся в этих городах, воспроизводятся, способствуя поддержанию сложившейся специализации, будь это звукозаписывающая индустрия, кинематограф или мода. Что же именно делает города креативными полями?

Во-первых, в таких городах живут сообщества профессионалов, зарабатывающих на жизнь в рамках каких-то местных производств или ремесел. Различные ремесла или производства редко распределяются более или менее пропорционально по всему континенту, напротив, они имеют тенденцию концентрироваться. За городами закрепляется та или иная специализация в производстве культурных продуктов. Соответственно сети профессионалов, обитающих в том или ином городе, – копилки уникального *know how*, умений и навыков, т. е. особой встроенной в их тела чувствительности к тому, что надо производить, как и когда. Флорентийские кожевенники и бумажных дел мастера, венецианские стеклодувы, миланские дизайнеры, неаполитанские изобретатели и виртуозы пиццы – это примеры специализации только итальянских городов. Сообщества профессионалов привлекают неофитов, которые понимают, что только находясь в центре того или иного ремесла или производства, имея доступ к мастерству, передаваемому из рук в руки, они достигнут необходимого уровня. Для начинающих художников таким центром

будет Париж или Нью-Йорк, сценаристов – Лос-Анджелес, дизайнеров – Лондон, программистов – Силиконовая долина или Кембридж в Бостоне, где размещается MIT.

Во-вторых, стремительная циркуляция информации в социальных сетях больших городов, интенсивность и разнообразие контактов способствует тому, что одни репутации рушатся, а у других есть шанс быть выстроенными, что способствует постоянному пересмотру критериев и норм, в соответствии с которыми определяется то, что востребовано и хорошо продается. Нельзя также скидывать со счетов и традиции разделения труда между теми, кто входят в сложные сети по созданию и продаже культурных продуктов. Нет художника без галериста, нет модели без владельца агентства, нет архитектора без архитектурного бюро. Журналисты, критики, спонсоры, литературные агенты, кураторы, владельцы галерей, издатели – все они разными способами участвуют в создании и продвижении тех или иных артефактов.

В-третьих, в городах – и как результат сознательно проводимой политики, и стихийно – воспроизводятся сообщества профессионалов, создающих те или иные культурные продукты. Иногда местные власти предпринимают ряд мер (в частности, различные схемы частного и государственного партнерства), чтобы сделать свой город хай-тек центром или чтобы – через специализированные школы и центры переподготовки – обеспечить воспроизводство квалифицированной и узкоспециализированной рабочей силы.

### **Креативные индустрии и креативный город**

Связь города и творчества (или креативности, как предпочитают сегодня выражаться) давно привлекает внимание пишущих о городе людей. Урбанист **Питер Холл** в книге «Города в истории цивилизации» (1998) исследует взлеты креативности в городах мира, когда те находились на пике развития – от Афин Перикла до современного Лондона. Главный тезис Холла – в том, что креативность – условие городского образа жизни, потому что городская жизнь

невозможна без творческого решения городских же проблем. Но что делает возможным «золотой век» того или иного города? И почему взлет искусств и инноваций, которым отмечена история почти каждого из великих городов, столь недолговечен? Обращаясь ко Флоренции и Парижу, Вене и Сан-Франциско, Лос-Анджелесу и Токио, Холл вспоминает античные идеи «хорошей» или «счастливой» жизни, что возникли в условиях достаточной праздности мыслителей. Иными словами, жизнь на грани выживания и сосредоточенность лишь на неотложных практических проблемах не способствует возникновению искры творчества. Другое условие – готовность населения поддерживать творцов и вкладываться в творческие проекты. В Афинах на деньги публики были возведены здания, часть которых дожила до наших дней. В Риме и Лондоне поддержка общественности позволила усовершенствовать городскую инфраструктуру. В итоге не только, говоря словами поэта, «в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима», но и электросистемы и канализация стали своеобразными памятниками эффективного использования общественных денег. Третье условие – отсутствие авторитарных или тоталитарных политических режимов. Тогда появляется возможность восстания против существующего порядка, будь это консерватизм художников-академиков (так, по Холлу, появился импрессионизм), мужской шовинизм (суфражистское движение), непомерная эксплуатация рабочих (профсоюзы) и т. д. Четвертое условие – оригинальность решения проблем данного города. Пятое – эти города привлекали творческих людей самого разного толка: технологов, строителей, революционеров, мыслителей, а не только художников. Тем не менее одна группа городов стала центрами художественных и культурных инноваций – Афины «золотого века», ренессансная Флоренция, елизаветинский Лондон, Вена Габсбургов, Париж Бель Эпока, Берлин времен Веймарской республики. Все эти города объединяет: (1) стремительное накопление капитала; (2) концентрация амбиций людей; (3) культурное разнообразие; (4) новые модели кооперации представителей разных классов (аристократов и деловых людей); (5) развитая

инфраструктура, включающая изобилие мест для установления и поддержания контактов – салонов, кафе и т. д.; (6) статус столицы. Другая группа городов – Манчестер, Глазго XIX века, Детройт периода расцвета автомобилестроения, Силиконовая долина и Токио стали **инновационными центрами** в сфере бизнеса и технологий. Что позволило этим городам стать питательной средой для инноваций? Все эти города объединяет: (1) присутствие харизматичных личностей (например, Генри Форда); (2) отсутствие статуса столицы, а потому привлекательность для аутсайдеров и не столь выраженное иерархическое распределение возможностей; (3) общий дух творческого разрушения. Третья группа городов (Лос-Анджелес и Мемфис) успешно соединили искусство и технологию для создания влиятельных направлений массовой культуры. Голливуд возник как результат технологизации искусства кино. Мемфис, штат Теннесси, расцвел после того, как именно там была изобретена звукозапись, сложились блюзовая и рок-н-ролльная музыкальные традиции, кроме того, этот город – родина Б. Б. Кинга, Джонни Кэша, Элвиса Пресли и Джон Ли Хокера. Наконец, четвертая группа городов знаменита социальными инновациями, отразившимися в их физической структуре (Рим, Нью-Йорк, Париж, Лос-Анджелес) и в политике (Стокгольм и Лондон времен королевы Елизаветы). Учитывая, что естественным состоянием городов является, скорее, дезорганизация, те города, которые предложили удачные модели самоорганизации, останутся в истории с той же вероятностью, с какой и столицы искусств. В самом деле, проблемы доставки в город чистой воды или налаживания сотрудничества между совершенно различными людьми требуют, возможно, еще большей степени креативности, чем те занятия, которые мы привычно с этим качеством ассоциируем.

В дискурсе менеджеров, политиков, а также ряда урбанистов креативность обозначает способность людей создавать продукты, отмеченные культурными или художественными достоинствами. Термин **креативные индустрии** (*creative industries*) описывает разнообразные варианты соединения художественных практик и медиаиндустрии, нацеленные на получение



прибыли за счет создания и использования интеллектуальной собственности. К таковым относят рекламу, архитектуру, искусство, антиквариат, киноиндустрию, дизайн, программирование для образования и развлечения, музыку, театр, телевидение и радио. К креативным индустриям относят также здания и организации, обеспечивающие **коллективное культурное потребление**: музеи, галереи, библиотеки, концертные залы, театры, находящиеся либо в государственном, либо в частном владении.

Креативные индустрии составляют значительный (и в западных странах быстро расширяющийся) сегмент капиталистической системы. Свежая статистика на этот счет недоступна, но тенденция очевидна: это в больших городах наиболее высоко число занятых в креативных индустриях. В США свыше 50% занятых в них работников сосредоточено в городах с населением 1 млн и выше, а из них наибольшее число – всего в двух городах – Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (см. таблицу (Evans, 2001, 158)).

### Занятость в креативных индустриях Нью-Йорка

Сектор	Всего занято (тыс. чел)
Кинопроизводство	41
Актеры	15 (40 % от общего числа американских)
Музыканты	14 (из них 4 000 активно концертирующих)
Книгоиздание	12
Кинотеатры	3
Занятые в визуальных искусствах	7
Писатели	4
Танцоры	2
Занятые в графических искусствах	2
<i>Всего</i>	<i>100</i>

В Лондоне работает до 30 % всех английских «креативных» специалистов. Объясняется это тем, что для создателей культурных продуктов

типична высокая концентрация, часто поблизости от деловых районов города. Кинопроизводство Голливуда, медиаиндустрия Манхэттена, производство одежды в Париже, издательский бизнес Лондона – примеры подобной концентрации. Рынок распространения таких продуктов может быть чрезвычайно широк, но их производство требует от всех участников нахождения в одном городе или даже районе. Другой момент, отличающий культурную продукцию, то, что ее значительная часть должна быть и «потреблена» также на месте, поблизости от того места, где она сделана. Это театральные премьеры, вернисажи, концерты, обеды от знаменитых шефов. Неудивительно поэтому, что театры и рестораны, концертные залы и музеи концентрируются опять-таки в больших городах, население которых и составляет главных потребителей культурных продуктов.

Общая тенденция современных производства и маркетинга товаров (наделение их эстетическими и семиотическими чертами) здесь проявляется особенно ярко. Убеждение, что «креативные индустрии» способны создавать рабочие места и приумножать капитал, широко распространено практически повсеместно. В рассуждениях на этот счет, как правило, соединяются понятия экономики знаний, пост-индустриального общества, инноваций, автономии, креативного класса (автор последнего – американский экономист Р. Флорида). В политике больших и малых городов, а также стран в целом эти индустрии мыслятся как спасение от де-индустриализации, безработицы, недостатка финансирования. В 1980–1990-х годах эта тенденция, среди прочего, проявилась в том, что ряд европейских городов – Кельн и Глазго, Болонья и Валенсия, Гренобль и Реймс – организовали собственный маркетинг в качестве европейских культурных городов (см. об этом отдельную «врезку»).

Кроме этого, стимулирование креативности в английских городах проявляется в создании **культурных или творческих кварталов** (таких, как Квартал культурной индустрии в Шеффилде, Культурный квартал в Стоуке, Медиаквартал в Бирмингеме). Слово «квартал» эквивалентно понятию, которое экономисты называют «кластер» – группы близких по характеру продукции

предприятий, расположенных в одном месте. В культурных кварталах объединены бизнесы, связанные с кино, музыкой, наукой и т. д. Так, в Шеффилде в такой квартал входят кинотеатр Шоурум, детский центр, несколько больших кафе и баров, факультет медиа, общежитие и бизнес-центр Университета Халам, медиамузыкальная студия Ред Тэйп, ночные клубы Лидмилл и Спеэминт Райно, Студенческий клуб, Национальный центр популярной музыки, Театральный центр и т. д. Администрация Шеффилда приняло решение создать такой квартал в начале 1980-х годов с целью сделать медиаиндустрию и культурную индустрию частью экономического возрождения города. Музыкальная студия Ред Тэйп стала первой в Англии муниципальной студией. Многие медиакомпании и культурные организации города настолько в то время заинтересовались этим проектом (поскольку нуждались в подходящих для своей деятельности площадях), что правительство, объявив о создании Квартала, стало постепенно перестраивать находящиеся в его собственности старые здания. Так появились Центр аудиовизуального предпринимательства, другие помещения, стоимость от аренды которых правительство пускало на продолжение работы студии Ред Тэйп. Такая модель перекрестного субсидирования с тех пор используется в ряде городов для поддержки некоммерческой и культурной деятельности.

Эта тенденция интересна тем, что, сознавая ограниченность своих возможностей перед лицом непреложного факта (люди творческих профессий всегда концентрировались в больших городах, и сегодня это для них более важно, чем когда-либо), правительства малых городов все же не теряют надежды, и создают в своих городах пространства, привлекательные для «креативщиков», активно, кстати, используя возможности местных вузов. Каждый город претендует на то, чтобы быть «креативным». Объяснение этому – «дыры», оставленные в ткани почти любого города пустующими заводскими корпусами, преимущества, которые получают те города, которые смогли стать местами ИТ и других новых видов производства. Автор бестселлера «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» (2002, пер. на рус. яз.

2005) – американский экономист **Ричард Флорида** считает, что те города выигрывают в мировом соревновании, которые способны продуцировать новые деловые идеи и коммерческие продукты. Эта способность зависит от концентрации творческих людей – креативного класса. Съезжаясь в Сан-Франциско, Остин, Сан-Диего, Бостон, Сиэтл (первые пять в списке креативных городов Америки, составленном Флоридой), именно эти люди превращают города в привлекательные для многих. Флорида считает, что креативный класс концентрируется не там, где есть высокооплачиваемая работа, но в центрах креативности. Если учесть, что понимание им креативного класса весьма расплывчато (до 30 % его составляют рабочие, большинство – «креативные профессионалы», т. е. те, кто заняты в менеджменте, бизнесе, финансах, праве, медицине, и есть еще «суперкреативное ядро», образованное теми, кто занимаются компьютерами, математикой, архитектурой, инженерным делом, социальными науками, образованием, искусством, дизайном, спортом, медиа и индустрией развлечений), не совсем понятно, в борьбу за привлечение каких именно «талантов» (по Флориде, синоним творческих людей) города должны включаться. Флорида участвует в экономической реабилитации городских центров, побуждая раздумывающих о новом месте жительства людей выбрать в пользу города, не пригорода. Но информационный шум, который он создает вокруг этой проблемы, заявляя, что выбор человеком места жительства – одно из важнейших решений в жизни (этому посвящена его книга «Кто твой город» (2008) вуалирует то обстоятельство, что большинством людей этот выбор совершается из достаточно узкого круга возможностей и что он экономически, политически и т. д. ограничен.

### **Потребление в городах**

Сдвиг к массовому потреблению массово произведенных товаров произошел в большинстве западных городов в начале XX столетия. Его начало связывают со строительством автомобильных заводов Генри Форда. Введение промышленником новой рациональной конвейерной организации труда

(получившей название фордизма) позволило делать и продавать большое число доступных автомобилей. За первые двадцать лет существования заводов Форда, (1908 – 1928) было продано свыше 15 млн машин. Это – начало массового потребительского рынка. В его основе – три главных условия: (1) достаточно высокая зарплата (позволяющая покупать товары потребительского рынка); (2) система потребительских кредитов, позволяющая выплачивать стоимость покупки (и проценты) в течение долгого времени; (3) идеология, которая потребление ставит в центр жизни человека.

В каких городских местах осуществляется потребление? Это улица. Это магазин. Это торговый центр. И наконец, это дом. Что же можно считать теми местами?

Шоппинг неразрывно связан с городским пространством (и с пригородами, где расположено немалое число торговых центров). Сегодня в России количество современных торговых центров составляет около 60–100 кв. м на тысячу жителей (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). При этом среднерыночный показатель насыщенности торговыми центрами составляет около 400 кв. м на 1 тыс. человек. Количество торговых центров будет расти еще в 4–6 раз в зависимости от региона. 50 тыс. – таково количество торговых центров в мире. Из них 40 тыс. действует в США, 1,5 тыс. – в Западной Европе и около 300 – в России (150 – в Москве). По объемам строящейся торговой недвижимости Москва сегодня занимает первое место в мире, обгоняя Дубай, Пекин и Шанхай. Россия возглавила рейтинг по объему ввода новых торговых центров в Европе, вводимых в эксплуатацию во второй половине 2007 – первой половине 2008 года. Польша, стоящая во второй строке, отстает от России в 3 раза, остальные европейские страны – еще больше. Эксперты считают, что после крупных городов строительный бум по торговым площадям перейдет из крупных российских городов в менее населенные.

Время, проводимое американцами в торговых центрах, уступает только времени, которое они проводят дома и на работе (в школе). Некоторые центры стали туристскими достопримечательностями, как, например, The Mall of

America в Миннесоте. Те центры, которые расположены в центрах городов, часто соединены с отелями или квартирными комплексами. Торговые пространства (которые в России чаще называют «площадями») наводняют не только отели, но и вокзалы, аэропорты, офисные здания, больницы, что лишний раз подтверждает превращение шоппинга в преобладающую сегодня практику.

Дизайн торговых центров подчинен интересам инвесторов, девелоперов, арендаторов, которые в свою очередь состоят в получении прибыли от продажи товаров. Центры строятся так, чтобы покупатели хотели в них возвращаться снова и снова. В отличие от других форм недвижимости, для которых характерно быстрое насыщение рынка и зависимость от общей экономической ситуации в городе и регионе, строительство торгового центра – это надежное вложение капитала. В строительстве таких центров в пригородах обычно заинтересованы крупные игроки торгового рынка (цепи магазинов вроде Macy's в Штатах). А в городах от строительства центров выигрывают городские правительства.

Если в США и многих странах Европы строительство торговых центров в 1970–1990-е годы замедлилось, то российские города, особенно самые крупные, находятся на пике такого строительства. Среди причин, замедляющих строительство торговых центров, исследователи называют следующие: недостаток доступных площадей за городом и в центре, высокая стоимость возведения и использования, сокращение правительственных инвестиций в инфраструктуру, сопротивление местных сообществ, изменяющаяся демография покупателей и сегментация торговой индустрии. Девелоперы выходят из этой ситуации, реконструируя и расширяя старые торговые центры, интенсифицируя менеджмент или пытаясь выработать новые концепции торговых центров, такие как тематический шоппинг или «горячий молл». Получение выгоды все сильнее зависит от продвижения имиджа торговых центров. Как правило, центры создаются крупными корпорациями или коалициями, объединяющими крупные магазины (*department stores*), строителей и девелоперов. Эти корпорации, как правило, включают

государственные агентства и команды маркетологов, геодемографов, бухгалтеров, юристов, инженеров, архитекторов, специалистов по ландшафту, дизайнеров, специалистов по автомобильному движению. Сочетание разнообразных подходов и интересов в конечном счете возможно за счет главного: необходимости максимизировать прибыль от данного торгового центра.

Американский географ Джон Госс специализируется на анализе семиотики торговых центров. Он проницательно пишет (1993, 40) что

Торговый центр кажется всем тем, чем он на самом деле не является. Он стремится быть общественным местом даже если он в действительности – частное владение, нацеленное на получение прибыли; местом для общения и отдыха, хотя он стремится извлекать доллары; он заимствует знаки других мест и времен, чтобы затушевать свою укорененность в современном капитализме. Торговый центр продает своим покупателям парадоксальный опыт: они могут пережить опасность в безопасности, столкнуться с «другим» как с хорошо знакомым, быть туристами не уезжая в отпуск, пойти на пляж посередине зимы, и быть снаружи, оставаясь внутри. Это буквально фантастическое место... концептуализованное пространство, научно спланированное и реализованное через строгий технический контроль, притворяясь пространством, творчески созданным его обитателями. Торговый центр задуман элитарной наукой планирования, которая включает вычисление прибыли от торговли и применяет бихевиористские теории действия в целях социального контроля. Но, однако, часть его замысла – его маскировка в качестве популярного пространства, созданного спонтанными индивидуальными повседневными тактиками.

Госс пишет это, не просто абстрактно развивая идеи мыслителей франкфуртской школы, которые очень критически относились к обществу потребления. Он пишет это в результате включенного наблюдения, осуществленного в крупнейших торговых центрах Соединенных Штатов, в частности, уже упомянутого The Mall of America, открытого в 1992 году. Концентрируясь на вывесках, организации пространства, регуляции поведения посетителей, он использует семиотический анализ: показывает, как культурные

значения конструируются посредством языка, образов, жестов, объектов. Можно спорить, насколько убедительно его понимание киоска хот-догов как фаллического символа или огромного обувного отдела универмага Нордстром с манящим запахом кожи, удачным освещением как игровой площадки для фетишистов. Однако исследователь прав, когда говорит, что блуждание по 520 магазинам центра, 22 тематическим ресторанам, не считая бесчисленных кафе фаст-фуда, совсем не обязательно должно пониматься как сдача без боя силам рынка. Он справедливо пишет, что задача критически настроенного социального исследователя – не в том, чтобы грубо напомнить покупателю о реальности за пределами этого пространства, но в том, чтобы вместе с коллегами разобраться в том «потенциале мечты», которое содержит пространство центра и даже попытаться открыть в нем следы идей осмысленной жизни. Это очень продуктивная позиция. Прогулка по любому такому центру открывает разнообразие повседневных практик, которые осуществляются в нем людьми – от поиска велосипедного рюкзака именно этой прославленной марки (действительно очень удобного) до семейного отдыха, от *window shopping*’а до охоты за товарами, выложенными на распродажу.

## Литература

Бауман З. Индивидуализированное общество. Гл.1. Возвышение и упадок труда. М., 2005. С. 21-38.

Бродель Ф. (2002) Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: в 3 ч. М., «Языки славянской культуры».

Бродель Ф. (2007) Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. В 3-х тт. М., «Весь мир».

Долгин А.Б. (2006) Экономика символического обмена. М.: «ИНФРА-М».

Маркс К. (1983) Капитал. Т.1. Кн.1. М., Политиздат.



- Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии.//Маркс К. и Энгельс Ф. Собр.соч. т. 2.
- Флорида, Р.(2005) Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М, “Классика XXI”.
- Amin, A. (2000) “The Economic Base of Contemporary Cities”, in Bridge, G. and Watson, S.(eds) A Companion to the City. London, Blackwell.
- Amin, A. and Graham, S. (1997), "The ordinary city", Transactions of the Institute of British Geographers, no.22, pp.411-29.
- Arnold, D. (2000) Re-Presenting the Metropolis: Architecture, Urban Experience and Social Life in London 1800-1840. Aldershot: Ashgate.
- Brennan, R. (2006) The Economics of Global Turbulence. London, Verso.
- Castels, M.(1977) The Urban Question. A Marxist Approach. London, Edward Arnold.
- Castels, M. (1978) City, Class and Power. London; New York, MacMillan; St. Martins Press.
- Castels, M (1980) The Economic Crisis and American Society. Princeton, NJ, Princeton UP.
- Florida, R. (2008) Who's Your City: How the Creative Economy is Making Where to Live The Most Important Decision of Your Life. NY, Basic Books.
- Goss, J. (1999). “Once-upon-a-time in the Commodity World: An Unofficial Guide to Mall of America”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 89, no.1, pp. 45-75.
- Goss, J. (1993) “The Magic of the Mall: Form and Function in the Retail Built Environment”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 83, no.1, pp.18-47.
- Hall, P. (1998) Cities in Civilization. New York: Pantheon Books.
- Harvey D (1973) Social Justice and City. Baltimore: The Johns Hopkins Press
- Harvey D (1982) The Limits to Capital. Oxford: Blackwell
- Harvey D (1985) Consciousness and the Urban Experience. Baltimore: Johns Hopkins

University Press

Jayne, M. (ed.) (2006) *Cities and Consumption*. London: Routledge.

Lash S., Urri J. (1994). *Economies of Signs and Space*. London, Sage.

Marcus, Steven (1973) "Reading the Illegible", in H.J. Dyos and M. Wolff (eds.) *The Victorian City: Images and Realities*, London: Routledge.

Peffer, R. G. (1990) *Marxism, Morality, and Social Justice*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Scott, A. (1999) "The Cultural Economy: Geography and the Creative Field", *Media, Culture, and Society* , no.21, pp. 807-17

Scott, A. (1999) "The US Recorded Music Industry: on the Relations Between Organization, Location, and Creativity in the Cultural Economy", *Environment and Planning A* 31, pp.

1965-84

Scott, A. (2000) *The Cultural Economy of Cities: Essays on the Geography of Image-Producing Industries*. London, Sage.

Zukin, Sharon (1989). *Loft Living*. Rutgers University Press.

Zukin, Sharon (1995) *The Cultures of Cities*. Blackwell, Oxford.

Источник: G. Evans, *Cultural Planning, an Urban Renaissance?* London, Routledge, 2001, p.158.

## **ТЕМА 6. ГОРОД И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ**

Верно ли представлять себе мировую экономику как сумму «контейнеров» – государств, содержащих контейнеры поменьше – города? Теоретики глобальных городов пытаются доказать, что эта популярная картина уступает место другой, на первом плане которой – Нью-Йорк, Лондон и Токио и базирующиеся в них транснациональные корпорации, соединенные друг с другом разнообразными связями, в которые также вовлечены и не столь значительные города.

Изучение влияния глобализации на города в настоящее время представляет бурно развивающуюся исследовательскую индустрию. Урбанистика в ней соединяется с международной политической экономией и анализом мировых систем. С одной стороны, урбанисты анализируют мировые экономические сети, в которые включены (или нет) города. С другой стороны, специалисты по международной экономике рассматривают ее организацию в виде городов – командных пунктов экономики и связей между ними. Схемы описания мировой экономики, в центре которых лежат отдельные государства и национальные экономики, в свете этих исследований обнаруживают свою недостаточность. Огромное количество появившихся в последние два десятилетия исследований глобальных городов (или городов, претендующих на этот статус), показывают, как связаны городская экономика и возникающая мировая иерархия городов. Главные тенденции современного городского развития – деиндустриализация, расширение сфер сервиса и финансов, сегментация рынка труда, социальная поляризация, этнические конфликты, пространственная сегрегация – объясняются на основе обращения к динамике мировых экономических сил. Создаются такие варианты географии капитализма, которые отходят от «государство-центричных» схем.

Города, несмотря на разнообразие функций, которые они в принципе способны выполнять, – от религиозных до военных – со становлением промышленного общества оказались подчиненными одной – способствовать централизации капитала. Их размер и масштаб, как показал в своих исследованиях американский географ **Нил Смит** [1990, 136–137], задавался одним критерием – географическими пределами ежедневного перемещения рабочих из дома на работу и обратно. Социальное разделение труда между производством и воспроизводством одновременно стало и пространственным разделением. Города представляли собой, иными словами, территориальную организацию социального воспроизводства труда. И, как это ни парадоксально, промышленные города воплощали прежде всего место для воспроизводства рабочего класса.

В 30–60-е годы XX века, когда преобладающей экономической политикой западных стран было кейнсианство, задачи социального воспроизводства рабочей силы выполняло главным образом государство. От жилья до транспорта, от социальных льгот до мест отдыха – государство в городах создавало условия воспроизводства рабочих. То, что в урбанистической литературе 1970-х годов получило название кризиса городов отразило ту точку в развитии западных городов, когда нужды капиталистического накопления, превращения городов, скорее, в центры извлечения прибыли и потребления, чем в места воспроизводства, стали брать верх. Кризис городов мыслился именно как кризис социального воспроизводства.

Города стали основой капиталистического развития в результате соединения двух тенденций: возникновения нового международного разделения труда, во главе которого встали транснациональные корпорации, и кризиса фордистско-кейнсианской технологической системы. Старое разделение труда основывалось на добыче сырья на периферии и его промышленной обработке в промышленных центрах. Новое разделение труда переместило промышленную обработку сырья на периферию: нужна была более дешевая, чем в крупных западных городах, рабочая сила. Фордистский капитализм основывался на массовом производстве, кейнсианской модели управления и распределительной социальной политике. Его кризис в 1970-е годы сопровождался расцветом пространств «новой промышленности». Силиконовая долина, Баден-Вюртенбург, Третья Италия – регионы, в которых было организовано «гибкое» производство, включенное не столько в национальные иерархии, сколько в транснациональные сети. Новая организация ремесленного производства, ИТ-производство и финансы – главные виды постфордистского производства.

В глобальных городах место промышленных предприятий заняли обслуживание бизнеса и собственно индустрия сервиса, а также разнообразные административно-организационные службы. Если транснациональные

корпорации охватывают весь мир, то управляются они из трех-четырех городов – командных пунктов. Развитие новых информационных технологий способствовало этому процессу нарастания концентрации управления.

В бурных исследованиях связи городов и глобализации сказывается необходимость создания теорий, адекватно описывающих капитализм в целом, его развитие, варианты и последствия. Так, экологические проблемы и нарастание неравномерности развития регионов мира требуют более эффективного управления со стороны глобальных институтов. С другой стороны, оппозиция усреднению развития стран, которую несет с собой глобализация, сохраняя при этом глобальное неравенство, выражается во внимании к различиям между городами, странами, регионами и местностями. Накопление капитала транснациональными корпорациями порождает негативную реакцию на местах. Она выражается в разных вариантах «фетишизации» (Д. Харви) мест и пространств, коммерческой в одних случаях (брендинг мест) и сепаратистской в других. Середина 1990-х 2000-е годы отмечены распространением антиглобализационных настроений и движений. Некоторые города (Сиэтл) стали их эмблемой. В этой теме вначале мы рассмотрим понятия мирового и глобального города и дискуссии вокруг них, затем посмотрим, в каких тенденциях развития городов сегодня глобализация проявляется наиболее заметно.

### **Мировые города и глобальные города**

О глобальных городах и мировых городах исследователи рассуждали с начала XX века (не прибегая к самим терминам). Они обсуждали торговые и международные рыночные связи, связывая изменения в городах с международными и национальными политическими условиями. **Патрик Геддес** – шотландский урбанист, спланировавший Тель-Авив, в книге, посвященной основам городского планирования «Города в развитии» [1915], уже говорит о мировых городах. **Фернан Бродель** и другие историки Европы

подчеркивали, что город всегда был центром притяжения мировой экономики. Бродель называет города «логистическими центрами» и прослеживает эволюцию экономики от основанной на городах к основанной на территориях, т. е. улавливает все более тесную включенность городов в национальные экономические системы и их подчиненность политической власти соответствующих государств.

Британский урбанист **Питер Холл** написал книгу «Мировые города» [1966], выделив такие их роли: центры национальной и международной политической власти, правительственные центры, центры национальной и международной торговли, а также банковского и страхового дела, центры концентрации самых квалифицированных профессионалов, центры сбора и трансляции информации посредством издательского дела и массмедиа, центры потребления напоказ; центры искусства и культуры. Холл [1984, 1] определил идею мирового города как такого, в котором «осуществляется непропорционально большая доля самого важного мирового бизнеса». Итак, на ранней стадии работы теоретиков с понятием мирового города подчеркивалась включенность городов в экономику той или иной страны. Так, по Холлу, космополитичность мировых городов – выражение геополитического положения соответствующих государств

В 1980-х годах экономист **Джон Фридман** с коллегами сформулировал иную гипотетическую теоретическую рамку для изучения глобальных городов. Крупный сдвиг в пространственной организации капитализма состоит в том, что **города стали главными моторами мировой системы**, ее организующими узлами, выражениями (артикуляциями) глобальных, национальных и региональных товарных потоков. Другой сдвиг в географии мирового капитализма заключается в том, что с 1970-х годов города и сети городов заменяют государства в качестве основной территориальной инфраструктуры капиталистического развития. Фридман, во-первых, подчеркнул значимость появления в городах развитой индустрии сервиса, состоящей, «с одной стороны, из высокого числа занимающихся контролем профессионалов, а с

другой, из огромной армии малоквалифицированных рабочих, занятых в персональном обслуживании... привилегированных классов, ради которых мировой город и существует» (1995, 322). Откуда берется армия малоквалифицированных рабочих? Ее доставляет иммиграция. Удастся ли глобальному городу справиться с «социальной ценой» своего роста, состоящей в классовой поляризации и пространственной сегрегации? Отнюдь. Во-вторых, Фридман первым сформулировал идею **глобальной иерархии городов**, в которой Нью-Йорк, Лондон и Токио представляют мировые финансовые центры, Майами, Лос-Анджелес, Франкфурт, Амстердам и Сингапур – мультинациональные центры, а Париж, Цюрих, Мадрид, Мехико Сити, Сао-Пауло, Сеул и Сидней – важные национальные центры. Все они входят в единую сеть городов. **Мануэль Кастельс** считает формирование сети городов столь же значимым социальным сдвигом, сколь переход от традиционной к промышленной экономике. Фридман исследует ряд городов Азии и Австралии и предлагает новую исследовательскую стратегию – анализировать **пространственную организацию нового международного разделения труда** [1986, 69]. Главная ее черта в том, что города или городские регионы, а не государства составляют самые важные географические единицы. Городские регионы можно расположить иерархически в глобальном масштабе в зависимости от того, каким образом они интегрированы в мировую экономику. Идеи Фридмана были развиты британским географом **Энтони Кингом**, написавшим книгу «Глобальные города: Пост-империализм и интернационализация Лондона» [1990].

Если Фридман и Кинг строили свои исследования на эмпирическом анализе городов стран третьего мира, то американский экономист и социолог **Саския Сассен** сосредоточивается на городах стран развитого капитализма. Неизменная и повсеместная притягательность Нью-Йорка, Лондона и Токио как мест, в которых происходит все самое главное, усилила популярность ее исследований. В книге «Города в мировой экономике» [2000, 21] она дает такое определение глобальных городов:

Стратегические места, из которых ведется управление городской экономикой и в которых сложились самые продвинутые варианты сервиса и финансовых операций... телекоммуникаций, необходимые для осуществления и управления глобальными экономическими операциями... и в которых концентрируются штаб-квартиры компаний, в особенности глобальных компаний.

С помощью концепции глобального города Сассен оспаривает один из популярных нарративов глобализации, согласно которому – в силу «сжатия пространства и времени» (Д. Харви) – отдельные место и город больше не имеют значения. Карл Маркс одним из первых стал рассказывать историю современности так, что динамизм развития в ней был на первом плане, а пространство – неважным. Во-первых, развитие транспорта и коммуникаций делает все расстояния относительными, во-вторых, города, как и все остальное при капитализме, включены в универсальные экономические законы, а потому одинаковы. В 1980-е годы популярным стал образ **глобальной деревни**, в которую обитатели земного шара превращены силой массмедиа. По аналогии с «концом истории», о котором толковал Ф. Фукуяма, французский философ **Поль Вирильо** считает возможным говорить о «конце географии»: расстояния значат сегодня гораздо меньше, чем в прошлом, а идею геофизической границы становится все сложнее отстаивать. Так, становится очевидным, что деление мира на континенты, каждый из которых понимался как замкнутый и недоступный анклав, было функцией расстояний между ними: транспорт был примитивен, а стоимость путешествий огромна. Расстояние, при том, что оно, бесспорно, обладает физическими параметрами, есть социальный конструкт. Его величина зависит от скорости, с которой оно может быть преодолено и (в капиталистических культурах) от стоимости его преодоления. Другие пространственные моменты складывания и упрочения коллективных идентичностей – границы между странами или культурные барьеры – являются, по мнению **З. Баумана**, лишь следствиями того, что современным культурам



присущи постоянное совершенствование транспортных средств и увеличение мобильности.

Многие авторы считают, что сокращение расстояний изменяет наше понимание общественной жизни. Автор термина **сжатие пространства-времени**, Дэвид Харви уверен в дезориентирующем воздействии описываемой им тенденции как на политико-экономическую жизнь, так и на культуру. Противоположная линия мысли представлена британским (Дейдри Боден) и американским (Харви Молочем) социологами [1994, 258], которые настаивают, что вопреки всем глобальным влияниям, люди испытывают особое притяжение пространственной близости. Не получается ли тогда, что влияние сжатия пространства-времени на повседневную жизнь сильно преувеличено? Традиционная коммуникация, ее структуры и ценности (важность разговора лицом-к-лицу) сохраняют свою силу. Другое дело, что роскошь доверительного разговора могут позволить себе не все: при всем шуме вокруг ИТ-технологий самые рутинные операции, которые вовлечены в их функционирование, достаются низкоквалифицированным рабочим. Пространственно-временной порядок современного города таков, что у разных акторов и социальных групп – разная способность включаться в коммуникационные сети и расширять за счет них свое собственное пространство и время. Британский географ и социальный теоретик Найджел Трифт [1995, 31] предлагает сравнить доступность глобального пространства-времени европейским трейдерам с их широкополосным доступом в Интернет, постоянными перелетами с континента на континент и доступностью качественного сервиса в любом глобальном городе (который на них и ориентирован) с «сетевыми гетто», которые есть в любом городе и куда вообще почти никакие коммуникации не доходят, так что «сжатие пространства-времени» означает для живущих там людей необходимость попросту убивать время и обреченность лишь на то пространство, что у тебя есть.

С точки зрения С. Сассен, для составляющих глобализацию потоков людей и капитала место как раз имеет центральный характер. Если значение

национальной экономики сильно изменяется (как правило, в сторону уменьшения), то особые, укорененные в отдельных местах, сочетания политических и экономических возможностей, напротив, становятся все более важными. Глобальные города возникли в 1970-е годы, когда сильно расширилась мировая финансовая система, а капитал стал перемещаться между рынками. В городах это отразилось в создании зданий, в которых размещались «командные пункты», в организации необходимых финансовым компаниям видам сервиса, в усилении социальной поляризации, в зависимости от труда иммигрантов. Второй виток усиления «глобальности» городов приходится на начало 1990-х годов и последующего повсеместного нарастания популярности неолиберализма, отзвуки чего проявились и в развитых и в развивающихся странах. Протекционистская экономическая политика утратила популярность, а мировая торговля интенсифицировалась и ускорила.

Стремительный рост глобальных городов обусловлен требованиями транснационального капитала, циркулирующего в банковском деле, аудите, рекламе, финансовом менеджменте и консалтинге, а также деловом праве. Глобальный контроль капитала возможен только на основе особых мест – городов с их ориентированной на сервис экономикой, технологически-институциональными системами, организацией производства и т. д. Глобальные города представляют собой одновременно (1) базы для глобальных операций ТНК, (2) места производства и рынки, (3) лидеров иерархии городов, занимающих в ней места в силу своих различающихся ролей в мировой экономике.

По мере того как регионы, в которых располагаются глобальные города, превосходят территориальную экономику государства, умножаются новые формы **неравномерности развития** – в глобальном, национальном и региональных масштабах. Исключительной роли глобальных городов соответствует **исключенность ряда городов** из волнующих глобальных экономических игр. Это и те города и регионы, которым не удалось успешно

справиться с последствиями деурбанизации, и так называемая глобальная периферия, в которой проживает большинство населения мира.

Ж. Сассен выделяет семь главных характеристик глобальных городов:

1. Рассредоточение деятельности компаний в различных странах. Увеличиваются масштаб и сложность координации их деятельности.
2. Многие компании решают привлечь третьих лиц для выполнения этой работы (*outsourcing*), т. е. поручить менеджмент своей деятельности специализирующимся на менеджменте, консалтинге, правовым аспектам финансовой деятельности фирмам. Те же стратегии используются для таких, обычно выполняемых силами работников самой компании задач, как расчеты зарплаты и коммуникаций.
3. Глобальные компании зависят от «агломеративных экономик» (понимаемых не в привычном для нас смысле экономического соединения центрального города и близлежащих к нему), т. е. присущей тому или иному глобальному городу особой концентрации высококвалифицированного персонала и специализированного сервиса, собранной в «информационном центре». Прибегнуть к услугам такого центра – значит, решить задачу быстрее и эффективнее, чем с опорой лишь на собственный персонал компании.
4. Глобальные компании могут перемещать свои штаб-квартиры, так как у них уже нет больше нужды быть близко к тем, кто их обслуживает, и к поставщикам.
5. Рост специализированного сервиса (когда одна специализированная компания нанята для обслуживания другой специализированной компании) ведет к созданию транснациональных городских систем, так что экономическая ситуация отдельных городов уже не зависит от тех регионов, где они расположены, или даже от национальных экономик.
6. Решения о расположении глобальных компаний принимаются с учетом доступности источников малоквалифицированного труда. Столичные

города с постоянным притоком в них иммигрантов – вне конкуренции. Нужды ТНК в мойщиках стекол и курьерах проще удовлетворять с помощью труда иммигрантов, чем местного населения.

7. Космополитизм глобальных городов – функция разрыва в доходах их обитателей.

## **Критика теорий глобальных городов**

Одна линия критики сложилась в стане специалистов по **пост-колониальным** городам. Ее представители, в частности **Энтони Кинг**, оспаривают доминирование экономической логики в описании мировых городов. Кинг считает, что все они описываются на основе понятий и нарративов одной дисциплины – урбанистической политической экономии. В итоге разнообразие политических, географических, культурных, религиозных и т. д. обстоятельств в каждом из таких городов оказывается редуцированным к трем феноменам: городские социальные движения, потребление и случаи государственного вмешательства в городскую политику. Кинг считает сами понятия глобального города и мирового города ограниченным плодом мысли американских урбанистов. Гегемония западных форм знания и преобладание англоязычных публикаций обусловили, во-первых, приоритет экономических критериев описания таких городов, и во-вторых, интерес исследователей лишь к тридцати-сорока городам, расположенным либо в Штатах либо в Европе. Сам по себе этот интерес тоже достаточно узок: что, на самом деле, дает для нашего знания ответ на вопрос применительно к данному городу: «Мировой это город или нет?» Не уподобляются ли исследователи городским чиновникам, которым слава нескольких городов – безусловных лидеров – не дает покоя? Кинг считает, что рассмотрение таких социально сконструированных понятий, как **накопление капитала** и **экономика** без учета исторических и культурных обстоятельств оставляет многие вопросы без ответа. Было бы иллюзией полагать, что понятие мирового города универсально приложимо и что оно

может помочь понять особые смыслы и специфические истории, сложившиеся во многих городах. В частности, компаративные культурные урбанистические исследования должны больше внимания уделять религиозным движениям. Известны города, пространство и политика которых сложились под влиянием продвижения или защиты какой-то религии. Это Белфаст, Иерусалим, Бейрут, Тегеран, Варанаси, Рим, Стамбул. Кинг считает симптоматичным, что мировые города – феномен христианского мира, и возникли они по преимуществу в протестантских странах.

Другая линия критики развита английским урбанистом **Полом Тэйлором**, который, не оспаривая значимости парадигмы в целом, считает, что главный изъян исследований мировых городов – слабая эмпирическая база. Дело не в плохой методологической подготовке исследователей, но в природе доступной им статистики. Сбор статистических сведений организован государственными ведомствами, которые нацелены на удовлетворение информационных потребностей государств. В результате мир измеряется «государствоцентричными» способами не только государствами, но и всемирными организациями, например ООН. Другая особенность статистики – исследование атрибутов, качеств тех или иных феноменов в ущерб **связям** между ними. Например, нужно сравнить характер зарубежных инвестиций в тот или иной город. Если вы составите таблицу, в которой города будут ранжированы **по объему** инвестиций, вы ограничитесь сравнением атрибутов. Но если вы укажете, **откуда** приходят эти инвестиции, ваша таблица отразит реальные связи между городами, т. е. станет реляционной. Даже если потоки людей, товаров и информации, т. е. связи городов, измеряются статистикой, эти данные оказываются погребены под обилием сведений об атрибутах. Исследования мировых городов должны демонстрировать интенсивность связей между городами. Доступная статистика не позволяет эти связи продемонстрировать: преобладают сведения о странах, а не о городах.

Как с этой сложностью справляются авторы ключевых текстов по мировым городам? Тэйлор сравнивает работу со статистикой, таблицы и

иллюстрации в текстах Мануэля Кастельса, Саскии Сассен, специалистов по электронным коммуникациям в городах Стивена Грэхэма и Саймона Марвина и др. Он просматривает эмпирическую базу их работ с точки зрения того, насколько она отражает **связи** между городами, т. е. указывает, откуда и куда поступает информация, товары, деньги, люди и т. д. Хотя работы «отца-основателя» всего этого поля исследований Джона Фридмана носили гипотетический характер, последующие тексты носят эмпирический характер, но какой именно? Тэйлор замечает, что сведения о государствах и о городах занимают в этих книгах почти одинаковое место, и что среди сведений о городах встречается просто статистика населения (что это говорит о характере мировых городов?). Он справедливо говорит, что когда мы читаем социологическую литературу, посвященную национальной экономике и политике или государственной истории, мы ведь не ожидаем, что сообщаемые в них сведения могут быть беспрепятственно распространены на города. Почему же тогда в литературе о мировых городах содержится такое обилие данных о государствах?

Далее, тезис о том, что эти особые, мировые города своей деятельностью превосходят государственные границы, должен быть подтвержден демонстрацией **связей** между ними. Тэйлор обнаруживает, что во всем этом массиве литературы о сетях городов и городских иерархиях только 6 % приводимых данных прямо иллюстрирует их наличие! Это лишь информация о полетах, выполняемых из города в город, о телекоммуникациях, доставке грузов. Тэйлор призывает урбанистов вместе преодолевать этот «кризис доказательности», и посетители созданного им сайта Сети исследований мировых городов и глобализации могут познакомиться с проведенной с тех пор работой. В изложении данной темы используются и иллюстрации с этого сайта [website on World Cities and Globalization (GaWC): <http://www.lboro.ac.uk/gawc/>].

**Нил Смит** считает, что части литературы по глобальным городам (включая книги С. Сассен) недостает радикального продумывания последствий изменения масштаба протекающих сегодня экономических процессов. Да,

города и ТНК стали главными игроками современной экономики, так что торговые связи налаживаются между компаниями, а не между странами. Но какие последствия это имеет для традиционной функции городов – быть местом социального воспроизводства? Сассен просто подчеркивает полярность глобальных городов, т. е. тот факт, что их богатство и привлекательность для глобальных трейдеров и менеджеров возможны за счет невидимого и дешевого труда тысяч мигрантов, что они – такая же значимая часть глобальных городов, как и офисные небоскребы, элитные дома и бесконечные бутики. Смит рассуждает иначе. Вводя понятия **реваншистского города** и **неолиберального урбанизма**, он показывает, как функции и роли городов изменились в результате двух взаимно усиливающих друг друга тенденций: (1) города, а не нации стали главным местом организации производства и (2) правительства отказались от либеральной городской политики. На место американского Среднего Запада или немецкой Рурской области – классических примеров индустриального развития – пришли Шанхай и Мумбай, Сеул и Сао-Пауло, Мексико Сити и Бангкок. Если традиционные промышленные регионы были становым хребтом национальных экономик, то эти мегаполисы – основа экономики глобальной. В то же время современная правительственная политика часто бросает города на произвол судьбы. Американские президенты последних трех десятилетий печально прославились публичными жестами, из которых было ясно: выживание городов и их жителей – их собственная проблема, и правительства не будут в этих целях делиться своими ресурсами. От отказа президента Форда поддержать Нью-Йорк во время финансового кризиса 1970-х годов до закрытия президентом Клинтоном в 1996 годов системы велфэр все это может быть истолковано как симптомы «переформатирования» государств и правительств, превращения их в самостоятельных экономических игроков. Если сильно огрубить суть дела, получается, что субъектов, ответственных за социальное воспроизводство населения и обладающих достаточными для этого ресурсами, в мире больше не

осталось: всех, включая правительства, волнуют только производство и финансы.

Дебаты по поводу «расползания» пригородов в США и Европе, компании за «возрождение» европейских городов, обсуждение проблем экологической справедливости – все это свидетельствует, что развитие городов сегодня все дальше и дальше отходит от задач социального воспроизводства. Смит предлагает именно в этом контексте рассматривать проблему кризиса ежедневного перемещения работников из дома на работу и обратно. Экономически обусловленное географическое расширение многих городов не позволяет им выполнять одну из главных своих функций – способствовать доставке работников из дома на работу и обратно. Противоречие между экономическими процессами и географической формой городов проявляется повсеместно. Москва в этом отношении давно стала притчей во языцех: то, как выглядят по утрам пригородные электрички, конечные станции метро, не говоря уж о ключевых автомагистралях – грустные иллюстрации цены, которую люди платят своим проведенным в дороге временем, за неразрешимость этого противоречия. Но Смит напоминает, что в Сао-Пауло люди начинают добираться на работу в 3.30 утра, тратя 4 часа в один конец. Точно также дела обстоят в зимбабвийском городе Хараре: 4 часа ты едешь на работу, твой рабочий день длится 16 часов, добравшись домой опять через 4 часа, ты остаток времени спишь. По требованию Всемирного банка, транспорт во многих городах третьего мира был приватизирован, так что и в денежном отношении эта цена возросла так, что в иных случаях люди тратят на дорогу до 45 % недельного заработка!

Смит справедливо утверждает, что сетования на слабую развитость городской инфраструктуры в таких случаях совершенно недостаточны. Здесь проявляется другое географическое противоречие – между чрезвычайно высокой стоимостью земли, сопровождающей централизацию капитала в сердцевине городов, и маргинальными пригородами, где рабочие вынуждены жить на те гроши, что им платят те, кто централизацией капитала занимаются.



Эти гроши, т. е. искусственно заниженные заработки тех, кто находится на нижнем конце пищевой цепи неолиберализма, – условие эффективной централизации капитала. Так что, по Смиту, передним краем неолиберальной трансформации городов являются не европейские столицы, а стремительно растущие метрополисы Латинской Америки, Азии и Африки, где никогда и не было прочной связи между городом и социальным воспроизводством. В этих городах ставятся рекорды производительности труда и человеческой выносливости и, кажется, никто пока не помышляет о бунте.

### **Глобальные города и государственная политика**

В исследовании глобальных городов, как правило, воспроизводится тезис об уменьшении роли государства в век усиленной глобализации. Современный российский контекст побуждает к критическому рассмотрению противопоставления глобального и локального в российских городах (пусть не один из них не может в полной мере претендовать на статус глобального города). Государство как главный экономический агент играет главную роль в том, каким образом Россия и ее города включены в мировую экономику. Государства и во многих других странах активно переизобретают себя как главное территориальное, регулирующее и институциональное условие ускорения глобального накопления капитала. **Эрик Суингеду** [1996] называет эту новую конфигурацию территориальной организации государства «глокальным» государством. Оно невозможно без особых мест в городе, в которых и посредством которых поддерживается территориальная, технологическая, институциональная и социальная инфраструктура глобализации. Поэтому, несмотря на все успехи в дешевой и стремительной передаче информации в любой уголок Земли, города – узлы, через которые организована глобальная система производства и обмена. Суингеду подчеркивает, что дихотомии «глобализация – местное развитие» можно

избежать, если все время учитывать непрерывное социальное производство пространства, которому присущи разнородность и конфликтность. Самое важное, что «глокализация» тесно связана с властными отношениями в обществе.

Иными словами, подчеркнем это снова, представление о глобализации как о процессе детерриториализации, который конкретные места делает все менее значимыми, не выдерживает критики. Происходит, наоборот, **ре-территориализация, т. е. усиление роли территориальных предпосылок для циркуляции глобального капитала**. Этот процесс происходит в разных пространственных масштабах, в том числе и в масштабе государства. Как показывают американский географ **Нил Бренер** [1998] и британский политический теоретик **Боб Джессоп** [1990], в мировой экономике города и государства диалектически объединены: это государства продвигают свои города как привлекательные узлы транснациональных инвестиций, и эти города остаются точками координат территориальной организации государства и местным уровнем управления.

**Джон Фридман** [1986, 69] отмечает противоречие между политической подоплекой территориальных интересов государств и глобальным управлением производством. Нередко отношения между глобальными городами и территориальной политикой государств выливаются в битву между глобально мобильными ТНК и неподвижными государственными территориями. Противоречия между интересами транснационального капитала и национальными интересами сопровождаются самыми разными вариантами социальной и политической борьбы – между ТНК и обитателями городов; между «своим» правительством и обитателями городов; между «глобализованной» и национальной буржуазией; между трудом и капиталом. Управление глобальных городов фрагментировано, что тоже усиливает угрозу конфликтов. Так, интересы глобального капитала состоят в совершенствовании городской инфраструктуры, т. е. в строительстве все новых дорог, портов, аэропортов, а также в увеличении привлекательности городов для тех, кто

управляет этим движением. Увеличение притягательности состоит и в том, что «неприглядные» граждане должны удерживаться на расстоянии – наблюдением и полицейскими. С другой стороны, глобальный город – магнит для рабочей силы, прежде всего иммигрантов, которые приезжают в него жить. Возникает задача обеспечения социального воспроизводства всех этих людей: строительства жилья, налаживания здравоохранения, образования, общественного транспорта, социальных льгот. Поэтому социальная цена глобального города превышает регулятивные способности государства и муниципалитетов. Не случайно Фридман и Уолф называют местное правительство «главным лузером» в этом сочетании глобально навязываемых ограничений. Нарастание глобальной взаимоувязанности экономики оборачивается сокращением дееспособности региональных и городских правительств. Традиционные структуры социального и политического контроля за развитием, рынком труда и распределением ресурсов искажаются логикой международной экономики, влиятельные игроки сообщаются друг с другом вне сферы государственного регулирования. Уйдя из сферы социальной политики, государство увеличивает свою активность в сфере социального контроля. **Эрик Суингеду** [1997] подчеркивает, что правительства пытаются насаждать неолиберальную рыночную дисциплину, продвигать ценности эффективности, увеличения собственной востребованности на рынке труда. Эта пропаганда ведется не без лукавства: есть слои населения, которые не могут на равных участвовать в гонке за призовые места в мировой экономике. Тем самым существенные слои населения оказываются из нее исключенными. Страх социального недовольства побуждает государства наращивать авторитарные меры в своей политике. С другой стороны, новая рабочая сила городов состоит из мигрантов и частично занятых людей. Первые включены в культурные и социальные сети, основанные на иных ценностях. Вторые – в силу частичной занятости – не могут претендовать на связанные с их социальным воспроизводством ресурсы.

Итак, на привычную многим из нас карту мира, образованную территориями государств, сегодня накладывается карта глобальных городов. Но глобальные города остаются и связанными с территориями своих государств и ограниченными политикой своих правительств. Так что сегодня активно переплетаются и взаимонакладываются самые разные формы территориальной организации: империи и то, что от них остается, центр и периферия, рынки международные, национальные и местные, и, конечно же, города.

### **Джентрификация в России и Москве**

...Пожилая учительница географии старейшей екатеринбургской гимназии номер девять любила дразнить снобов-старшекласников отрезвляющими сентенциями. Она спрашивала, на какой улице тот или иной из них живет, и предавалась воспоминаниям о том, какого рода люди на ней селились прежде: «Улица Жукова (в престижном районе в самом центре города – *Е. Т.*), говорите? Ну да, как же, в 1950-е на ней одни бараки стояли! Никто не знает, где он будет жить через тридцать лет, и какие люди поселятся в его доме». Для «центровых» школьников, многие из которых с детства сроднились с ощущением привилегированности, напоминание о том, что престижным их район стал совсем недавно, скорее, забавно: социальная однородность места, где они живут, достигнута, и вряд ли будет в скором времени разрушена. Те же, кто в школу приезжают учиться из спальных районов, понимают, что их родители, если позволят обстоятельства, скорее переедут в пригород, чем в центр: настолько там теперь дорогое жилье.

Эти хорошо всем знакомые наблюдения связаны с более общей тенденцией увеличения роли российских городов в развитии неолиберального капитализма, их функционирования в качестве узлов соединения различных рынков и контроля за капиталовложениями в сферу сервиса, производства товаров, рекламы, транспорта, потребления. Эта тенденция выражается в

строительстве и перестройке городской среды. Растущий спрос на офисы и квартиры приводит к энергичному разрушению парков, улиц, зданий и возведению новых строений, которые во всех городах выглядят все более похожими, а сами города превращают в места столкновения самых разных социальных и политических интересов. **Джентрификация – вложения в городское пространство для того, чтобы сделать его привлекательным для состоятельных людей** – самое яркое выражение неолиберального изменения городского пространства. Возведение корпоративных небоскребов, рост коттеджных поселков в городах и за их пределами, огороженные элитные дома и комплексы домов с ограниченным доступом пешеходов и автомобилей и усиленной охраной (*gated communities*), а также сети влиятельных игроков рынка недвижимости, включающие муниципалитеты, девелоперские фирмы и т. д., которые принимают решения о том, в какой район или квартал «прийти» – вот, в чем выражается джентрификация. Методологически это понятие соединяет экономические, социальные и культурные процессы: в изменении, к примеру, улицы Жукова за тридцать лет, можно проследить, как пересекаются мировые финансовые и культурные потоки, с одной стороны, и местные идентичности, с другой.

Если говорить о джентрификации в российских городах, то внимание российских и зарубежных исследователей в этом отношении пока более всего привлекает джентрификация Москвы. Неолиберальные тенденции в ней проявляются следующим образом: с одной стороны, государство устранилось от регуляции рынка недвижимости, с другой стороны, социопространственная структура центра регулируется рынком. Отличают московскую джентрификацию две характеристики: во-первых, здесь чаще, чем в других городах, люди вытесняются из своих квартир не «невидимой рукой» рынка, но авторитарными мерами, во-вторых, к началу приватизации жилья около 80 % обитателей центра жили в коммуналках. Как обитатели центральных кварталов понимают свою общность по месту жительства, на кого рассчитывают в случае конфликта с девелоперами, что значит для них – жить в центре? В небольшом

исследовании, проведенном в 2005–2006г., я опросила группу давних обитателей центра, живущих в пределах Садового кольца – и тех, кто от джентрификации выиграл, переселившись из коммуналки в отдельную квартиру в результате успешного торга с девелоперами, получив возможность сдать свою вторую квартиру за хорошие деньги, и тех, кто, напротив, проиграл и теперь скучает о прошлой жизни в самом центре.

С начала 1990-х годов Москва воплощает общий урбанистический тезис, что стремление получить максимум прибыли от недвижимости не только отражается в стоимости земли, но и стимулирует те способы ее использования, которые сулят наивысшую коммерческую отдачу. В Москве сложились самые коммерчески успешные способы приобретения и перестройки недвижимости, воплощения полномасштабных строительных проектов и связанной с ними спекулятивной деятельности. Большинство исследований джентрификации в Москве сосредоточилось на так называемой золотой миле – районе улиц Остоженки и Пречистенки. Написав о нем в разные годы свои тексты, берлинский урбанист **Кордула Гданек**, московский урбанист **Ольга Вендина**, соавторы **Анна Бадьина** и **Олег Голубчиков** убедительно показали, что Москва повторяет траекторию городов с быстро растущим финансовым сектором и сектором обслуживания бизнеса: в ней расширение джентрификации зависит прежде всего от стратегий девелоперов. Ольга Вендина [2008] считает главной проблемой городской среды Москвы трудноразрешимое противоречие между ценностью городской территории как «недвижимого имущества» и как «общественного богатства». Застройка Остоженки воплощает это противоречие. Кордула Гданек показала, как политика городского правительства усугубила «эксклюзивность» этого района. Бадьина и Голубчиков [2005] вели различие между неопосредованной и опосредованной фазами джентрификации в этом районе. Первая началась в 1993 году: тогда отдельные бизнесмены и агентства недвижимости покупали коммуналки и перестраивали их в лофты и офисы. Опосредованная фаза началась в 1998 году, когда в район пришли корпоративные девелоперы,

началась агрессивная маркетинговая кампания по продвижению района как элитного, а реконструкция по принципу квартира-за-квартирой сменилась реконструкцией по принципу квартал-за-кварталом. Урбанисты описывает специфический «договор о инвестициях», который заключался между девелоперами и городом, в силу которого девелоперы получали в пользование землю и право на строительство в обмен на передачу городу 50 % площадей. Между девелоперами и городскими властями сложились разного рода союзы и тем «административный капитал» которых был выше, земля выделялась гораздо быстрее. Старые дома модернизировались, отражая и процессы выгодного вложения капитала и культурные ценности класса профессионалов, которые покупали переоборудованные квартиры. Возводились и новые здания.

Классические принципы городского управления – зонирование, архитектурные нормативы, разрешения, инспекции, переговоры с жильцами – все это использовалось по мере перестройки района. «Бустеризм», бум на рынке недвижимости, сопровождался и подковерными переговорами, и открытыми конфликтами. Если, описывая джентрификацию в некоторых районах Лондона, исследователи (Тим Батлер, в частности) утверждают, что тех, кто въезжает в переоборудованные дома, отличает прежде всего высокий уровень культурного капитала, то в Москве картина сложнее. Обладателями культурного капитала оказываются давние обитатели центра. Они ценят район, в котором живут, за архитектурные сокровища, что неподалеку, за историю, которой дышит каждый поворот. Те же, кто недавно поселились, рассматривают свое место жительства прежде всего как выгодное вложение средств и как выражение высокого статуса. Настроения и действия задетых джентрификацией людей, с которыми мне удалось провести интервью, можно поделить на три группы. Первая группа грустит о переменах, полна ностальгии по тому, как родные кварталы выглядели в прошлом, и отдает себе отчет в масштабе и скорости, с какой исчезают старые здания и культурно значимые места. Исчезнувшие церковь, школа, детский сад, скверик, памятник архитектуры упоминаются этими людьми с горечью и грустью. Одним

примером публичного выражения таких настроений является деятельность группы энтузиастов, работающих при Музее архитектуры им. Щусева, которые создали несколько веб-сайтов в целях увековечивания Москвы, которой нет [[moskva.kotoroy.net/](http://moskva.kotoroy.net/)] и на которых не только собираются фотографии, истории о ценных зданиях, но и обсуждается происходящее. Вторая группа – недовольные. Степень их организованности может различаться. Территориальные сообщества возникают по конкретным поводам, большинство которых – действия девелоперов, их сговор с властями, обман. Так, группа активистов «Оставьте нас в покое!» организовала пикет в сентябре 2006 года на углу Пречистенки и Остоженки. Обычно вытеснение людей строится по одному и тому же сценарию: городские власти принимают решение о том, что здание находится в аварийном состоянии и нуждается либо в сносе либо в перестройке, на жителей оказывают давление и власти, и девелоперы, а дальше события развиваются по-разному. Интервью показывают, что в общественную активность по месту жительства люди не очень верят, часто ограничиваясь единовременным выражением недовольства на митинге или пикете, написанием письма президенту и ожиданием ответа. Третья группа реакций может быть названа «примирившиеся и удовлетворенные». Многие бывшие жильцы перестраиваемых домов улучшают свои жилищные условия. Те, для кого жизнь в «центре центра» – значимая часть идентичности, ценят не только «стратегическое» расположение своих новых жилищ, близость к метро и прочие житейски значимые вещи, но и ауру традиции и истории. «Когда ты здесь живешь, ты знаешь, что происходит в мире и Москве, просто пройдясь по улице», – говорит один обитатель. Они остались там, где жили всю жизнь, они избавились от необходимости считаться с соседями по коммуналке – все это к лучшему. Другое дело, что здания, в которые они переезжают, были построены в разное время, и нередко случаются грустные открытия. Если здание было возведено, скажем, в 1930-е годы, то не исключено, что строители использовали для заполнения перекрытия между квартирами... солому: в то время лучше было не жаловаться на нерегулярные поставки стройматериалов.



В этих обстоятельствах неизвестно, удастся ли владельцам этих квартир передать свою собственность внукам.

Все три группы респондентов соглашались, что между московским правительством с его собственными деловыми интересами и девелоперами существует масштабный договор (некоторые используют слово «заговор»). Игра с «элитарными» притязаниями покупателей, подчеркивание, что этот район «всегда» был элитным – только часть их маркетинговых стратегий. Напротив, те, кто джентрификацией оказываются задеты, не хотят забывать, что вообще-то на Пречистенке–Остоженке обитал довольно пестрый люд. Классовая подоплека джентрификации, т. е. то, что люди со средствами поселяются там, где другие ходили в школу и в церковь, огорчает одних и встречает циничные суждения других. Двусмысленность настроений связана с общей сложностью определения морального измерения капитализма. Люди понимают, что социальные и политические изменения неизбежны, они согласны с тем, что капитализм безжалостен, но главное, что они чувствуют в отношении этих центральных улиц: «Мы тоже здесь живем».

### **Джентрификация как глобальная стратегия**

Процесс, который начался в 1960-е годы в отдельных районах Лондона, Нью-Йорка, Парижа и Торонто, распространяется сегодня, во-первых, по всем уровням иерархии городов. Он замечен и в промышленных и в небольших городах, в Бристоле и Глазго, Детройте и Галифаксе. Во-вторых, он все глубже захватывает те города, в которых начался: если джентрификация 1970-х годов обошла стороной Бруклин и Бронкс, то сегодня она идет там полным ходом. В-третьих, процесс приобрел глобальный характер еще и потому, что наблюдается теперь повсюду – от Южной Африки до Швеции. Ведущий теоретик джентрификации **Нил Смит** считает, что сегодня она повсеместно используется как стратегия, вытесняющая **либеральную городскую политику**. Происходит переход от **политики социального воспроизводства**, которая

**была приоритетом последней, к политике производства капитала, стоящей в центре неолиберального урбанизма. Неолиберальное государство становится агентом, а не регулятором (как раньше) капитализма. В итоге из места социального воспроизводства город превращается в место инвестиции капитала.**

Идут дискуссии относительно того, стоит ли считать проявлением джентрификации то, что в России называют коттеджными поселками, т.е. переселение среднего класса в пригороды, а также считается ли джентрификацией возведение нового жилья в центре города. Отрицать это – придерживаться того значения джентрификации, что было введено Рут Глас. Утверждать это – допускать, вместе с ведущим теоретиком джентрификации Нилом Смитом [1996, 39], что различие между реабилитацией существующего жилого фонда, новое строительство и переделка заброшенных зданий более несущественно, что термин сегодня относится к гораздо более широкому кругу явлений. По его словам:

Как, в широком контексте меняющейся социальной географии, мы можем адекватно различить между реабилитацией жилищного фонда XIX века, возведением новых жилых башень-кондоминимумов, открытием рынков во время фестивалей для привлечения местных и не местных туристов, умножением винных баров и бутиков, торгующим всем, чем пожелаешь, строительством современных и постсовременных офисных зданий, в которых работают тысячи работников, ищущих жилье... Джентрификация – более не узкая и донкихотская странность на рынке жилья, но передний край куда более мощной тенденции – классовой переделки центрального городского ландшафта.

Классовое измерение джентрификации неразрывно связано с вытеснением людей со скромными средствами из прежних мест обитания. Давление со стороны состоятельных людей поднимает цены до такой степени, что прежние обитатели районов и кварталов либо сами предпочитают продать или сдавать свое подорожавшее жилье, либо оказываются вытесненными. Так, обитателей

перестраиваемого дома на Плющихе может посетить нанятый девелоперами юрист и, в зависимости от того, какие речи он услышит в ответ на свое предложение рассмотреть варианты переезда (т. е. в зависимости от того, ориентируются люди в ситуации или нет, способны они защитить свои интересы или нет), они могут оказаться либо в хрущевке в Выхино либо в доходном доме начала XX века рядом с Третьяковкой.

Пишущий о джентрификации в Лондоне экономист Крис Хамнет убежден, что вытеснением в Лондоне как самостоятельной проблемой можно пренебречь, так как размер рабочего класса в любом случае сокращается. Его заменяет, а не вытесняет, средний класс. Другие авторы, особенно те, кто пишут по заказу городских администраций, предпочитают говорить не о джентрификации, а о «регенерации городов», «городском ренессансе», «устойчивом развитии городов». Эти выражения и понятия удобны тем, что выводят соответствующие экономические процессы из-под социальной критики. Между тем именно классовая природа джентрификации значима для критически настроенных урбанистов, которые понимают, что изменение классовой конфигурации того или иного квартала неразрывно связано с вытеснением тех, кто жил здесь раньше.

Джентрификация – производство городского пространства для состоятельных жильцов. Этот процесс, имея классовую подоплеку, неразрывно связан с несправедливостью. Для исследователя этот процесс представляет собой дилемму: описывать (и таких исследований большинство) вкусы и пристрастия новых обитателей этих кварталов и районов – среднего класса – или пытаться включить в обсуждение мнения пострадавших. Первые изучены досконально, но последствия джентрификации для старых жителей, выбор которых не столь уж и велик в условиях бума на рынке недвижимости, обусловленного неолиберальной регуляцией, составляет серьезные трудности для исследователей. Тех, кого побудили переехать или тех, кто живет под угрозой переселения или выселения, не так-то легко найти или разговорить. А девелоперы тоже не рвутся откровенничать с исследователями. В этом смысле,

выделяется небольшая группа исследователей, которую уже не очень интересуют практики среднего класса, а больше – институциональные и структурные механизмы, которые создают для них пространства. В манифестах планировщиков, заявлениях городских властей, новых проектах девелоперов классовая суть джентрификации надежно спрятана за обтекаемыми словами, как в этом существующем высказывании мэра Лондона [2002]:

Высотные здания – очень эффективный способ использования земли и важный вклад в создание образцового устойчивого мирового города. В Центральном Лондоне они обеспечивают необходимое число помещений, отвечающих нуждам глобальных компаний – в особенности финансовых и занятых обслуживанием бизнеса. Вообще говоря, они отвечают стратегии создания высочайшего уровня активности в местах, вмещающих наибольший объем транспорта. Хорошо спроектированные высотные здания могут стать и архитектурными достопримечательностями, по которым будут узнавать районы, где они возведены, а также составить важный вклад в регенерацию.

Тем самым увеличивается значимость исследований, в которых отражены интересы всех обитателей того или иного подвергаемого джентрификации района. Так, чикагские урбанисты Дэвид Уилсон, Джаред Уоутерс и Денис Грамменфорс рассматривают ситуацию в районе Пилсен, который претерпевает джентрификацию с середины 1980-х годов. Авторы, во-первых, помещают этот случай в контекст общего брендинга Чикаго как постиндустриального города, его, так сказать, продажи мировому капиталу, во-вторых, они реконструируют три конкурирующие между собой дискурса по поводу джентрификации: (1) девелоперского – в пользу джентрификации, (2) местного сообщества, которое хотело бы сохранить район для тех, кто уже в нем живет, и (3) коалиционного (т. е. группы бизнесменов и активистов, которые выступают – в пользу джентрификации, но так, чтобы она была проведена с учетом этнического наследия района. Соответственно те истории, которые помещают Пилсен в нарратив упадка или, наоборот, возрождения, используются разными социальными силами. Удивительно, но это мексиканские рабочие района

преподносятся СМИ как преданные своей территории, тогда как те, кто хочет извлечь из него максимум прибыли, изображены в виде предателей района. Авторы показывают, каким образом репрезентации обретают материальную силу, буквально воплощаясь в сегодняшнем статусе района.

**Том Слэйтер** [2002] – один из самых заметных левых критиков джентрификации, предпринял сравнительное исследование джентрификации в Торонто и Нью-Йорке и того, как она отражена в академических статьях. Если канадская джентрификация изображается учеными и СМИ как процесс, у которого есть освободительный потенциал, то нью-йоркская – «реваншистской», мстящей рабочему классу, крадущей у него городские кварталы и районы. Джентрификация в Торонто потому эмансипаторская, что она соединяет разные классы, способствует взаимопониманию и толерантности (для канадского городского планирования вообще очень характерна увлеченность идеями социального смешения – *(social mix)*). Слэйтер, однако, демонстрирует, что внимательный анализ почти любого случая джентрификации вскрывает более сложную картину, нежели изображаемая учеными и СМИ. Так, квартал Саус Паркдэйл (*South Parkdale*) обрел печальную славу после того, как жившие дома психические больные были выселены из своих квартир в процессе перестройки квартала для среднего класса. Альянс региональных и городских властей, а также мобилизованная полиция подавили попытки оспорить происходящее. В Нью-Йорке Слэйтер рассматривает район Лоуэр Парк Слоуп в Бруклине. Финансовые рынки и рынки недвижимости повсеместно стали международными, и понятно, что в Нью-Йорке эта тенденция проявляется сильнее, чем где-либо. С 1997 по 2004 года средние цены на дома для одной семьи удвоились, что нашло отражение в таких терминах, как **суперджентрификация** и **корпоративная джентрификация**. Парк Слоуп – элитный район Бруклина – в итоге этих тенденций превратился в один из самых популярных районов всего Нью-Йорка, символ его бурного экономического роста конца 1990-х годов (сейчас прекратившегося). В 1997 году в городе было принято постановление, согласно которому владельцы

домов, где стоимость аренды квартир превышает \$ 2000 в месяц, не подпадают под какие-то ограничения стоимости аренды. Это означало, что цена за аренду квартир могла подниматься бесконечно, и в итоге большие отряды высокооплачиваемой публики (молодые биржевые брокеры, издатели, Интернет-антрепренеры, часть юристов и докторов) были вытеснены из Манхэттена на окраины Бруклина, Квинса и в Бронкс, которые, в свою очередь, стали стремительно джентрифицироваться. Что же случилось с теми людьми, кто прежде жили в перестраиваемых домах? Большинство из них – испаноязычные малооплачиваемые рабочие и служащие – вначале получили уведомления от владельцев квартир о том, что аренда их квартиры возросла вдвое, а затем и уведомления о выселении. Можно ли, однако, считать, что их ситуация – результат «кражи» средним классом обиталищ бедных людей? Вряд ли: в условиях, когда все больше нью-йоркских районов остаются доступными только для корпоративной элиты, выбор жилья для среднего класса тоже сужается.

Итог: какие бы нарративы джентрификации не предлагали урбанисты, всегда есть смысл исследовать, как конкретно она проявляется в том или ином районе и какое отношение к себе вызывает.

## **Брендинг городов**

Глобализация усилила необходимость продажи отличий городов друг от друга. Те или иные достопримечательности, знатные горожане либо продукты от века составляли предмет гордости городов. Городские власти издавна пытались придать городам исключительность. Однако только в последние двадцать лет продвижение имиджа города на международном рынке стало целенаправленной стратегией правительств. Одни пытаются позиционировать себя как лидеры ИТ-индустрии. Другие – как привлекательные для туристов. Старые промышленные города пытаются приспособить городскую среду к новому международному порядку, не претендуя на ведущие места в обслуживании бизнеса, но либо сохраняя высокоспециализированные отрасли

промышленности, либо соглашаясь на те функции, которые возможны для них в новом международном разделении труда (к примеру, быть логистическими центрами).

Тема маркетинга и брендинга городов популярна среди городских властей. Интеллектуалы пытаются выполнить социальный заказ, периодически занимаясь «брейн-стормингом». Одно такое собрание прошло весной 2008 года в Екатеринбурге. После лекции столичного социолога **Ю. Согомонова** о теории вопроса участники городского Философского кафе пытались предложить многообещающий образ города. Предлагались: (1) город, расположенный на границе Европы и Азии, (2) город, где убили царя, но хранится теперь память о нем, (3) рабочий город, (4) город примирения (версия Ю. Согомонова). Негативность одних (удел царской семьи) и потрепанность других (граница Европы и Азии), неактуальность третьих (рабочий город) и абстрактность четвертых (город примирения) предложений вызвали лишь всеобщую фрустрацию.

Создатель теории маркетинга **Филипп Котлер** с соавторами в книге о маркетинге мест (рус. перевод 2005, 214) формулирует **пять критериев эффективности имиджа** города: (1) **соответствие действительности** (по этому критерию «город примирения» не выдерживает критики: кто, когда, с чем примирился – что можно ответить на эти вопросы? Неизвестно); (2) **правдоподобие** (Котлер и соавторы особенно предостерегают против формулировок «лучший в...»); (3) **простота** (плохо, когда рекламируется несколько рядоположенных образов); (4) **притягательность**, т. е. из имиджа должно явствовать, почему людям стоит жить, работать, инвестировать, приезжать в качестве туристов в данный город (правда, в качестве примера приводится Зальцбург с его поднадоевшим Моцартом (особенно после юбилея в 2006 году) Почему Моцарт делает Зальцбург нетразимым, скажем, для работы местом – не совсем ясно); (5) **оригинальность** (авторы книги упрекают за неизобретательность тех маркетологов городов, которые злоупотребляют выражениями «в центре Европы» или «дружественная атмосфера»).

Маркетинг городов и в целом мест был стимулирован складыванием и популярностью маркетинга как экономической дисциплины. Много, что пишется применительно к городам – экстраполяции теории маркетинга на такой специфический продукт, какими являются города. Так написана книга британских авторов Эшворда и Воогда «Продавая города» [1990]. Авторы [1990, 11] определяют маркетинг городов как процесс, которым городская деятельность как можно теснее увязывается с требованиями значимых покупателей так, чтобы довести до максимума экономическую и социальную эффективность функционирования города.

Сдвиг к **брендингу** городов произошел в конце 1990-х годов, в силу успеха и широкого применения стратегий брендинга, а также появления понятия корпоративного брендинга. Наделение продукта особой идентичностью, лежащее в основе брендинга, – деятельность, которой, повторим, издавна отдавали дань городские власти. Город должен получить уникальную идентичность, чтобы, во-первых, люди знали о его существовании (кто знал о г. Мышкине Ярославской области до его успешной маркетинговой кампании?); во-вторых, воспринимался жителями и посетителями как обладающий такими качествами, каких больше ни у кого нет (где еще в мире есть Музей мыши, как в Мышкине?); в третьих, чтобы преобладающие варианты его «потребления» отвечали целям властей и населения (в Мышкин стало приезжать гораздо больше туристов, что устраивает и власти, которые добиваются включения города в Золотое кольцо России, и жителей). В более же общем виде, у города тогда есть шанс стать брендом, когда, во-первых, хорошо поняты и известны его «продаваемые» отличия, и, во-вторых, разработана совокупность маркетинговых мер, которые эти отличия используют.

## Литература



- Вендина О.** Реквием по общественным пространствам Москвы // Архитектурный вест. 2008 № 2.
- Игрицкий Ю.** Рец. на книгу Сассен С. Потеря контроля?: Суверенитет в век глобализации. Нью-Йорк, 1996 // *Pro et contra*. 1999 Т. 4. № 4. Осень. С. 222–227.
- Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д.** Маркетинг мест. СПб. 2005.
- Левченко Э.** Россия – часть глобальной истории: [интервью с С. Сассен] // Экономика и время. СПб., 2003. № 21.
- Портес А., Сассен-Куб С.** Сотворение нелегальности: сравнительные материалы о неформальном секторе в рыночной экономике стран Запада (Ю. В. Латов) // Экономическая теория преступлений и наказаний. Реф. журн. М., 2000. Вып. 2.
- Сассен С.** Обманчивый лик европейской миграции // Деловая неделя. Киев. 2004. № 51.
- Сассен С.** Когда города значат больше, чем государства // Новое время. 2003. № 43.
- Сассен С.** Приведение глобальной экономики в действие: роль национальных государств и частных факторов // Междунар. журн. социал. наук. 2000. № 28. С. 167–175.
- Сассен С.** Утрата контроля? // Гендер и глобализация: теория и практика международного женского движения / Под общ. ред. Е. Баллаевой. М., 2003.
- Слука Н. А.** Градоцентрическая модель мирового хозяйства. М., 2005.

- Albrow M.** Travelling beyond Local Cultures. Sociospaces in a Global City // Ed. J. Eade Living the Global City. L.; N. Y. 1997.
- Appadurai Arjun** Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // Modernity at Large – Cultural Dimension of Globalization. Minnesota. 1996.
- Ashworth G. J., Voogd H.** Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. L. 1990.
- Badyina A., Gohihchikow O.** Gentrification in Central Moscow - a Market Process or a Deliberate Policy? Money, Power and People in Housing Regeneration in Ostozhenka / Geografiska Annaler. 2005. Nr. 87B. P. 113–129.
- Boden D., Molotch H.** The Compulsion of Proximity // Ed. R. Friedland, D. Boden Now Here: Space, Time and Modernity, Berkeley, 1994. P.101–105.
- Brenner N.** Global Cities, Global States. Global City Formation and State Territorial Restructuring in Contemporary Europe // Review of International Political Economy 1998. Nr. 52. P. 1–37.
- Brenner N.** State Territorial Restructuring and the Production of Spatial Scale: Urban and Regional Planning in the FRG, 1960–1990 // Political Geography. 1997 a. Nr. 16(4). P. 273–306.
- Brenner N.** Global, Fragmented, Hierarchical: Henri Lefebvre's Geographies of Globalization // Public Culture 1997b. Nr. 10(1). P. 137–169.
- Cvetkovich A., Kellner D.** Introduction : Thinking Global and Local // Articulating the Global and the Local—Globalization and Cultural Studies. Boulder, CO: Westview Press. 1997. P. 1–32.
- Eade J.** Living the Global City: Globalization as a Local Process. L.; N.Y. 1997.
- Friedman J.** The World-City Hypothesis. // World Cities in a World-System / P. L. Knox, P. J. Taylor (Ed.), Cambridge, 1995. P. 317-331. (впервые опубликована в 1986г.)
- Hall P.** The World Cities. L.,1966.
- Hannerz Ulf** Transnational Connections—Culture, People, Places. L.; N.Y. 1996.

**Hiebert D.** Cosmopolitanism at the Local Level. The Development of Transnational Neighborhoods // Ed. S. Vertovic and R. Cohen *Conceiving Cosmopolitanism. Theory, Context, and Practice.* Oxford. 2002/

**Gdaniec C.** Kommunalka und Penthouse. Stadt und Stadtgesellschaft im postsowjetischen Moskau. Münster, 2006.

**Knox P., Taylor P.** World City In A World System. Cambridge. 1995.

**Jessop B.** State Theory: Putting Capitalist States in their Place, University Park, Penn.: Pennsylvania State University Press. 1990.

*Idem* Fordism and Post-Fordism: a Critical Reformulation', in Michael Storper and Allen J. Scott (eds) *Pathways to Industrialization and Regional Development*, New York: Routledge, 1992pp. 46–69.

—— (1994) 'Post-Fordism and the state', in Ash Amin (ed.) *Post-Fordism: A Reader*, Cambridge, Mass.: Blackwell, pp. 251–79

Kavaratzis, M. (2007) «City Marketing: The Past, the Present and Some Unresolved Issues»

*Geography Compass* 1 (3), 695–712

King, A. (1990) *Global Cities: Post-Imperialism and the Internationalization of London*, London & New York: Routledge, 1990.

----- (1997) (ed.) *Culture, Globalization and the World-System – Contemporary*

*Conditions for the Representation of Identity.* Minnesota.

Mayor of London (2002) *The Draft London Plan. Draft Spatial Development Strategy for Greater London.* London: Greater London Authority.

Patteeuw, V. (ed) (2002) *City Branding: Image Building and Building Images*, Rotterdam: NAI Publishers.

Robertson, Roland, (1996, 1992 first edition) *Globalization -Social Theory and Global Culture.*

Sage Publication.

- Sassen, S. (2001) *The Global City. New York, London, Tokyo*. Princeton: Princeton University Press.
- Sassen, S. (ed.) (2002) *Global Networks, Linked Cities*, London/New York: Routledge.
- Slater, T. "North American Gentrification? Revanchist and Emancipatory Perspectives Explored", *Environment and Planning A*, 2004, volume 36, pages 1191 - 1213.
- Smith N, (1990) *Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Smith N, (1992), "Blind Man's Buff, or Hamnett's Philosophical Individualism in Search of Gentrification?" *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series* , 17, pp. 110 – 115.
- Smith N, (1996) *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City*. New York: Routledge.
- Smith N, (2002), "New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy", *Antipode*, 34, pp. 427 – 450.
- Smith N, De Filippis J, (1999), "The Reassertion of Economics: 1990s Gentrification in the Lower East Side", *International Journal of Urban and Regional Research*, 23, pp. 638-653.
- Smith N, Williams P (Eds), (1986) *Gentrification of the City*. London: Allen and Unwin.
- Swyngedouw, E. (1996) 'Reconstructing Citizenship, the Re-scaling of the State and the New Authoritarianism: Closing the Belgian mines', *Urban Studies* 33(8): 1499–521.
- Swyngedouw E. (1997a) "Neither Global nor Local: 'Glocalisation' and the Politics of Scale, in K. Cox (Ed.) *Spaces of Globalization*, pp. 137–166. New York: Guilford Press.

- Swyngedouw, E. (1997b) Excluding the Other: the Production of Scale and Scaled Politics, in R. Lee and J. Wills (Eds) *Geographies of Economies*, pp. 167–177. London: Arnold.
- Thrift, N. (1995) «A Hyperactive World», in Johnston R., Taylor P. and Watts M. (eds.) *Geographies of Global Change*. Blackwell, Oxford, pp. 18-35
- Turner, B.S. (2000) 'Cosmopolitan Virtue. Loyalty and the City', in E.F. Isin (ed.) *Democracy, Citizenship and the Global City*, London/New York: Routledge.
- Wilson D, Wouters J, Grammenos D, (2004), "Successful Protect-Community Discourse: Spatiality and Politics in Chicago's Pilsen Neighborhood", *Environment and Planning A* 36(7) 1173 – 1190.

## ТЕМА 7. ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ

Жизнь города – обсуждаем ли мы организацию его пространства или надежды обитателей – зависит от того, как организована в нем власть. Управление городом и участие в нем горожан – два полюса исследований городской политики. Эти исследования обращаются как к хитросплетениям современного менеджмента, так и к политическому участию населения. В городах рождались радикальные политические идеи, в них проходили демонстрации, и в них угнетенные люди одерживали скромные победы. В городах рабочие, этнические меньшинства и женщины боролись за свои права и частично победили: за последнее столетие условия их жизни заметно улучшились.

Чем отличается городская политика от «просто» политики? Это сложный вопрос, учитывая, что границу между городским и не городским становится все более сложно провести и что в городах живет большинство населения любой страны. Чтобы отличить обсуждение национальной и городской политики, для обозначения последней используют термины **местный**, **региональный**. Это не способствует ясности, потому что различие «в центре – на местах» – это

политическое различие, связанное с тем, как работает современное государство. «Городское» – это и пространственная и политическая категория. Городское или местное, как его ни определяй, тесно связано с национальными экономикой и политическими процессами, а также государственными структурами.

«Укрепление властной вертикали» – стратегия российского правительства при президенте Путине – повлияло на политику городских администраций в России. Настойчивые разговоры о поощрении местного самоуправления сочетаются с сокращением автономии городов, с нарастанием их зависимости от государственного финансирования. История ряда других стран (например, Англии) тоже отмечена сравнительной слабостью городских правительств, как и слабостью городских политических движений и сильной центральной системой управления. Местные правительства имели в своей компетенции вверенные им территории, но еще до ослабления их власти в 1970-х годах они должны были считаться с национальными стандартами и процедурами управления. Городское управление будет понято нами тем точнее, чем полнее мы примем во внимание, что вся государственная политика имеет последствия на местах, что любое решение центрального правительства отзывается в городах. Управление городами – дело отнюдь не только самих городов. Тем не менее история той или другой страны обуславливает разные варианты взаимодействия центральной и городской власти. Так, в США городским властям автономия гарантирована Конституцией. Еще французский историк Алексис де Токвиль описал городские правительства как органичную черту американской демократии. Не удивительно, что самые влиятельные теории городской политики сложились в этой стране. Это, разумеется, не значит, что они универсально приложимы.

Изучение городской политики включает институты городского управления, их политические функции, традиционные виды и современные модификации, а также социальные и политические последствия их ослабления. Роль общественности, частного сектора, общественных институтов в городской

политике также составляет значимый компонент этого исследовательского поля. Наконец, интересному анализу подвергаются в последнее время сама риторика изменений и инноваций в городском управлении. Мы рассмотрим вначале элитарные, плюралистские теории и теории «машин роста», кратко обратимся к концепциям городских режимов и институтов, подытожим дискуссию об отличии городского правительства и городского управления, коснемся влияния глобализации на городскую политику и разберем ситуацию с городскими политическими движениями «снизу».

### **Элитарные и плюралистские модели**

Какие модели лидерства «отцов» города сложились в истории городов и какие следствия они имеют для политики, в особенности для экономического развития. Какие стратегии способствуют, а какие препятствуют экономическому развитию? В каких городах лидеры следовали особым стратегиям управления и к каким результатам это привело? Какие сдвиги в городском политическом климате (или культуре) сопровождали разные варианты городской политики? Первая группа теорий городской политики стремилась ответить на два главных вопроса: у кого есть власть в городе и как властвующие этой властью распоряжаются.

«Элита», «городская верхушка» – таков был исторически первый ответ на вопрос о том, кто властвует в городе. Учитывая, что в классической политической теории город был моделью политического устройства, не мудрено, что к нему приложима общая линия мысли, развитая Платоном и Аристотелем в древности, Макиавелли в период Возрождения, Вильфредо Парето и Гаэтано Моска в XIX столетии. Правят избранные – силой своей мудрости, хитрости и интриги, а также находящихся в их распоряжении материальных ресурсов.

Исторические исследования вариантов организации городского управления показывают, что это правило распространяется и на американские

города. Американские социологи **Роберт и Хелен Линд**, одними из первых применившие к городу методы социальной антропологии, исследовали в 1920-1930-е годы типичный город среднего запада – Мунси (штат Индиана). Чтобы подчеркнуть его типичность, они дали ему название «Миддлтаун» и написали о нем две книги, которые стали социологической классикой. Исследуя религиозные верования обитателей города, а также предрассудки, бедность, проституцию, алкоголизм, они заметили огромное влияние на городские дела одной семьи, семьи Боллов, основавшей в этом городе университет и владевшей стекольной фабрикой.

К аналогичным выводам (о том, что властвуют элиты) пришел американский социолог **Флойд Хантер** (1953) на примере Атланты 1940–1950-х годов. Он тоже вывел Атланту под условным названием «региональный город». «Структура власти» (Хантер ввел этот термин в язык социальной теории) была исследована им не только с помощью включенного наблюдения, но и «репутационного метода». Хантер составил лист из 175 гражданских лидеров, бизнесменов, политиков и показывал его экспертам – профессионалам и уважаемым в городе людям (тем, кто лучше всего владел ситуацией). Почти со всеми 40, кто набрал наибольшее количество голосов, он провел интервью, спрашивая их, опять, о том, кого они считают самыми главными в городе и каковы две самые главные городские проблемы. Он также опросил лидеров сообщества афроамериканцев, планировщиков, социальных работников. Полученные им выводы гласили, что на вершущке городской властной пирамиды – самые крупные бизнесмены, корпоративные топ-менджеры и юристы, живущие в одном районе и хорошо друг с другом связанные (чаще всего упоминался магнат Кока-Колы Роберт Вудраф). Это в их деловых разговорах рождались инициативы, которые затем обсуждались в более широких кругах («Клуб 49» и «Клуб 101»). Кстати, аналогичные группы были позднее описаны в других городах, к примеру, такая как «Комитет 25-ти» в Лос-Анджелесе. Затем, если идея получала одобрение, формировался комитет, обсуждалось, какие именно люди будут общаться с прессой, и лишь когда все



было решено и распределено, идея становилась предметом формального публичного обсуждения. Но «политика», в смысле конкретного направления действия, уже была определена в ходе неформальных дискуссий среди обладающих экономической властью людей. Хантер затем опробовал этот метод еще и в Сэйлеме (штат Массачусетс).

Противоположная по смыслу, т. е. **плюралистская**, теория была сформулирована американским политическим теоретиком **Робертом Далем** в книге «Кто правит?» (1961). Свое исследование он провел в Нью Хейвене (штат Коннектикут). Он был согласен с тем, что в прошлом (в XVIII–XIX веках) городская политика действительно была элитистской, но был убежден, что в XX веке ее характер изменился. Идет ли речь о развитии города, об образовании, о партийных номинациях, в решения оказываются вовлечены самые разные люди и группы давления. Нет замкнутой группы, которая решала бы все. Иначе говоря, на поставленный вопрос «Кто правит?» Дали отвечает: «Не одна группа, а несколько». Это означало, что ни одна группа не могла монополизировать власть, потому что власть оказывается распределенной среди большого числа носителей противоположных интересов. Впрочем, противоположных только до определенной степени, так как конкурирующие за власть группы состоят из бизнесменов и представителей среднего и высшего среднего класса. Дали сосредоточился не на репутациях, а на спектре интересов людей, вовлеченных в принятие конкретных решений, используя подробные опросники и глубинные интервью. Теоретик признавал, что социальное неравенство неустранимо и что оно сказывается на возможностях политического участия. В то же время он был убежден, что групповая мобилизация, приводящая к соревнованию между властными коалициями, пусть опосредованно, но сокращает последствия неравенства.

**Эдвард Банфилд** в книге «Политическое влияние» (1961) рассмотрел, каким образом мэру Чикаго удалось создать властную коалицию под его, «босса», руководством. **Нельсон Полсби** во «Власти сообщества и политической теории» (1963)

рассмотрел, как решения, принимаемые коалициями элиты, были обусловлены и социальной стратификацией и политическими тенденциями.

Дебаты между плюралистами и элитистами (позднее неозэлитистами) помогли понять, что власть в городе заключается не только в занятии формальных постов, но и в способности определять, какие темы вообще станут предметом политического обсуждения. Так, неозэлитисты – политические исследователи **Питер Бахрах** и **Мортон Баратц** (также проведя эмпирическое исследование в Балтиморе) в работе «Два лица власти» (1962) показали, что интересы местной элиты могут быть настолько превалирующими, что интересы иных горожан просто не становятся предметом обсуждения. **Мэтью Кренсон** (1971) показал, что до 1970-х гг. загрязнение воздуха в большинстве американских городов не обсуждалось как отдельная проблема. Способствовавшим загрязнению большим промышленным компаниям удавалось через массмедиа убедить население в том, что этот процесс неразрывно связан с экономическим ростом и с появлением новых рабочих мест.

### **Теория машин городского роста**

Как видно из предыдущего обсуждения, те работы существенно влияли на складывание теории городской политики, которые строились на конкретных случаях, исходили из местного контекста. Этот подход получил название «новой городской политики», и с ним связаны теории, возникшие после 1970-х годов. В их центре – уже не вопрос «Кто управляет?», а вопрос «Для чего» (формулировка Логана и Молотча). Понятно, что городом управляют сообщества бизнесменов, но с какой целью? Опираясь на уроки политической экономии, теоретики обращают внимание на явление **бустеризма** (от англ. *boost* – расширять, проталкивать, рекламировать) – продвижение стратегии быстрого развития города любой ценой. В этой деятельности объединялись

амбициозные мэры, предприниматели, владельцы недвижимости и узлов транспорта.

В 1970-е годы **Харви Молотч** – американский городской социолог и автор метафоры «город – машина роста» добавил к названию своей (сегодня классической) статьи подзаголовок «политическая экономия места» (1976). Молотч не первым привлек образ машины для описания функционирования капиталистической экономики в городах. У Маркса «машинная» метафора была вплетена в разбор им капиталистического отчуждения, в демонстрацию того, что труд человека при капитализме становится чуждой ему силой, что выражается в том, что человек поработен трудом (вместо того, чтобы самому его контролировать). Если инструмент служит мастеру, то, в случае машинного производства, рабочий служит машине. Другой знаменитый марксистский урбанист – **Анри Лефевр** (1991, 345) – это тоже отмечает: «Город – это действительно машина, но это и нечто большее и нечто лучшее: машина, приспособленная к определенному использованию – использованию социальной группой». Машина не рассчитана на благополучие всех своих «винтиков», если воспользоваться популярной советской метафорой, и с помощью этой метафоры Молотч проблематизирует популярную идею о том, что выгодные для элиты процессы городского развития в конечном счете выгодны для всех горожан. Популяризации этой идеи способствовали прежде всего городские власти. Но были и теоретики, достаточно отчетливо сформулировавшие эту идею. Американский политический теоретик **Пауль Питерсон** в книге «Пределы города» (1980) настаивает, что (1980, 20)

Интересы городов – это не сумма индивидуальных интересов жителей и не стремление иметь оптимальный размер. Напротив, политика и программы тогда осуществляются в интересах городов, когда они поддерживают или увеличивают экономическое положение, социальный престиж или политическую власть города в целом.

Молотч, как и ряд других авторов, были настроены более критически и предположили, что экономический рост городов отнюдь не всегда тождествен

увеличению суммы общественных благ. «Машина роста» – это не город как таковой, а коалиция элит, нацеленная на извлечение прибыли из городской земли и всего, что на ней возведено. Молотч был первым, кто столь отчетливо описал доминирование в послевоенной американской городской политике идеологии роста (1976, 310):

Рост – это экономическая и политическая сущность практически любой данной местности... стремление к росту составляет ключевую действующую мотивацию консенсуса местных политических элит, сколь бы расколоты они ни были в отношении других проблем.

Молотч показал, что даже сильные города (Нью Йорк, к примеру) должны участвовать в компаниях роста, продавая свои города международному и национальному бизнесу, но отстаивая при этом свои политические интересы. И он был первым, кто, опираясь на обширный фактический материал, показал, что вопреки оптимистической риторике власть предержащих, масштабные строительные проекты и иные стратегии роста далеко не всегда оборачиваются новыми рабочими местами и сопровождаются адекватной социальной политикой. Его концепция машины роста состоит из трех компонентов: (1) коалиция элит; (2) лоббирование элитами роста как отвечающего их долговременным экономическим интересам и (3) диспропорции в выгодах от роста.

В книге «Городские состояния» (1987), написанной вместе с **Джоном Логаном**, теория города-машины роста противопоставлена не только экологическому подходу чикагской школы (о нем рассказывается в главе «Классические теории городов»), но и марксистскому подходу. Недостаток первого – в допущении «невидимой руки рынка», устанавливающей равновесие в расселении горожан. В действительности свободное соревнование горожан за свободное пространство невозможно. Высокий спрос на жилье невозможно удовлетворять до бесконечности. Дома обладают качествами, которые либо увеличивают либо уменьшают их стоимость, кроме того, люди часто привязаны

к вполне определенным частям города, что чикагская модель не в состоянии описать. Недостаток второго – в сведении города к месту эксплуатации, к «печальному последствию логики капиталистического накопления» (1987, 10). Марксизм считает, что те, кто снимают жилье – просто работники, а собственники жилья – капиталисты. Получается, что целый ряд важных для города игроков марксистский подход просто не способен инкорпорировать, в силу чего картина городского развития получается чрезмерно упрощенной. Авторы считают, что развитие города лучше объясняется напряжением, во-первых, между владельцами городской недвижимости (они могут использовать меновую стоимость своих владений) и жителями (использующими потребительную стоимость) и, во-вторых, между противоборствующими группами бизнес – элит. Элиты, политики, массмедиа и коммунальные предприятия составляют коалицию роста. Вспомогательные участники коалиции – это университеты, профсоюзы, учреждения культуры, владельцы малого бизнеса.

Каждая группа преследует при этом свои цели, но убеждает население в том, что от роста и вложений в него выиграют в конечном счете все: «совокупный рост изображается как общее благо; увеличение экономической активности, считается, поможет всему городскому сообществу» (1987, 33). Между тем авторы убеждены, что в действительности, «за редкими исключениями, консенсус между городскими группами элиты возникает по поводу одного вопроса. Этот же вопрос разделяет элиты и тех, кто использует город для жизни и работы. Это вопрос роста» (50). Члены коалиции позитивно расценивают любой вариант роста, это и позволяет им эффективно работать вместе независимо от различных целей. Но результаты роста распределяются неравномерно: природа машины роста такова, что потребительная стоимость большинства обменивается на меновую стоимость нескольких.

Каким образом это происходит? Как те или другие места города циркулируют на рынке недвижимости? Авторы вводят понятие **специальной потребительной стоимости** для того, чтобы зафиксировать субъективную

ценность того или иного места для жителей. Специальная потребительная стоимость отличает место от других товаров. Другое качество места состоит в том, что оно открывает доступ к другим благам и людям, но этот доступ прекращается, если человек меняет место жительства. Таким образом «переживания и мотивы фокусируются на определенном месте» (18). Люди, покупающие дома в особо значимых для них местах, вносят вклад в развитие всего жилого района. Его качество (ресурсы, которые он предоставляет, его привлекательность и связанная с ней способность мобилизовать людей на какие-то действия) определяет жизненные шансы его жителей. Владельцы же устанавливают специальную меновую стоимость своей недвижимости. У каждого владельца – монополия на свой сегмент рынка недвижимости. Часто стоимость их владений зафиксирована. Владельцы стараются ее поднять, но есть препятствия их экономической активности: к примеру, разная стоимость квартир на нижних и верхних этажах высотного дома. Недвижимость отличается от других товаров тем, что не может создаваться только частным образом: любое строительство или реконструкция предполагает переговоры с правительством и другими внешними инстанциями.

Логан и Молотч предлагают социальную типологию предпринимателей рынка недвижимости. Первый тип – «везучие», т. е. те, кто унаследовали собственность либо владеют ею в результате счастливого стечения обстоятельств; второй тип – «активные», т. е. те, кто ищут удачные места и участки для вложений; третий – «структурные спекулянты», т. е. те, кто не только способны предсказать, как изменится стоимость конкретной недвижимости, но и обладают ресурсами, чтобы ускорить этот процесс в устраивающем их направлении. Последний тип – самый важный в модели роста. Конкурирующие группы элиты, сотрудничающие с правительством, объединяются под прикрытием доктрины ценностно-нейтрального развития города, т. е. идеи, что только свободный рынок определяет использование земли. В действительности рынок социально конструируется, в том смысле, что те, кто его контролируют, делают это к своей собственной выгоде. Авторы описывают

разнообразные махинации городского истеблишмента, указывая, в частности (1987, 293), на «бесконечное лоббирование, манипулирование и задабривание» как на ключевые ресурсы, получения и поддержания власти в больших городах». При этом активисты местных сообществ, по мнению Молотча и Логана, играют достаточно двусмысленную роль. Они выступают от имени жителей, пытаясь побудить городское правительство, к примеру, использовать ограничения по зонированию земли в пользу жителей. Но нередко их активность лишь способствует успеху предпринимателей в их неустанной борьбе за повышение ренты.

Большинство российских городов успешно превращены за последние десятилетия в «машины роста», и пока трудно сказать, какое именно метафорическое выражение этот процесс получает. Сейчас он проявляется в циркулировании метафорических выражений, далеких от «города как машины» лексически, но связанных с дискурсивным выражением именно тех социальных и политических тенденций, что эта метафора фиксирует. Я имею в виду совокупность метафор, связанных с **коммодификацией** городов.

Что разительно отличает типичную картину политических аспектов развития постсоветского города и, к примеру, американского – это степень и характер оспаривания интересов коалиции бизнесменов и политиков активистами местных сообществ и прогрессивными политиками. В компаративном исследовании двух городов, Чикаго и Питтсбурга, изложенном в книге «Бросая вызов машине роста» (1996), **Барбара Ферман** показывает, как местные сообщества в Питтсбурге, действуя в благоприятном политическом климате широкой гражданской поддержки, смогли отстоять свое прогрессивное видение строительства жилья и экономического развития в целом. В Чикаго, напротив, вызов стратегиям развития был брошен на электоральной арене, где преобладали делегированные от районов политики, видящие угрозу в любой независимой политической активности по месту жительства. Что бы ни исходило от местных сообществ, пряталось под ковер, и в итоге чикагская машина роста не встретила никаких препятствий. Российские машины роста

городов следуют, скорее, чикагскому сценарию. Если в Америке каждый случай нужно рассматривать отдельно, потому что иногда местные сообщества все же одерживают верх, то в России последнего десятилетия, хотя местные детали интересны, исход дела удручающе предсказуем.

### **Теории городских режимов**

Интерес к неформальной стороне действий городских властей, к тому, что происходит по ту сторону выступлений мэров и разрезаний красных ленточек, воплотился в дискуссиях по поводу различных типов городских режимов. Понятие городского режима и фиксирует неформальные управляющие коалиции, реально принимающие решения и определяющие городскую политику. Вот определение **городского режима**, данное **Кларенсом Стоуном** (1989, 6): **«формальные и неформальные соглашения, на основе которых общественные органы и частные интересы действуют вместе для принятия и исполнения управляющих решений»**. Кстати, свое исследование городской политики Стоун вел опять-таки на примере Атланты (он рассмотрел четыре десятилетия, 1946 – 1988) и понятие городского режима возникло в ходе его попыток описать неформальное партнерство между городским правительством и бизнес – элитой. Городское правительство озабочено сохранением власти, расширением поддержки со стороны общественности. Бизнес-элита, понятно, думает об увеличении прибыли. Городской режим складывается из конфликта между экономической и политической логиками в рамках правящей коалиции. Когда коалиция становится правящей коалицией? В центре коалиции – члены городского правительства. Но их голосования и принятых ими решений недостаточно: для управления городом обычно нужны куда более значительные ресурсы. Вот почему решающими для коалиции являются ресурсы, находящиеся во владении частных лиц, и сотрудничество их владельцев с властями. Взаимные обязательства формальных и неформальных участников коалиции (чиновников, политиков и заинтересованных лиц) – органическая часть реальных соглашений, посредством которых ведется



управление. Так, в Атланте сложился сильный режим, основанный на межрасовой коалиции между белой элитой города и черным средним классом. Стоун подчеркивает, что понятие «правлящей коалиции» указывает на ключевых акторов, осознающих свою ведущую роль и лояльных соглашениям, гарантирующим им их позиции. Но управленческие соглашения выходят за пределы круга «инсайдеров». Какие-то жители города могут знать тех, кто их принимает и пассивно поддерживать принятые решения. Другие могут и не знать и не поддерживать, придерживаясь таких общих принципов, как «нет смысла бороться с городским правительством». Третьи могут сознательно быть в оппозиции, а четвертые прагматически придерживаться взгляда, что поддерживать «лузеров» и «гнать волну» просто неумно. Так что в понятии режима учитываются не только «инсайдеры», но и разная степень приверженности горожан принимаемым решениям и то, как именно с ними консультируются. Соглашения не четко зафиксированы, а их понимание акторами может меняться, так что, предупреждает Стоун, понятие городского режима не надо реифицировать. Это тем более важно, что типы режимов могут различаться даже в одной стране – они могут быть включающими и исключаяющими, расширяться до пределов агломерации городов либо, напротив, сужаться до центрального района.

**Деннис Джад и Пол Кантор (1992)** продолжают дифференциацию городских режимов, выделив **четыре цикла их развития в США**. До 1870-х годов в **городах-антрепренерах** все было под контролем купеческой элиты. До 1930-х годов, в период, когда бурная индустриализация сопровождалась волнами иммиграции, и иммигранты быстро создавали политические организации, бизнес должен был работать с политическими представителями иммигрантов. Это была политика **города машин**. Период 1930–1970 годов – время наибольшего государственного вмешательства. В **коалиции Нового курса** экономическое развитие городов стимулировалось федеральным правительством, и правительство же следило за расширением базы Демократической партии. Когда этнические меньшинства набрали достаточный

вес, этот режим уступил место последнему, который на современном цикле развития способствует **экономическому росту и политическому включению**. В любом случае, теория городского режима позволяет исследовать степень участия бизнеса в городской политике и учесть его мотивацию.

### **Институциональные теории**

В теории города как машины роста, как и в теории городских режимов, правительство – национальное и в особенности городское – не обладает достаточными ресурсами, чтобы быть сильным независимым субъектом власти. Есть, однако, группа теорий, в которых отстаивается тезис о том, что в центре городской политики – формальные политические институты города. У них есть власть, источником легитимности которой является суверенность национальных государств. В основе этой группы теорий лежат идеи Макса Вебера о неразрывной связи современных обществ и административных систем и о власти как о способности личности навязать другим свою волю, изменяющей характер действия в зависимости от типа общества. Традиционное доминирование предполагало установление легитимности правления на основе унаследованной позиции в социальной иерархии и апелляции к прошлому. Харизматическое доминирование вытекало из особых качеств и достижений личности. Наконец, рационально-правовое доминирование основывало свою легитимность на бюрократических навыках и рациональных правилах администрирования. Образованные управленцы мыслились Вебером как ключевые деятели общества современности. Не случайно те английские теоретики, которые именно городское правительство помещают в центр городской политики, называют себя нео-веберианцами. Их американские коллеги относят себя к «правительственному» или «городскому менеджеризму».

Теорию **городского менеджеризма** в 1960–1970-е гг. разработал английский городской социолог **Рэй Пол**. Он понимал город как организованную систему распределения ресурсов, проявляющуюся в идентифицируемых способах организации городского пространства и

неизбежно приводящую к систематическому воспроизводству социального неравенства. Ресурсы: земля, разнообразные виды капитала, здания (коммерческие, промышленные, жилые) и социальные ресурсы (инфраструктура, места отдыха, медицина и образование). Пол предположил, что путь к пониманию логики способов организации городского пространства лежит на пути изучения мотивации и идеологии «городских менеджеров»: работников муниципалитетов, планировщиков, застройщиков, инвесторов, банкиров, риэлтеров, иными словами, и государственных служащих, и владельцев частного капитала. Это они решают, что строить и где, это их вкусы находят воплощение в новых проектах, это они дают разрешение на застройку новых и перестройку старых территорий. Контролируя доступ к часто скудным ресурсам (жилью, образованию), они определяют социопро пространственное распределение населения. Однако Пол посвящает свою книгу демонстрации не их всемогущества, а, напротив, того, что эти люди, в свою очередь подвержены воздействию разнообразных факторов или сил, находящихся вне их контроля. Во-первых, это политические факторы (к примеру, влияние на решения муниципалитетов национальных правительств, в свою очередь, зависящих от международной циркуляции капитала). Во-вторых, это экономические факторы, так сказать, логика рынка, которую не всегда можно учесть и предвидеть в менеджерских решениях. В-третьих, это пространственные факторы. Три из них особенно интересны. Первый можно назвать «упрямством расстояния». Оно проявляется в том, что если одно место в пространстве занято, то поселиться или расположиться можно только по соседству, и так до бесконечности, что делает неизбежной «тиранию расстояния»: пространственное неравенство людей в отношении наиболее привлекательных для жизни мест вытекает из самой логики пространства. Два человека или два коллектива не могут одновременно занимать одно место в пространстве. Второй – «инерция использования»: стихийно сложившийся вариант использования данного места или совокупности мест предопределяет то, как они будут использоваться в будущем. Третий – «конформизм соседства»: то,

как будет использоваться данный участок земли, определяется тем, как уже используется земля вокруг него. Три эти группы «сил» значительно ограничивают возможности и амбиции городских игроков, что побудило Пола описывать их деятельность не в терминах ничем ни ограниченного влияния, но лишь «вмешательства» или «посредничества» в процессах, которые, по большому счету, никто не контролирует (и за которые никто, в конечном счете, не отвечает). Этот ход мысли, независимо от Пола, развивают некоторые сегодняшние политические философы, говоря о невозможности беспроблемного приписывания ответственности за происходящее какому-то ни было одному правителю или властной инстанции: слишком сложным стал мир, слишком тесно переплетены происходящие в нем процессы.

Уже упомянутый в этой главе **Мэтью Кренсон** (1971) рисует, как городское правительство и политические партии сплоченно действуют, чтобы вести политику, не обращаясь к городской общественности и поэтому не принимая в расчет социальные интересы. Английский исследователь **Синтия Кокберн** (1977) также показывает, что слабая или разобщенная городская общественность становится главной причиной, почему городским властям столь легко преследовать лишь свои собственные политические задачи

Эта группа теорий убедительно показывает те моменты разворачивания городской политики, которые особенно ярко проявляются в России. В чем они состоят? Городское правительство совмещает в своей деятельности и экономическую и политическую логику. Экономическая проявляется в том, что правительство – главный «стэйкхолдер» в городской экономике, предоставляя рабочие места и потребляя сервис и товары. Политическая проявляется в изобретательном использовании политических и правовых привилегий. Повсеместно, а не только в России, у правительства их гораздо больше, чем у частного бизнеса. Среди них: право контролировать и ограничивать движение городского транспорта, избирательное зонирование городской земли, право экспроприировать частную собственность для общественных нужд (это фиксируется в понятии *eminent domain* в США и *compulsory purchase* в Англии).

В действия городского правительства существенную сложность привносит тот факт, что центральное правительство, изымая из крупных городов налоги, перекладывает на них ответственность за затраты, в особенности на социальные нужды. Бремя налогового кризиса перекладывается на города, и урбанисты показывают, что самым тяжелым образом оно сказывается на бедных городах, где особенно остра нужда в социальных выплатах.

Налоговые кризисы, которые время от времени захватывают города, зависят от общего состояния экономики. В главе о глобализации уже упоминался налоговый кризис 1970-х годов в Нью-Йорке. В период с 1930 по 1970-е годы городское правительство тратило значительные средства на социальные нужды, серьезно вкладываясь в здравоохранение, образование и т.д., увеличивая расходы на 4–5 % каждый год, начиная с 1945-го года. Между тем городская налоговая база за это время сокращалась с переездом большого числа людей в пригороды. Правительство под давлением политиков занимало деньги у банков, чтобы сохранить рабочие места и бизнесы, все увеличивая долг города, пока Нью-Йорк в 1974–1975 годах полностью не лишился права брать в долг. Управление городскими финансами перешло в руки центрального правительства, 40 тысяч рабочих были уволены, и этот период стал поворотным пунктом в политике большинства западных городских правительств. Уже никогда столь значительные средства не будут направлены на социальные нужды. А зависимость городов от банковских кредитов (так как налоговая база продолжает сокращаться) приводит к тому, что их политика начинает определяться скорее консервативными кредитующими инстанциями, нежели нуждами населения.

## **Городское правительство и городское управление**

В англоязычных дискуссиях о городской политике различают **городское правительство** (*urban government*) и **городское управление** (*urban governance*). Первый термин – **городское правительство** – подчеркивает, что традиционно управление городом велось из единого центра, который сам был встроен в иерархию вышестоящих правительств и воплощал вертикальный принцип управления. Вторым термин куда более сложен, им обозначают **процесс управления городом**, в который вовлечены разнообразные **партнерства**. Он относится к «сетям», вовлеченным в принятие решений и достижение консенсуса. Если управление городской жизнью, ведущееся городским правительством, исходит из одного центра, иерархично и предполагает директивный стиль, то управление городской жизнью со стороны партнерств полицентрично и горизонтально. Другое отличие, которое фиксируют эти термины, заключается в том, что городское правительство более или менее одинаково повсюду, тогда как – в рамках городского управления – конкретное сочетание институтов, которые городское правительство привлекает к принятию решений и от которых просто зависит, может меняться. В любом случае тенденция, которую маркирует само это терминологическое различие, заключается в **расширении числа инстанций, участвующих в управлении городом**: бизнеса, некоммерческих организаций, массмедиа, наднациональных институтов (например, Европейского союза) и т.д. Эти инстанции действуют в целом спектре масштабов. С одной стороны, среди них могут быть внутригородские организации, например, добровольные организации и школы и вузы с элементами самоуправления. С другой стороны, транснациональные корпорации могут обсуждать с городским правительством организацию обучения своего мест или получения концессий при оговоренном объеме их инвестиций. Показателен пример взаимодействия властей испанского города Толедо и корпорации Даймлер Крайслер. Корпорация была освобождена от налога на недвижимость, а шестнадцать местных компаний и восемьдесят семь семей были переселены, чтобы образовалось пространство, достаточное для ее расширения.

Теоретики городского управления – британские географы **Марк Гудвин** и **Джо Пэйнтер** (1996) считают, что у истоков этой тенденции – целый ряд масштабных экономических и политических процессов, которые можно проанализировать с помощью теории регуляции, разработанной группой парижских экономистов в 1970–1980-е годы. В фокусе этой теории – социальные и институциональные попытки справиться с противоречиями и кризисными тенденциями, связанными с накоплением капитала. **Тип регуляции** – центральное понятие этой теории, пытающейся понять, как развитие капитала можно сделать стабильным. Тип регуляции – это (1) сложное сочетание социальных норм, условностей, традиций и законов, помогающих «нормализовать» процесс накопления капитала; (2) институты и практики местного управления. Выделяют фордистский и постфордистский типы регуляции.

В рамках фордистского типа (который в Англии был распространен в течение 1950–1970-х годах) местное правительство, во-первых, строило большие жилые массивы для рабочих, что давало им возможность участвовать в массовом потреблении товаров и тем самым поддерживать рост производства; во-вторых, выделяло масштабные социальные льготы. Экономический кризис, происшедший в 1970-е годы в Англии (как и в США) обусловил серьезные перемены в управлении городами. Национальное правительство в поиске причин кризиса именно на городские правительства возложило за него вину (см. также раздел «Институциональные теории»), что обусловило утрату ими автономии. Если прежде они сами регулировали городское развитие, то отныне стали объектами государственного регулирования. Государство изменило характер городского управления: отныне оно не исходило уже из единого центра. Необходимость предоставлять горожанам услуги, льготы, жилье – все, что прежде составляло ответственность городского правительства, – теперь была распределена между государственными, частными и некоммерческими организациями. Избираемое городское правительство как главный агент

управления перестало существовать, уступив место множеству инстанций городского управления.

Привлекательность разработанной Гудвином и Пэйнтером теоретической рамки в том, что они настроены в каждом конкретном случае отдельно исследовать, произошел ли действительно сдвиг к принципиально иному (постфордистскому) типу регуляции, а также необратим ли сам переход от городского правительства к городскому управлению. Английские городские географы **Роб Имри и Майк Рако** (1999) на примере городов Кардифф и Шеффилд показывают, что между традиционным правительством и новым управлением гораздо больше преемственности, чем хочется думать сторонникам «тотально» децентрализованного горизонтального городского управления. К примеру, недостаток прозрачности столь же присущ новым формам управления, сколь он был присущ и прежним.

Вот две иллюстрации, почерпнутые из работы Гудвина и Пэйнтера. В первой (см. табл. 1) использованы идеи и тезисы как из выступлений управленцев, так и из академических статей. Гудвин и Пэйнтер, еще раз подчеркнем, с ее помощью пытаются оценить размер и характер воздействия на города, оказанного разрушением фордистского типа регуляции. В табл. 2 они конкретизируют эту задачу, формулируя исследовательские вопросы для изучения городского управления. Особенно существенно то, что вопросы сформулированы так, чтобы оценить степень, в какой протекающие изменения взаимодействуют с друг другом и друг друга усиливают. Вместо абстрактного постулирования «идеального» пост-фордистского типа регуляции географы призывают к глубокому качественному и каузальному анализу ситуации в каждом городе.

Таблица 1 **Новые тенденции в управлении городами в Англии**

Объект регулирования	Фордистское управление городами	Новые тенденции
Финансовый	Кейнсианский	Монетаристский



режим		
Организационная структура городского управления	Централизованная. Руководство осуществляет формальное избранное городское правительство	Широкий спектр поставщиков услуг. Множество инстанций местного управления
Менеджмент	Иерархический. Централизованный. Бюрократический	Развитый. «Плоские» иерархии. Ориентированный на результат
Местный рынок труда	Регулируемый. Сегментированный на основе умений	Дерегулированный. Рынок дуального труда*
Процесс труда	Низкотехнологический Трудозатратный. Низкая производительность	Высокотехнологический (основанный на информации) Капиталозатратный. Возможно повышение производительности труда
Трудовые отношения	Коллективистские. Переговоры с работодателями на национальном уровне Регулируемые	Индивидуализированные Переговоры с работодателями на уровне города и индивидуальные «Гибкие»
Форма потребления	Универсальное Коллективные права	Конкретные группы покупателей Индивидуализированные «контракты»
Природа предоставляемых услуг	Обусловлена городскими нуждами. Их спектр можно расширить	Обусловлена установленными законодательством, нормативами. Ограниченный спектр
Идеология	Социально-демократическая	Неолиберальная
Ключевой дискурс	Технократический/менеджериалистский	Антрепренерский/дающий возможности
Политическая форма	Корпоратистская	Неокорпоратистская (исключены профсоюзы и другие организации, отстаивающие права трудящихся)
Экономические цели	Обеспечение полной занятости. Экономическая модернизация, основанная на техническом прогрессе и государственных капиталовложениях	Обеспечение частной выгоды Экономическая модернизация, основанная на «гибкой» экономике, предусматривающей наем

\* Теория рынка дуального труда основана на разделении экономики на первичный и вторичный секторы, т. е. секторы с высоко- и низкооплачиваемыми профессиями, что близко различению формальной и неформальной экономики. Занятые во вторичном секторе – обычно временно нанятые люди, не имеющие перспектив карьерного роста, их зарплата определяется рыночной ситуацией. Сюда входят низкоквалифицированные работники, вне зависимости от того, заняты они физическим трудом, офисной работой или сервисом. Низкая квалификация, низкий заработок, отсутствие какой-то связи с опытом или образованием работника, временность работы – вот, что их всех объединяет.

		большого количества низкоквалифицированных работников за низкую зарплату
Социальные цели	Прогрессивное перераспределение/социальная справедливость	Частное потребление/активное население

**Таблица 2 Новые тенденции в управлении городами в Англии и связанные с ними исследовательские вопросы**

Объект регулирования	Новые тенденции	Исследовательские вопросы для каждого города
Организационная структура городского управления	Широкий спектр поставщиков услуг. Множество инстанций местного управления	Какие организации вовлечены в производство и распределение и каких городских общественных нужд (услуг)? Например, частные компании, городские власти, волонтерские организации
Менеджмент	Развитый. «Плоские» иерархии. Ориентированный на результат	Какие новые формы менеджмента вводятся? Удалось ли децентрализовать бюрократические иерархии?
Местный рынок труда	Дерегулированный Рынок дуального труда	Как изменилась регуляция рынка труда? В какой степени рынок труда разделен на ядро и периферию?
Процесс труда	Высокотехнологический (основанный на информации). Капиталозатратный. Возможно повышение производительности труда	Какие вводятся формы технических изменений и инноваций? Как именно выросла производительность труда?
Трудовые отношения	Индивидуализированные. Переговоры с работодателями на уровне города и индивидуальные. «Гибкие»	Сменились ли переговоры с работодателями на национальном уровне на переговоры с работодателями на уровне города и индивидуальные? Введены ли новые структуры оплаты и формы компенсации?
Форма потребления	Конкретные группы покупателей. Индивидуализированные «контракты»	Изменились ли связанные с услугами льготы? Введена ли ориентация на обслуживание покупателей?
Природа	Обусловлена установленными	Сокращены ли предоставляемые

предоставляемых услуг	законодательством нормативами. Ограниченный спектр	услуги и изменен ли их характер?
Идеология	Неолиберальная	Каковы политические взгляды и мотивы лиц, принимающих решения в городах?
Ключевой дискурс	Антрепренерский/дающий возможности	Каковы ключевые дискурсы, определяющие принятие решений в городах?
Политическая форма	Неокорпоратистская (исключены профсоюзы и другие организации, отстаивающие права трудящихся)	Какие классовые и иные альянсы характерны для городской политики?
Экономические цели	Обеспечение частной выгоды. Экономическая модернизация, основанная на «гибкой» экономике, предусматривающей наем большого количества низкоквалифицированных работников за низкую зарплату	Каковы главные цели стратегического планирования и городского развития инстанций городского управления?
Социальные цели	Частное потребление/активное население	Каковы принципиальные социальные цели инстанций городского управления?

Как видно из приводимых таблиц, исчезновение фордистского типа регуляции – не единственный фактор, приводящий к поиску других принципов городского управления. Невозможность продолжения фордистского управления в свою очередь вызывается глобализацией. Правительства часто сами всячески поощряют соревнование между городами за ресурсы, вызывая тем самым явление «нового локализма», когда местные власти готовы как угодно продвигать свои территории на национальном и глобальном рынке. Если в рамках фордистского типа регуляции социальные льготы были связаны с правом каждого индивида на минимальные жизненные стандарты, то при «пост-фордизме» они увязаны с успешностью экономического развития страны в целом и данного города. Так что в разных городах складываются разные системы предоставления льгот: в городах, которым «повезло», т. е. экономические ресурсы которых востребованы мировой экономикой, у населения больше шансов не страдать от де-регуляции. И наоборот: власти «депрессивных» городов часто оставлены на произвол судьбы центральными правительствами, потому что им нечего предложить национальной и тем более мировой экономике. В то же время механизмы регуляции городского развития,

осуществляемые центральным правительством, по-разному воспринимаются и используются на местах. Неравномерность развития городов возрастает еще и по этой причине.

В рамках фордисткого типа регуляции государство было озабочено сокращением неравномерности развития: возводились новые города, утверждались стратегии развития городов и инфраструктуры, ресурсы перераспределялись между регионами. Ему на смену приходит иной подход: устранением наихудших последствий неравномерного развития сегодня никто всерьез не озабочен. Города, повторим, должны соревноваться за получение центральных ресурсов. А «центр» побуждает города самостоятельно привлекать инвестиции, создавать рабочие места – нередко за счет уровня жизни людей. В итоге система регулирования отличается крайней географической неравномерностью.

### **Городская политика и глобализация**

Изменения, привнесенные в городскую политику глобализацией, заключаются в усилении соревнования между городами. На первый план поэтому выходит тот тип городского режима, что выделил еще один ключевой теоретик городских режимов **Стюарт Элкин (1987) – предпринимательский**. Другие два выделенные им типа – федеральный и плюралистский (см. отличный разбор типологии Элкина в статье В. Г. Ледяева, (2006, 6 – 8)). Возможности установления прочных связей с глобальной экономикой лежат на пути усиления неолиберальной линии политики, и прежде всего – резкого сокращения социальной политики и ускорения приватизации. Национальные и местные особенности охоты за глобальным капиталом могут различаться, значит, будет отличаться и характер влияния глобализации на тот или иной город.

Степень участия российских городов в соревновании за международные и федеральные ресурсы, понятно, отличается, но в любом случае экономическое

пространство, в котором они сегодня обитают, сильно изменилось. Когда решается, в каком городе пройдет следующая встреча, скажем, Шанхайской организации сотрудничества, когда менеджмент еще одного автомобильного гиганта прикидывает, где именно в России возвести завод, когда очередной европейский банк затевает открытие здесь своих филиалов, когда ведутся переговоры между агентами совершающей мировой тур поп-звезды и российскими организаторами гастролей – в подобных и множестве других ситуаций такие метафоры, как **соревнование городов** или поиск ими своей **ниши на международном рынке**, весьма насущны. Капитал может прийти в этот город, а может прийти и совсем в другой: каждый знает, что уж если что сегодня и отличается безграничной мобильностью, так это именно капитал. Чтобы его взор остановился на этом, а не другом городе, недостаточно усилий только городских властей. Они могут понимать, что без развитой инфраструктуры, налоговых послаблений, проработанного законодательства деньги в город не придут, но понимают и другое: для увеличения собственной привлекательности нужны, как у нас говорят, дополнительные средства, которые городская экономика сгенерировать не может. Помимо изощренного лоббирования наверху, которое можно также понимать как соревнование за выгодное положение в пространственном разделении труда в рамках страны, идет еще пресловутая борьба за потребителя. Зарубежные инвесторы, во-первых, свое правительство с федеральными ресурсами, во-вторых, и, в-третьих, потребители – вот три источника и составных части состоятельной городской экономики, за которые постоянно приходится конкурировать. Значимость символической составляющей мирового капитала проявляется на уровне городов в том, что средства, добытые в сражениях на всех трех фронтах, нередко направляются на проекты, призванные «поднять престиж». Чей престиж реально поднимают разнообразные высотные здания, фестивали, чемпионаты, конференции политических партий остается для многих большим вопросом. Гигантизм, которым были одержимы управленцы и идеологи советских времен – проклятье времен постсоветских.

Иной глава города сегодня перечисляет строящиеся отели, консульства и представительства западных компаний с теми же интонациями и гордостью, с какой его предшественник (а подчас и он сам) рапортовал о тоннах стали и проката. Но понятийная рамка, в которой его речи циркулируют, существенно поменялась: речь уже не идет о народном хозяйстве великой страны. Речь идет о мировом рынке, в котором город обоснованно надеется занять подходящую нишу. Город – в лице городских властей – поэтому занимается «маркетингом» самого себя как товара, на который стоит потратиться, вложив в него средства (об этом еще идет речь в теме «Глобализация и город»). Рассуждения о городе как компании и бренде сегодня весьма и весьма многочисленны (Ермолаева, 2006):

Каждый город можно сравнить с компанией, которая более или менее успешно продвигает свои услуги потребителям. По мнению бизнесменов, принявших участие в Экономическом совете Новосибирска, город пока не вполне преуспел в разработке и внедрении маркетинговой стратегии. Это приводит к отставанию в сфере деvelopeмента и привлечения инвестиций.

Воздействие глобализации на развитие городов имеет серьезные социальные последствия. Привычные нам по теоретическим работам выражения «утверждение демократии на местах», «местное самоуправление» и т. д. сами по себе сегодня становятся проблематичными. Английский специалист по гражданскому участию в городской политике **Вивьен Лаундис** (1995) говорит, что традиционно «на местах» люди вступали в контакт с политиками или служащими муниципалитетов, получали льготы и являлись членами сообществ. Само понятие гражданства (по крайней мере, в западных странах) было тесно связано с членством человека в местном сообществе и его идентификации с ним. Политическое участие тоже осуществлялось на местном уровне. Что же меняется сегодня? Понятие «местного» используется разными

политическими (часто не местными) силами с противоречивыми целями. О местном самоуправлении и необходимости его развития говорят сегодня представители Всемирного банка, ООН, Государственного агентства США по международному развитию. Это понятие используется и для легитимации центральной власти и оправдания неолиберальной политики, для оправдания статус-кво и кооптации «гибких» местных лидеров. Городской режим должен потому стать двусторонним управляющим органом – посредником между государством, национальными и международными организациями, с одной стороны, и местными жителями и организациями, с другой. И это городской режим может определять степень и характер взаимодействия горожан с «глобальным обществом», тем более что пока еще не ясно, способствует ли глобализация распространению демократических ценностей или, напротив, поощряет более жесткую регуляцию жизни людей правительствами.

Реакция городских правительств на процессы глобализации описана рядом исследователей (**Эрик Суигенду, Боб Джессоп**) как **«новый локализм»**.

Предпринимательский городской режим, как явствует из его названия, выводит предпринимательскую деятельность городских партнерств на первый план, подчиняя себе остальные стороны их политики: экономическая логика подчиняет себе политическую логику. Создание и увеличение городских активов мыслится как самый надежный путь включения города в международное разделение труда. Растут альянсы мэров, муниципалитетов, владельцев недвижимости и иного динамичного бизнеса, представляя собой коалиции роста. При этом и элитистские теории и теории городских режимов, кажется, одинаково хорошо описывают происходящее: часто одновременно действуют и харизматичный мэр или политик, собравший под своим руководством сплоченную команду, и несколько «кластеров власти», контролирующих различные сферы городской жизни. Кооперация официальных и неофициальных властителей оказывается жизненно необходимой, чтобы развитие города было динамичным и чтобы было можно продвигать город как создающий благоприятный климат для бизнеса и

торговли. «Новый локализм» проявляется в том, что почти каждый город хочет занимать заметное место на карте глобализации, а потому печатает рекламные брошюры и постеры, создает веб-сайты, пестрящие фотографиями гостиниц, конференционных центров, аэропортов. На эти фотографии никогда не попадают промзоны и спальные районы, районные больницы и старые автобусы.

Городские власти избирательно манипулируют символическими ресурсами, занимаясь **имиджинингом** (*imageeering*). Этот термин придумал американский географ **Чарльз Рутгейзер** в книге (1996) о том, как городские власти Атланты «продавали» город в канун и во время Олимпийских игр 1996 года. Городской Олимпийский комитет и ряд частных компаний провозгласили Атланту «городом мирового класса», «мировой столицей прав человека» и «городом, который слишком занят, чтобы поощрять ненависть» (1996, 227-231). Критики участия Атланты в соревновании за право стать городом Олимпиады обвинялись в недостатке духа кооперации. Мэр города обвинял критиков в том, что они хотят слишком многого, настаивая на продуманной социальной политике властей. Рутгейзер показал, что проведение Олимпиады в Атланте усилило социальные проблемы, углубило существующий разрыв между белыми и черными, богатыми и бедными. Городские активисты пытались убедить власти «показать человеческое лицо города» во время Олимпиады, построив достаточное число приютов для бездомных и придумав, куда деть людей из перестраиваемых районов. О социальной цене проведенного в городе события говорят такие цифры: 15 тыс. человек выселены из жилых районов, 9 500 доступных квартир было потеряно, 350 млн долларов из городского бюджета вместо социальных нужд было направлено на нужды Олимпиады. Так что понятия Олимпийского духа, космополитизма, нового слова в строительстве городов и т. д, которыми авторы пропагандистских брошюр объясняли, почему Олимпиада столь важна для городского развития, только закрывали от глаз мира реальные городские проблемы.



Маркетинг мест городскими властями сопровождается строительством новых городских кварталов и зданий – эмблем, свидетельствующих о передовых взглядах властей и инновационном потенциале городов. Названия этих кварталов и зданий синекдохически становятся воплощением глобальных амбиций властей, будь это парижская Ла Дефанс, лондонский Кэнери Уорф или Бэттери Парк в Нью-Йорке.

### Городские социальные движения

Обсуждая городскую политику «снизу», мы опять сталкиваемся с вопросом о том, как отделить именно городские движения от тех, что носят более широкий смысл. К примеру, многим памятно движение за гражданские права 1960-х годов в США и Европе. Этнические и сексуальные меньшинства, женщины и иммигранты – многие прежде слабо представленные в публичной сфере социальные группы, именно тогда заговорили в полный голос. Как связаны эти движения и города? Тогда городские **улицы и общественное пространство** городов стали местом **массовых** протестов. Улицы европейских и американских городов и прежде были свидетелями протестов, но 1960-е годы вывели на арену общественного внимания новые субъекты политики. Такими были «сквоттеры», занимавшие заброшенные дома, участники союзов жильцов и забастовок против повышения арендной платы, «отвоевывавшие улицы» феминистки, боровшиеся против расовой сегрегации афроамериканцы.

Вдохновение и надежда людей в ту пору были настолько велики, что это не могло не отразиться в замечательных урбанистических книгах. Французский неомарксист **Анри Лефевр** провозгласил **право на город** (1968 франц. изд., 1996 англ. перевод). Каждая социальная группа имеет право включиться в процесс принятия решений, связанных с организацией социального пространства. Право на город – это право не быть исключенным из общественного пространства городского центра либо жилых районов. Лефевр протестует против способов, какими профессионалы-планировщики и городские бюрократы создают городское пространство с тем, чтобы свести к

минимуму спонтанные политические действия и нейтрализовать возможное сопротивление. Испано-американский социолог **Мануэль Кастельс**, сам принимавший участие во французских волнениях 1968 года и высланный за это из страны, написал «Город и массовое движение» (1983). Он попытался сконструировать теорию городских социальных движений как часть теории изменения города. Город складывается и изменяется в силу конфликта различных социальных групп (классовых, этнических, гендерных). Кастельс понимал городские социальные движения как сильные межклассовые союзы, возникшие вокруг проблем коллективного потребления городских ресурсов. Они всегда, считает Кастельс, являлись источником складывания формы и структуры города, но во второй половине XX века это влияние стало особенно значимым. Основываясь на вторичных источниках, Кастельс рассматривает многочисленные случаи городской социальной борьбы: от роли городов в кризисе испанского государства в XVI веке до городских волнений 1960-х годов в США. Кастельс рассматривает борьбу за доступное жилье и деятельность профсоюзов в Париже, движения сквоттеров в Перу, Мексике и Чили, местные сообщества Испании. Как он пишет, его целью была не разработка какой-то универсальной теоретической рамки, но (1983, 335) «нахождение источников исторических структур и городских смыслов... чтобы вскрыть сложные механизмы взаимодействия между различными и конфликтующими источниками воспроизводства и изменения города». Ценность этой книги, на мой взгляд, – в демонстрации сложных взаимосвязей между сознательными действиями людей, стихийными проявлениями недовольства и ограничениями, которые на них накладывают существующие структуры, а также в невозможности создания универсальной теории, которая подытожила бы причинные связи урбанизации.

Эта книга важна еще тем, что существенно корректирует **героические** образы городского активизма, которыми напичканы головы постсоветских читателей – от Гавроша В. Гюго и Стены коммунаров до кадров ТВ новостей, показывающих многолюдные демонстрации на улицах европейских городов.

Кастельс показывает, что ни разу, несмотря на некоторый успех, участникам движений не удалось добиться своих целей. Дело в том, считает он, что битва низов тогда выиграна, когда задеты интересы правящего класса. Что же, как правило, происходит в истории? Забастовка в Глазго 1915 года, когда рабочие протестовали против низкой зарплаты и высокой цены на жилье, закончилась тем, что государство объявило о жилищной реформе. Трудящиеся массы вроде бы выиграли, но и правящий класс не пострадал (1983, 37). Подобным же образом итогом волнений в США в 1960-е годы стала разработка редистрибутивных федеральных программ, увеличение социальных льгот. С другой стороны, в лексикон полиции вошло выражение «максимально возможное число участников», обозначающее степень активности местного сообщества в ответ на призывы движения борьбы за гражданские права. Кастельс отмечает, что социальные реформы были эпизодическими, часто ограничиваясь теми регионами, где волнения были особенно сильными, что в итоге этих волнений политический климат Америки стал еще более консервативным, чем до них. В других случаях, как, например волнения в Сан-Франциско, Мишн Дистрикт, неуспех движения был обусловлен неспособностью его главных участников – геев, латиноамериканских иммигрантов и бездомных договориться об общих целях.

Английский урбанист **Кристофер Пиквансе** (1985) разработал **типологию городских социальных движений**, основанную на предмете борьбы горожан. Он выделил четыре таких предмета оспаривания: (1) выделение жилья и услуг; (2) доступ к жилью и услугам; (3) контроль и управление городской средой; (4) социальные и экологические угрозы. Понятно, что участники соответствующих движений могут пересекаться. Он предупреждает о возможности манипуляции идеями социальной справедливости со стороны различных политических сил и допускает возможность альянса между активистами низовых движений и политическими партиями. Пиквансе также предлагает свою версию ответа на приведенный выше вопрос о том, когда же социальные движения делаются именно

городскими? С его точки зрения, должны, во-первых, иметь место именно местные политические движения; во-вторых, участники движений должны жить недалеко друг от друга; в-третьих (этот критерий сформулировал Кастельс) должен подниматься вопрос коллективного потребления благ городской жизни (транспорта, жилья, здравоохранения и т. д.). Вряд ли это удовлетворительные критерии. Другая имеющаяся на этот счет литература убеждает, что здесь, как и в других вопросах, которыми задается урбанистика, нужен анализ конкретных случаев, объясняющий, почему именно в этих местах с такой-то конфигурацией политических и экономических тенденций возникли конфликты. Часто происходят конфликты между планировщиками и девелоперами и активистами местных сообществ, которые – против новых масштабных проектов. Не менее часты конфликты между владельцами квартирных комплексов и их жильцами по поводу повышения арендной платы.

Однако все чаще и чаще приходится задумываться о том, как в сегодняшнем разобщенном мире, где не осталось, кажется, никаких коллективов – ни на работе, ни по месту жительства – можно вообще помыслить целенаправленную деятельность местных сообществ?

Американско-канадские социальные теоретики и городские политические активисты (они называют себя организаторами местных сообществ) **Кэтрин Черч и Эрик Шраге** (2008) описывают различные коалиции политиков, групп интересов и местных сообществ, сложившиеся в Канаде и Америке, начиная с 1960-х годов. В частности, они рассматривают партнерства, практикующие так называемый социальный маркетинг, т. е. использование частного сектора для продвижения деятельности местных сообществ. Они демонстрируют ту тенденцию, что само функционирование организаций по месту жительства нередко зависит от государственной поддержки. Так, в 1993 году американское правительство создало программу Зоны возможностей (*Empowerment Zone*), нацеленное на развитие ресурсов местных сообществ и сокращение бедности. У программы четыре элемента: (1) географически определенная цель – сообщество; (2) основанное на данном сообществе стратегическое

планирование; (3) участие сообщества в управлении программой; (4) всестороннее развитие сообщества (т. е. развитие физической инфраструктуры района, экономики и человеческих ресурсов). Таким образом было частично компенсировано исчезновение масштабных социальных программ из повестки дня федерального правительства (таких, как жилищная реформа или реформа здравоохранения). Вместо этого сообщество, ожидается, само должно нести ответственность за собственное возрождение – с помощью осуществляемых на местах программ центрального правительства. Так, развернута кампания по экономическому развитию местных сообществ (CED – *community economic development*). Ее цель – сократить размер бедности через обучение, переобучение и создание рабочих мест, поддержка мелкого бизнеса, нанимающего долгое время остающихся без работы жителей, кредиты на поддержание местных инициатив. Опыт ее участников показывает, что, в конечном счете, инвестиции определяются интересами рынка, по нарастающей становящимся международным, а потому тех, кто принимают соответствующие решения о развитии территории данного города или района, мало заботит то, как они отзовутся «на местах». «Идеологическая» же сложность состоит в том, что ее участники понимают: государство, по сути, перекладывает ответственность за социальное обеспечение не вписавшихся в новую экономику людей на плечи их самих, призывая обитателей бедных кварталов самих стать предпринимателями и обеспечить себя пристойным жильем и всем прочим. Но ряд инициатив, предполагающих партнерство работодателей, правительства и обездоленных людей, все же выглядит очень вдохновляющим.

Они были исследованы канадской сетью исследователей и активистов местных сообществ (NALL), вместе работающими в рамках сорока проектов по организации неформального обучения людей, вытесненных с рынка труда в организациях местных сообществ (к примеру, людей, прошедших лечение в психиатрических лечебницах или людей, работающих на дому). Кэтрин Черч выделяет три вида такого обучения. Первое – «организационное», т. е. способы, какими местные организации позиционируют себя в рамках

предпринимательской культуры, придумывают программы, одновременно способные получить финансовую поддержку и нацеленные на социальную и экономическую справедливость. Проходящие такое обучение активисты учатся специфическому жаргону, используемому в современных спонсорских организациях, где вместо старого выражения «защита интересов обездоленных через обучение» предпочитают слышать «общественное образование» и т. д). Второе – «обучение солидарности». Все подобные организации обучают участников тому, как найти для себя нишу на рынке труда или создать для себя альтернативный рынок. Солидарность проявляется на встречах, где время от времени собирают (обычно изолированных) участников программ: те сами делятся друг с другом опытом, как более эффективно вести переговоры с работодателями. Третий вид обучения – «самопереопределение», связанное с овладением новыми навыками, а значит, и возможностями, которые оно открывает на рынке труда. Черч анализирует новые возможности местных организаций по посредничеству между правительством и мелким бизнесом и показывает, насколько эти организации уязвимы в силу их зависимости от правительственного финансирования и в целом включенности в сложную и противоречивую систему зависимостей: финансовой (от правительства) и социально-моральной (от членов местных сообществ).

Этот анализ позволяет нам сформулировать главный итог рассмотрения современных городских политики и управления: они имеют место, но испытывают беспрецедентное влияние внешних сил.

## ЛИТЕРАТУРА

*Глазычев В.Л.* Провинциальная Россия. – М.: Новое издательство, 2003.

*Ермолаева, Е.* (2006) Город как компания//Газета «Континент Сибирь», 2006, 5 мая. [Электронный ресурс] <http://com.sibpress.ru/05.05.2006/realty/76611/>

*Ледяев В.Г.* Модели эмпирического исследования власти: западный опыт // Власть и элиты в российской трансформации: Сб. научных статей / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2005. С. 65–79.

*Ледяев В.Г., Ледяева О.М.* Позиционный метод в эмпирических исследованиях власти в городских общностях // Элитизм в России: за и против / Под общ. ред. В.П. Мохова. Пермь: Пермский государственный технологический университет. С. 134-140.

*Ледяев В.Г.* Кто правит? Дискуссия вокруг концепции власти Роберта Дала // Социологический журнал. 2002. № 3. С. 31-68.

*Ледяев В.Г., Ледяева О.М.* Репутационный метод в эмпирических исследованиях власти в городских общностях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. № 4. С. 164-177.

*Ледяев В.Г.* Социология власти: теория городских политических режимов // Социологический журнал. 2006. № 3-4. С. 46-68.

*Ледяев В.Г.* Эмпирическая социология власти: теория “машин роста” // Власть, государство и элиты в современном обществе /Под ред. А.В. Дуки и В.П. Мохова. Пермь: Пермский государственный технологический университет, 2005. С. 5-23.

*Castells, M.* The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley: University of California Press, 1983.

*Church, K., Bascia, N., Shragge, E.* (Eds) Learning Through Community: Exploring Participatory Practices. Dordrecht, Springer, 2008.

*Bahrach, P., Baratz, M.* “Two faces of Power”// American Political Science Review. 1962. No. 56. P.947-52.

*Banfield, E.* Political Influence. Glencoe: Free Press, 1961.

*Crenson, M. A.* The Unpolitics of Air Pollution: a Study of Non-Decision Making in the Cities. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1971.

*Cockburn, C.* The Local State. London, Pluto Press, 1977.

*Dahl, R.* Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press, 1961.

*Elkin, S.* City and Regime in the American Republic. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

*Ferman, B.* Challenging the Growth Machine: Neighborhood Politics in Chicago and Pittsburgh. Lawrence: University Press of Kansas, 1996.

*Hunter, F.* Community Power Structure: A Study of Decision Makers. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1953.

Goodwin, M., Painter, J. "Local Governance, the Crises of Fordism. and the Changing Geographies of Regulation"//Transactions of the Institute of British Geographers. 1996. Vol. 21. No. 4. P. 635-648.

*Imrie, R., Raco, M.* How New is the New Local Governance? Lessons from the United Kingdom //Transactions of the Institute of British Geographers. New Series.1999. No. 24. P. 45-64.

*Judd D., Kantor P.* (Eds) Enduring Tensions in Urban Politics. New York : Macmillan Publishing Company, 1992.

*Lawrence, B. F.* Challenging the Growth Machine : Neighborhood Politics in Chicago and Pittsburgh. Lawrence: University Press of Kansas, 1996.

*Lefebvre, H.* Writing on Cities. Cambridge, MA: Blackwell, 1996.

*Lefebvre, H.* The Production of Space. Trans. D. Nicholson-Smith. Oxford, UK: Blackwell, 1991.

*Logan, J.R., Molotch, H.R.* Urban Fortunes: The Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.

*Lowndes, V.* Citizenship and Urban Politics // Theories of urban politics / Ed. by D. Judge, G. Stoker, H. Wolman. London: Sage, 1995. P.160 -180.

*Lynd, R., Lynd, H.* Middletown: A Study in Contemporary American Culture. New York: Harcourt, Brace, and Company, 1929.

*Lynd, R., Lynd, H.* Middletown in Transition. A Study in Cultural Conflicts. New York: Harcourt, Brace, and Company, 1937.

*Molotch, H.R.* The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place"// American Journal of Sociology. 1976.Vol. 82. No. 2. P. 309-355.

*Pahl, R.* Whose City? Harmondsworth: Penguin, 1975.

*Pickvance, C.* The Rise and Fall or Urban Movements and the Role of Comparative Analysis// Environment and Planning D. Society and Space. 1985. No. 3. P. 31-53.



*Peterson, P.* City Limits. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

*Polsby, N.W.* Community Power and Political Theory (2 ed). New Haven, CT: Yale University Press, 1980.

*Rutheiser, Ch.* Imagineering Atlanta. The Politics of Place in the City of Dreams. London and New York: Verso, 1996.

*Stone, C.* Regime Politics: Governing Atlanta 1946-1988. Lawrence: University Press of Kansas, 1989.

## **ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ГОРОДЕ**

Ключевая идея теорий, имеющих дело с городскими различиями, в том, что различия не только создаются городской жизнью, но и сами создают город. Отсюда – многочисленные характеристики города как места встречи с другими, как места, где городской обитатель всегда – в присутствии тех, кто на него не похож. Не случайно метрополисы в США и Европе издавна сравниваются с гигантскими машинами либо обслуживающими механизмами, плавильными тиглями и системами очистки, тюрьмами и убежищами. Во всех этих случаях город воображается в качестве микрокосма всего общества, содержащего все его разнообразные элементы и удерживающего их вместе в динамическом равновесии. С XVIII века городу приписывалась магия, особая химия его функционирования, в которой различные социальные элементы (классы и этнические группы) превращаются в новую городскую публику, где создается общая космополитическая культура. Переживание города его обитателем включает опыт столкновения, пусть мимолетного, с людьми, отличающимися от него расово, этнически, классово и т. д. Интенсивность городской жизни образует и то, что люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, люди различных сексуальных ориентаций, словом, все «отличающиеся» люди, не только резонно считают город своим, но и хотят, чтобы с их нуждами

считались. Вопрос о том, «что делать» с городским разнообразием, издавна входил в число забот планировщиков, политиков, интеллектуалов.

Разнообразие мыслится как такая характеристика города, которая увеличивает его функциональность. Многосторонность обитателей города – предпосылка наивысших человеческих достижений, неслучайно теоретики ратуют за приоритет разнообразия в планировании городов, настаивая на том, чтобы проектируемое городское пространство поощряло ежедневное смешение людей, социальных групп, практик.

Мы вначале рассмотрим издавна сложившиеся взгляды на различия, затем подытожим литературу о городском разнообразии, вышедшую в период массового переезда в пригороды, обратимся к обсуждению миграции в города и разберем литературу о социальном неравенстве.

### **Многочисленное разнообразие: Луис Уирт vs. Аристотель**

Каким образом разнообразие понималось в классических теориях? Для них, напомним, было характерно стремление построить универсальную модель города. Классик чикагской школы **Луис Уирт** предложил для такой модели три переменных. Это (а) размер населения, (б) плотность заселения, (в) разнородность обитателей и групп. Таким образом сосуществование в городе различных людей и социальных групп – это константа урбанизма. Тезис о непрерывности генеалогии городов, заметим, воспроизводится и в послевоенной урбанистике вплоть до сегодняшнего дня. Любой город, стало быть, подпадает под сформулированное Уиртом «минимальное» определение: относительно большое, постоянное и плотно заселенное поселение социально разнородных индивидов.

Свою теорию урбанизма Луис Уирт начинает с отсылки к античному мыслителю (1996, 99):

Со времен «Политики» **Аристотеля** признано, что увеличение числа обитателей поселения свыше определенного предела повлияет на отношения между ними и на характер города. Большие числа предполагают, как подчеркивается, больший размах индивидуальных вариаций. Далее, чем больше число индивидов, участвующих в процессе взаимодействия, тем значительнее потенциальные различия между ними.

Апелляция к Аристотелю неслучайна: социолог нацелен на удержание универсального смысла города, как он сложился во времена расцвета Афин. Полис – город-государство – особая форма социально-экономической и политической организации общества, по-видимому, привлекал Уирта нерасторжимостью социального порядка и географического пространства.

Остановимся на «Политике» Аристотеля и кратко сравним универсалистское видение города, присущее тому и другому мыслителю. Логика, которую инициировал Аристотель, состоит в том, что город создается правителями в соответствии с рядом параметров. Государственный деятель сравнивается с ткачом или кораблестроителем: лучше материал – достойнее результат. Поскольку материал законодателя – «совокупность граждан», то вопросы о том, «как велико должно быть их количество и какие они должны иметь природные качества» (Аристотель, 1984, Pol. VII. 4. 1326 а. 5), приобретают первостепенную важность. «Мера» – вот, чем руководствуется Аристотель, отвергая крайности малочисленности и перенаселенности. Идеальный размер проектируемого сообщества задан критериями *слышимости* (голос глашатая должны слышать все) и *знания* гражданами друг друга (чтобы должности доставались достойным).

Что же получается, если городское население разрастается сверх этой меры? Ничего хорошего. Город оказывается не в состоянии выполнять свои функции, а права гражданства *присваиваются* «иноземцами и метеками», затерявшимися в избыточном населении. Вообще, современного читателя по мере чтения Аристотеля по нарастающей преследует призрак фукианского Паноптикума: «легкую обозримость» населения вводит мыслитель в качестве предела для разрастания государства, простодушно поясняя: «Пребывание на

глазах у должностных лиц особенно внушает истинный стыд и страх, свойственный свободным людям» (Pol. VII, 11, 1331 а, 40). Городское пространство организовано строго иерархически. Пространственную и ценностную вершину иерархии образуют «удобно объединенные» здания «для культа и здания для сисситий главнейших должностных лиц». Эти здания должны иметь подобающий, соответствующий их назначению вид и быть «более укрепленными сравнительно с соседними частями города» (Pol. VII, 11, 1331 а, 35). Ниже следует «свободная площадь», свободная в том смысле, что торговля на ней запрещена, и «ни ремесленники, ни землепашцы, ни кто-либо иной из подобного рода людей не имеет права ступать на нее, если его не вызывают должностные лица».

«Политика» – *locus classicus* аргумента о том, что полис, который «по природе предшествует каждому человеку» (Pol. I, 9, 1253а, 25) – воплощение и условие совокупного усилия по созданию всего, в чем нуждаются люди. Полис представлял, во-первых, единую политическую систему, энергия которой концентрировалась в пределах городских стен, и, во-вторых, экономическую конструкцию, позволяющую соединять ресурсы, необходимые для поддержания и улучшения жизни. Существовая как часть сложной международной системы городов-государств, полис должен был отражать угрозу как извне, так и изнутри... В «Политике» Аристотель делает набросок своей геополитики, согласно которой великая Греция призвана властвовать над негреческими народами, и формулирует расистское оправдание рабства: по природе для греков плохо быть поработченными, и по природе же греки могут поработать кого угодно: «одни люди повсюду рабы, другие нигде таковыми не бывают» (Pol. I, 18, 1255а, 30). В то же время, «Политика» написана в полной уверенности в существовании того, что Макс Вебер называл нравственно ориентированным космосом – миром, воплощающим или, по крайней мере, стремящимся к воплощению блага. В «Политике» сквозит также и уверенность, что если в материальной форме античного полюса целостно сконцентрировано

все ценное, произведенное и придуманное людьми, то как таковой он существует «ради достижения благой жизни» (Pol. I, 8, 1253a, 30).

Уирт, следуя «системному» видению Аристотеля, когда обсуждается возможность равновесия между ключевыми компонентами города, далек как от аристотелевского натурализма, так и от этической уверенности античного мыслителя в принципиальной ориентированности социальной реальности на добро. Классик чикагской школы, стремясь к систематическому представлению имеющегося знания о городе как социальном образовании, прагматически интересовался тем, что лежит в основе экономики и культуры города – «элементы урбанизма, отличающие его как тип коллективной жизни». Аристотель активно соединял только первую и третью характеристики города – размер и разнородность: «в состав государства не только входят отдельные многочисленные люди, но они еще и различаются между собой по своим качествам (*eidei*), ведь элементы, образующие государство, не могут быть одинаковы» (Pol. II, 4, 1261a, 25). Противопоставляя полис союзам военному и племенному мыслитель убежден: «То, из чего составляется единство, включает в себе различие по качеству» (Pol. II, 4, 1261a, 30). И в другом месте: «Невозможно всем гражданам быть одинаковыми» (Pol. III, 2, 1277a, 40).

Различия горожан, значимые для Аристотеля, носят прежде всего экономический характер («отличия, обуславливаемые богатством»): «...одни семьи, конечно, бывают состоятельными, другие – бедными, третьи имеют средний достаток» (Pol. III, 1, 1289b, 30-35), «знатные в свою очередь различаются по богатству, благородству происхождения, добродетели, образованию и тому подобным отличительным признакам» (Pol. IV, 1, 1291 b, 30). Различия, на которых концентрируется Уирт, – те, что, напротив, ломают жесткие кастовые деления, усложняют имеющуюся классовую структуру, порождая в итоге куда более сложную систему социальной стратификации, нежели та, что имела в ранних типах общества.

«Упорядоченная и связная теоретическая рамка, с которой могло бы начаться исследование», – вот, чем озабочен Уирт. Стратегия ее создания – дать

исследователю возможность анализировать многосторонность урбанизма сквозь призму небольшого числа аналитических категорий.

Аристотель тоже отдает себе отчет в теоретической природе своего анализа, упоминая о «проектируемом» им государстве (Pol. VII, 8, 1329a, 40). Этому, на первый взгляд, противоречит детальнейшее перечисление в VII книге «нормативов», выполнение которых необходимо для жизни «здорового» города – от центрального положения города в окружающей его территории и его близости к морю, от обращенности города к востоку и налаживания водоснабжения так, чтобы питьевая вода была отделена от прочей, до совмещения в планировке города прямого (полезного для жителей) расположения улиц с запутанным (dezориентирующим врага) и заботы о городских стенах. В то же время Аристотель, кажется, осведомлен о специфической природе нормативности как таковой, заключая свой перечень требований таким образом: «Все это нетрудно придумать, но труднее выполнить на деле: слова – результат благих пожеланий, их осуществление – дело удачи» (Pol. VII, 9, 1331b, 20).

Социальные различия мыслятся Аристотелем как помеха нормальному развитию полиса (Pol. V, 2, 1303a, 30):

Разноплеменность населения, пока она не сгладится, также служит источником неурядиц: государство ведь образуется не из случайной массы людей, а потому для его образования нужно известное время. Поэтому в большей части случаев те, кто принял к себе чужих при основании государства или позднее, испытывали внутренние распри.

Перечисляя и территориальные препятствия единству государства, он все же именно экономические различия считает причиной «распрей» (Pol. V, 2, 1303b, 15):

И подобно тому, как на войне переправы через рвы, хотя бы и очень небольшие, расстраивают фаланги, так, по-видимому, и всякого рода различие влечет за собой

раздоры. Быть может, сильнее всего раздоры эти обуславливаются различием между добродетелью и порочностью, затем между богатством и бедностью....

Если мы вспомним, что «масса, состоящая из ремесленников, торговцев, поденщиков, не имеет ничего общего с добродетелью» (Pol. VI, 2, 1318a), то немудрено, что полис зарезервирован мыслителем для «порядочных и знатных». Каким же образом три параметра урбанизма – плотность, величина населения и разнообразие – переосмысляются Луисом Уиртом? Если Аристотель противопоставляет свой идеальный город другим городам – Кирену, Сикиону, Коринфу, Сиракузам, то Уирт строит другое противопоставление: город – деревня. Тема и различие это были главными для многих социальных теоретиков XIX и XX веков, конкретизируя более общую оппозицию «модерность-до-модерность». Знаменитое различие Фердинанда Тенниса между «обществом» и «сообществом» получило развитие в трех оппозициях: во-первых, в различии особых типов человеческих отношений: межличностных и внеличных; во-вторых, в различии между типами поселений: деревенским и городским; и в-третьих, в различии между типами общества: традиционным и современным. Уирт следует концептуальной стратегии Тенниса, состоящей в том, чтобы сделать эти различия максимально свободными от каких-либо эмпирических коррелятов, и рисует картину отношений людей, характерных для **любого** города в их противопоставленности деревне (Wirth, 1996, 101):

Социальное взаимодействие столь разных типов личности в городском окружении ломает жесткость кастовых линий и усложняет классовую структуру, создавая более разветвленную и измененную сеть социальной стратификации, нежели та, что присуща более сплоченным обществам. Повышенная мобильность индивида, увеличивающая диапазон стимулов со стороны большого числа разных людей и подвергающая его статус колебаниям в разных социальных группах, образующих социальную структуру города, ведет к приятию им нестабильности и небезопасности в мире в качестве нормы. Этот факт также объясняет искушенность и космополитизм городского обитателя. Он не привержен всецело ни одной группе. Группы, с которыми он связан, организованы

отнодью не иерархически. Различные интересы, обусловленные различными аспектами социальной жизни, делают индивида членом сильно различающихся групп, каждая из которых может претендовать лишь на одну какую-то сторону его личности. Эти группы сложно расположить в виде концентрических кругов так, чтобы узкие группы были бы окружены более широкими, как в деревенских сообществах или в примитивных обществах. Скорее эти группы расположены по касательной или пересекаются самыми разными способами.

Уирт, следуя линиям мысли, намеченным до него Зиммелем и Парком, настаивает на деперсонализации и частичности городского индивидуального существования, что сопровождается поверхностностью большинства социальных интеракций, их соединенностью с какой-то одной частью жизни индивида.

Отмеченный им космополитизм горожанина, проявляющийся в его практиках и многоуровневости его идентичности, только возрос за те десятилетия, что прошли после опубликования текста. Сегодня его часто связывают с явлениями транснационализма или говорят о смене национальных идентичностей людей космополитическими. Одной из форм «нестабильности мира», которую как данность принимает горожанин, стали относительность культурных ценностей и возрастающее ощущение их произвольности. Космополитизм же эволюционировал не в направлении какого-то мифологического «мирового гражданства», но в сторону усиления рефлексии людьми характера своей принадлежности и идентичности. Отмеченное Уиртом пересечение векторов идентичности выражается в том, что люди склонны проблематизировать и пересматривать, каким образом в их жизни соотносятся персональная, национальная и ряд других идентичностей.

## **Послевоенная городская этнография о городских различиях и отношении к ним**

Эмпирическое изучение различных образов жизни городских обитателей было продолжено после Второй мировой войны рядом городских социологов и



этнографов. Многие авторы критически рассматривали рост пригородов, на разные лады обличая «пригородный образ жизни». **Герберт Ганс**, методологически продолжая традиции чикагской школы, предложил, скорее, сочувственный взгляд на небогатых обитателей пригородов в книге «Обитатели Льюиттауна» (1967). Он показал, что в пригородах возникли различные, отличные от «чисто» городских, социальные группы. Ганс замечательно использовал методологию включенного наблюдения и в другой своей знаменитой книге «Городские селяне» (1962), где показал, как американско-итальянские жители Норт Энда в Бостоне, замкнуто живущие в своей городской деревне, со всеми их тесными родственными и прочими связями, не смогли противостоять аппетитам девелоперов, облюбовавших их район для перестройки в соответствии с нуждами богатых жильцов.

В «Обитателях Льюиттауна» Ганс рассматривает новый тип городского поселения, разработанный девелопером Уильямом Льюиттом, воплощающий послевоенную версию американской мечты. Возвращающимся с войны солдатам и их семьям нужно было жилье, они располагали для этого субсидиями, выданными американским правительством, но не всегда могли найти дома по душе среди имеющегося жилого фонда. Льюитт использовал технологии массового производства для создания в пригородах кварталов, имитирующих дома, построенные в колониальном стиле и преобладавшие на Кейп Коде – популярной курортной зоне штата Массачусетс. Ганс оспорил поспешные критические обобщения относительно «пригородного образа жизни», показав, что те, кто там живут, скорее, воспроизводят повсеместно присущие среднему классу стратегии приспособления своих нужд к новому окружению и социальным обстоятельствам. Льюитт таун – это, конечно, не утопия, показывает Ганс, но и рисовать его как средоточие бездуховности тоже не стоит.

Его книга была направлена против эксплуатации критиками «пригородного образа жизни» идей географического детерминизма. Они считали, что гомогенность и спланированность пригородов обязательно

приведет к социальной изоляции и культурной стагнации живущих там семей. Ганс, по-первых, показал, что окружающая среда не столь непосредственно поощряет те или другие модели поведения и, во-вторых, что поведение если и формируется, то не сверху – планированием, а снизу – реальными взаимодействиями с окружающими. В пригородах живут не конформисты, а самые разнообразные сообщества, в частности, сообщества рабочих, нижнего и высшего среднего класса. Они по-разному смотрят на вещи и свое место в мире и по-разному справляются с вызовами повседневности. Так, нижний средний класс «стремится примирить возможности американской мечты с реальностью того, что жизнь им может предложить (1962, 145). Этот взгляд на вещи проявляется, во-первых, в стратегии «поддерживать видимость» и жить прилично и, во-вторых, в отношении к «ним» как источнику проблем. Они – это правительство, интеллектуалы, иностранцы, люди, живущие на пособие. Они усиливают и без того неотступный страх, что относительно безопасная жизнь в хорошо устроенном доме может внезапно кончиться. Та сфера, которую обитатели могут контролировать, весьма ограничена. Это – их домашняя жизнь. Это – приватность их существования. Вот чем объясняется тот факт, что ничего, кроме их собственного дома и его обустройства, обитателей Льюиттауна всерьез не волнует (1962, 2)

Большой контроль дает большую безопасность, а с достаточной безопасностью люди могут ослабить нежелательные социальные связи и делать больше собственных жизненных выборов. Даже удобство и комфорт преследуются затем, чтобы усилить это чувство контроля, ибо достижение этих по-видимости материалистических целей также дает обитателям Средней Америки чуть больше оснований надеяться, что они никогда не потеряют достигнутого или вернутся к жизни на уровне выживания.

По Гансу, главное, что тревожит этих людей – это те, кто пониже их по социальной лестнице, представляя собой и досадное напоминание о том, откуда они сами начали, и конкурентов на рынке труда.

Он говорит о трех главных недостатках всех обитателей Льюиттауна, т. е. представителей рабочего, нижнего среднего и высшего среднего класса. Первый – сложности в совладании с конфликтом, будь это классовый (между всеми перечисленными группами) или поколенческий. Каждая группа предполагает, что это другие должны подчиниться ее ценностям и разделить ее приоритеты. Вторым недостатком – неспособность иметь дело с плюрализмом. Разнообразие американского общества обитатели Льюиттауна не признают, другие стили жизни не принимают. Взрослые не принимают подростков (и наоборот), те, кто побогаче – тех, кто беднее (и наоборот). Причина – в особой социальной композиции такого поселения: по большей части, это – молодые семьи с маленькими детьми. Одержимость семейными ценностями, желание воспитать детей в соответствии со своим пониманием мира приводит к враждебности – к одноклассникам детей, соседям, добровольным ассоциациям. Все они – поле борьбы за защиту семейных ценностей, которые, однако, не надо понимать чересчур идеалистически. Семейные ценности – это прежде всего доход семьи. Даже благополучные люди не чувствуют себя настолько благополучными, чтобы позволить другим решать, как его потратить. Отсюда – битвы между семьями и сообществом по поводу того, как именно должны быть потрачены деньги, внесенные на нужды сообщества. Только в отношении собственного дома возможен абсолютный консенсус. Но взгляды на то, каким должен быть совершенный дом, у разных людей отличаются. Вот почему, отвергая плюрализм, эти люди отвергают прежде всего возможные сомнения других в абсолютности их образа жизни. Жить среди себе подобных и отвергать отличающихся – естественно вытекающая отсюда позиция.

### **Генераторы разнообразия: Джейн Джекобс**

Американо-канадский урбанист и политический активист **Джейн Джекобс** в книге «Смерть и жизнь больших американских городов» (1961)

увязала разнообразие (она его еще называла «организованной сложностью»), которое способна производить городская жизнь, с физической формой города.

Предысторией появления ее книги было послевоенное «обновление городов» (*urban renewal*). Правительственные программы по строительству жилья идеологически сопровождались критикой традиционного устройства и довоенного развития городов. Так, редактор книги, выразительно названной «Города ненормальны» (1946, 11) обличает перенаселенность американских городов, заявляя что с любой точки зрения, только децентрализация городов улучшит ситуацию в здравоохранении, экономике, инфраструктуре, нравственном климате.

Джэйкобс резко критиковала традицию модернистского планирования городов, согласно которой идеальный город состоял из открытых пространств, высотных зданий, низкой плотности заселения и пригородов. Ее возмущала скорость, с какой пустели города, когда началось великое переселение американцев в пригороды. Вместе с людьми города покидала надежда. Расчистка городских трущоб, строительство кварталов муниципального жилья (как правило, состоящих из высотных домов) – при всей социальной полезности – смущали ее тем, что угрожали разрушить естественную ткань городской жизни, внести эрозию в жизнь городских сообществ. С точки зрения Джекобс, этот процесс усиливала политика федерального правительства, введшего «эвклидовы стандарты зонирования», согласно которым города разделялись на стандартные районы, с тем чтобы снизить плотность населения и отделить друг от друга разные способы использования земли (промзоны от жилищных кварталов и т. д.). Она одной из первых провозгласила, что модернистская традиция планирования не принесла желаемых результатов. Вместо разрыва с традицией, предложила она, есть смысл к ней присмотреться. Тогда станет понятно, что улица, а не «блок» пригородных домов – залог витальности города.

Джекобс считала, что традиционный («европейский») тип моноцентричного города потому столь привлекателен, что плотно заселен и

социально и культурно разнороден. Она (1961, 143–151) предлагает четыре главных способа усиления городского разнообразия: (1) короткие улицы и кварталы; (2) сочетание разных функций одной улицей или районом; (3) здания должны различаться по возрасту, степени изношенности, характера использования и составом жильцов; (4) плотность заселения. Прототипом такого идеального квартала была Хадсон-стрит, улица в Гринич-Вилледж, на которой Джекобс жила, когда писала свою книгу. Выглядывая из окна и наблюдая за обитателями квартала, она использовала что-то вроде «индуктивного метода», обобщая паттерны поведения своих соседей до идеальной модели городского соседства: лавочки и магазинчики вместо супермаркетов, знание своих соседей по именам, у каждого есть своя экологическая ниша, в том смысле, что такой район способен обеспечить занятость почти всех разнообразных своих обитателей. Джекобс считала, что самые разные проявления разнообразия – физического, социального, культурного, экономического, временного – должны быть взаимосвязаны между собой, создавая разные варианты использования места и разные типы его пользователей. «Витальность» города виделась ей как максимально разнообразное и полное использование городского пространства, сутки напролет.

Поскольку книга Джекобс задевала как интересы архитектурно-планировочного истеблишмента, так и коллег – авторов книг о городах, ее взгляды встречали острую критику. **Льюис Мамфорд** (1962) оспорил ее мысль, что именно улица должна являться местом разнообразных практик и социально благотворной интеракции различных по происхождению и занятиям людей. Это в деревне все всех знают, – напомнил он, так не получается ли, что идеальный квартал оптимален лишь с точки зрения предотвращения преступности? Он упрекнул Джекобс в приверженности ностальгически-романтической версии прошлого американских городов и в пренебрежении более масштабными социальными силами, сокращающими пространство городской свободы. Похожая линия критики была развита **Гербертом Гансом**

(1972, 35). Адресованные Джекобс упреки в романтизме связаны со знанием им типичных потребностей представителей среднего класса, которых не привлекает перспектива поселиться в богемном либо рабочем квартале: они хотят растить своих детей в безопасном окружении. Поэтому не социальная пестрота, скажем, района Норт Энд в Бостоне (там, где он провел свое исследование) привлекает их, но либо высотные жилые дома с консьержами, либо социально однородные пригороды.

### **Город иммигрантов**

8 утра. Метро «Парк Культуры». С трудом протиснувшись через холл к нужному входу на эскалатор, ты слышишь голос «наблюдающей за порядком» женщины. Воплощение патерналистской государственной политики, она с упорством автомата напоминает пассажирам о том, как нужно пользоваться правой и левой сторонами «лестницы-чудесницы». Но иногда она позволяет себе импровизацию: «Улыбнитесь друг другу: ничего не поделаешь, нас тут очень, очень много в Москве!» Один из настенных стендов тоже шлет примиряющее послание: аристотелевское «Город – единство непохожих» проиллюстрировано аккуратно, в виде решетки, расположенными цветами. Изображения розы и вербены, пожалуй, годятся в качестве аналогии того, что ты видишь вокруг, когда дело доходит до различий. Выросши, как сегодня бы сказали, в расово-однородном окружении, ты фиксируешь прежде всего этнические различия. Отмечаешь красивую девушку-корейку, тщательно одетого азербайджанского джентльмена, усталых рабочих-молдаван, группку вьетнамок. Кто-то из этих людей свою этничность умело обыгрывает, тогда как для повседневных забот других она значения не имеет. Есть, конечно, и такие представители «мультикультурной» Москвы, кого ты почти никогда в метро не видишь: таджикские рабочие, к примеру. И есть немало таких, для которых повседневные маршруты чреваты неприятностями. Перенаселенный город, оставаясь магнитом для многих, а потому становясь все более и более разнообразным, входит в современную фазу развития, которая может быть

выражена словами того же Аристотеля: «Совершенно справедливо, что не должно считать гражданами всех тех, без кого не может обойтись государство» (Pol. III, 3, 1278a, 5).

Зависимость городов от миграции (прежде всего из деревень) обозначилась в начале XIX века. Если нужда городов во все новых деревенских жителях объяснялась высокой смертностью среди рабочих на заводах, то самим деревенским жителям город сулил иную степень свободы. Комментаторов второй половины XIX века эта свобода в особый восторг не приводила: они опасались волнений, ибо уж слишком пестра была новая городская публика. Метафоры искры, спички, кучи динамита, парового котла переходили из памфлета в памфлет. Поведение низших классов мыслилось как заведомо патологическое, чреватое вспышками преступности

Настороженностью и реформаторским оптимизмом в отношении к иммигрантам отличалось исследование авторов чикагской школы (см. об этом подробнее в главе «Классические теории городов»). **Роберт Парк** искал пути увеличения эффективности социального контроля и ассимиляции иммигрантов, прослеживая, как все новые их волны меняют город, создавая в нем новые зоны жизни. **Энтони Берджес** отразил в своих книгах, как с укоренением иммигрантов меняются их обиталища – от дешевых ночлежек городского центра до отдельных домов в благополучных пригородах. При всей настороженности, чикагские авторы видели, что иммиграция – мотор городской жизни и что новый городской порядок связан с трансформацией традиционных линий привязанности и идентичности людей.

Массовое переселение американцев в пригороды в начале 1960-х годов привлекло внимание и социологов **Натана Глезера** и **Дэниэла Патрика Мойнихэна** (1970). Не там ли, в пригородах, размещался теперь настоящий «плавильный котел» американской нации, когда стандарты американской мечты оказались одинаково привлекательными (с разной степенью доступности) для представителей различных этнических и расовых групп? Назвав свою книгу «По ту сторону плавильного котла» (1970) авторы

показывают – на примере этнических групп Нью-Йорка, что, если смешение и произошло, то отнюдь не в направлении всеобщей гомогенизации. Они полемизируют и с банальным пониманием этого понятия и с марксистским тезисом, что в промышленных городах этнические различия уступают место классовым. Исследовав пять этнических групп: афроамериканцев, пуэрториканцев, евреев, выходцев из Италии и Ирландии, они показали, что этнические идентичности успешно воспроизводятся от поколения к поколению иммигрантов. Впоследствии их выкладки были подтверждены социологическими опросами. Так, когда в опросник национальной переписи 1980 года был включен вопрос о том, из какой группы предков люди происходят, только 6 % опрошенных сказали, что они – только американцы, тогда как 83 % указали, как минимум, еще одну группу, из которой происходили. Авторы не обошли стороной и источники межрасового напряжения, указав, в частности, непропорционально высокий процент афроамериканцев и пуэрториканцев, получающих социальные льготы.

Новым феноменом были этнически гомогенные пригороды. Социолог **Тимоти Фонг** описывает «Первый пригородный Чайнатаун» (1994) – Монтерей Парк под Лос-Анджелесом в Калифорнии, прожив в нем больше года и используя материалы устной истории. Лицо китайской миграции в Америке сильно изменилось: часто превосходящие белых образованием и амбициями, современные выходцы из Китая и других стран Юго-Восточной Азии очень не похожи на их предшественников, потевших с середины XIX века в китайских прачечных. Фонг рисует Монтерей Парк как пересечение классовых, этнических и расовых конфликтов, отражающих с одной стороны, нарастание антикитайских настроений во всей стране, а с другой стороны, сложности в жизни стремительно растущего города, преображенного китайцами за считанные десятилетия. Они покупали дома и кондоминимумы, с усмешкой слыша за спиной мифы о своем невероятном богатстве, но в итоге сделали этот город самым желаемым местом жительства для китайцев, приезжающих в Калифорнию.



В течение 1990-х годов в исследованиях миграции, предпринимаемых городскими географами, социологами, этнографами, изменились теоретические основания. Раса, этничность, гендер и другие категории, фиксирующие различия, стали рассматриваться как **социально сконструированные**. Соответственно в фокус внимания вошли процессы конструирования расы и этничности социальными процессами и культурными репрезентациями. Городские географы **Лаура Пулидо, Стив Сидави и Роберт Вос** (1996) осмысливают расизм как процесс, прослеживая, как в двух сообществах Лос-Анджелеса – Торрансе и Верноне – городское планирование, основанное на расе разделение труда и дискриминация на рынке жилья вплетаются в то, что они называют проявлениями экологического расизма. Белым легче обезопасить себя от выбросов токсичных веществ, а работа на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях – удел латиноамериканцев. Авторы обращаются к анализу «расистской политико-экономической истории», чтобы показать, как современные проявления расизма укоренены в почти вековой истории этих городов и как бессмысленно говорить о каком-то одном всеобъемлющем расизме. Рассуждая о том, какая методология была бы оптимальной для исследования этих сложных тенденций, авторы упрекают сторонников количественного анализа в том, что те придают слишком много значения, скорее, самим расовым категориям, нежели расизму как процессу. Разнообразие проявлений расизма во времени не свести к отдельным и измеримым актам дискриминации, вот почему необходимо «археологическое», т. е. принимающее во внимание эволюцию расизма вкупе с обуславливающими его социальными, экономическими и культурными факторами, изучение конкретных случаев с применением качественных методов.

Напряжением между конструктивистами и «эссенциалистами» отмечено и изучение городской этничности **российскими исследователями**. Укорененности у нас эссенциализма как теоретической установки способствовал тот факт, что долгое время велись по преимуществу этнографические исследования этничности, нацеленные на описание

культурных характеристик этносов, в том числе и городских (Будина, Шмелева, 1989). С другой стороны, с формированием в 1970-е годы такой специфической дисциплины, как этносоциология, изучение культурного и социального разнообразия в России отмечено фундаментальной двусмысленностью: отводя этнографии изучение «традиционно-бытового слоя», этносоциологи претендуют на то, чтобы освещать «социальные параметры культурной деятельности» нации, оценивая соотношение в ней «современного-традиционного» по шкале, включающей «уровень урбанизированности» и «втянутости» именно в «современные экономические, социальные, политические и т. д. процессы» (Арутюнян, 1992, 4). Этнограф и политический деятель **Галина Старовойтова** книгу «Этническая группа в современном городе» (1987) посвятила татарам, армянам и эстонцам доперестроечного Санкт-Петербурга. Молодому читателю будет полезен небольшой историко-научный экскурс, чтобы представить себе атмосферу, в которой проходила подобного рода работа. Коллега Старовойтовой (Чистов, 1999) свидетельствует:

Диссертационная тема («Психологическая адаптация нерусских групп в современном русском городе»), в книжном издании получившая название «Этническая группа в современном советском городе» (Л., 1987, 174 стр.), была поддержана ученым советом института, однако отдел науки горкома отказался дать разрешение на массовый опрос, как того требовала тема, аргументируя это кроме всего прочего тем, что Старовойтова не была членом КПСС. Кроме того, руководству отдела представлялось, что оно само все знает, что нужно знать в сфере межнациональных отношений, и опрос мог, якобы, только привлечь внимание к несуществующей теме.

Старовойтова рассматривала так называемые этнодисперсные группы, фиксируя развитые в них пути этнической идентификации, воплощающиеся в бытовых практиках и ценностных установках.

В исследовании «Русские. Этносоциологические очерки» (1992), проведенном сотрудниками Института этнологии и антропологии, русская

нация характеризуется «высоким уровнем урбанизированности» (42), что, по мнению авторов, объясняет стабильный приток русского населения в крупные города СССР. Социологические исследования миграции этнических групп включают «статусные» и «поведенческие» характеристики мигрантов, обитающих в различных «этнических средах». Эти среды видятся объективными «регуляторами миграционного поведения», тогда как субъективные регуляторы образованы этническими ценностями, например, ориентацией индивида на «однонациональный» или «многонациональный» состав среды. Тем самым «объективное» и «субъективное» определяют друг друга. Первое ограничено трудовым коллективом и кругом друзей, второе зависит от удовлетворенности жизнью. Города, в особенности столичные, «вызывают большую психологическую напряженность, неудовлетворенность», от которых могут пострадать межнациональные отношения (73). Масштабность подобного рода анализа и его объективизм, позволяющие вообще не обращаться к критике существующего социального порядка, привлекли за последние тридцать лет множество исследователей и легли в основу процветающей и поныне этносоциологической индустрии.

Приведем в качестве еще одного примера социологическое исследование межэтнических отношений (Лейбович и др., 2003) в г. Перми «Национальный вопрос в городском сообществе». Авторы, отмечая, что национальные мифы «становятся интегральной частью всех форм общественного сознания...» (13), подробно разбирают местные проявления этничности в контексте новых тенденций социальной стратификации. Однако методология, избранная авторами, – скорее, социально-психологическая, так как они нацелены на реконструкцию «этнических образов» друг друга, которые есть у представителей пермских этнических групп. Среди «инонационалов» выделяются «продвинутые», т. е. успешно освоившие русскую культуру, а русским, утверждают авторы, контакты с ними полезны, так как это помогает найти свою собственную идентичность. Исследования такого рода исходят из существования неизменных стабильных культур, представители которых могут

быть более или менее «урбанизованы» или «продвинуты», т. е. размещены по некоторой, очевидной для социологов этой школы, шкале социального развития.

Неслучайно, представители противоположной, конструктивисткой, социологической школы (большинство которых работает в Санкт-Петербургском Центре независимых социологических исследований) подвергают такой эссенциализм резкой критике, подчеркивая, что его представители недооценивают вероятность своего негативного влияния на горожан (Воронков, 2004):

Социолог, ничтоже сумняшеся, предлагает людям (которые, возможно, до его появления даже не задумывались о столь волнующих исследователя вещах) оценить уровень интеллекта тех или иных «национальностей», степень их чуждости, указать, какой национальности не должен быть кандидат в мэры Перми, высказать свое мнение о том, с человеком какой национальности он не одобрил бы брак своей дочери, и так далее и тому подобное. Вам не кажется, что сам факт использования авторами расистских инструментов измерения (мало чем, впрочем, отличающихся от аналогичных инструментов других «этносоциологов» и «этнопсихологов») оказывает сильное влияние на респондентов? Я не сомневаюсь при этом, что, укрепляя такими исследованиями расизм и ксенофобию в обществе, исследователи искренне считают себя борцами с расизмом.

Допуская, что автор рецензии погорячился, возлагая на пермских социологов вину за пробуждение в горожанах темных страстей, отметим задетый им интересный методологический момент возможности влияния социальной мысли на нравы. Отыскивание расистских предрассудков в текстах коллег рано или поздно приводит энтузиастов этого дела к пониманию того, что ригидность и инертность социальных и культурных стереотипов и предрассудков, проглядывающих в иных ученых штудиях, фактически неизменяемы. Как бы проблематичны ни были чьи-то «политики идентичности», они могут никакого

влияния на социальные изменения не оказывать. Влияние академических текстов сегодня – весьма и весьма ограничено.

Пытаясь сократить «расистское» влияние текстов коллег, Санкт-петербургские социологи **Виктор Воронков, Олег Паченков, Ольга Бредникова, Оксана Карпенко** (Бредникова и др., 2000; Карпенко, 2002; Бредникова и Паченков, 2001) исследовали этнические сообщества Санкт-Петербурга, с тем, чтобы продемонстрировать меру социальной сконструированности самого понятия **этничность**. Оксана Карпенко борется за политически-корректное (иное, нежели «гости нашего города») именование новых обитателей общего городского пространства. Установление связи между бытующими метафорами и определяющими их когнитивными и прагматическими факторами тем более необходимо, что, когда используется метафорическое понятие, читатель или говорящий может «не считать» его метафоричность и понять сказанное буквально (либо он может сознательно играть на смешении буквального и фигурального смыслов слова). Кроме того, метафоры могут пониматься буквально, когда говорящие и слушатели не обращают более внимания на метафорический характер выражений, буквально используя идиоматические фразы. Отсюда – необходимость «критического анализа метафор», в традицию которого, как мне кажется, вписывается текст Карпенко.

Проведя дискурсивный анализ свыше 300 газетных статей, питерский социолог попыталась проблематизировать классический риторический ход, использующийся националистами, «регионалистами» и многими другими, в чьи политические и практические задачи входит проведение и охрана границ между своей и чужой территорией. Этот ход состоит в распространении на масштабные пространства идеализованного паттерна отношений в семье и мышления о стране, городе и иной территории в терминах родного дома. Социализация людей как членов территориальной группы непременно включает усвоение ребенком этого хода, начиная с нотаций школьной уборщицы («Ты же у себя дома не соришь!»), урока истории с плакатом

«Родина-Мать зовет!» и кончая неизбежностью столкновения с разными вариантами недовольства местных жителей «понаехавшими тут». Помню, как поразила меня фраза сокурсницы, вышедшей замуж «в Москву» в 1980-е годы и к моменту моего визита наслаждающейся новыми возможностями всего пол-года: «Ты не представляешь, как это здорово, когда город закрывают. Чувствуешь себя совершенно как дома: никого лишнего, так спокойно, да и все, что хочешь купить, можешь быть уверена, тебе достанется!»

Фиксируя раздражение, с которым жители столиц встречают превращение их общего дома в «проходной двор», Карпенко изобретательно демонстрирует, как бессознательное следование жителей и властей популярной метафоре дома проявляется в описании ими отношений между приехавшими в город давно и мигрантами. Чересчур уверенное поведение тех, кто должен бы помнить о том, кто тут на самом деле хозяин, мыслится как результат небрежности в охране границ дома, а конкуренция мигрантов со старожилами на рынке труда и за социальные блага – как покушение на и без того ограниченные ресурсы хозяев. Исследовательница резонно говорит, что дихотомия «местные–гости» упрощает сложную картину миграционных процессов, позиционируя как конфликт групп те конфликты, которые часто имеют индивидуальную природу, делая все более отдаленной перспективу правового закрепления прав мигрантов и решения спорных случаев.

Текст Карпенко хорошо иллюстрирует тот тезис, что метафоры выделяют и придают целостность только некоторым сторонам нашего опыта. Иными словами, они способны конструировать социальную реальность, способствуя выбору людьми специфических действий, которые в свою очередь становятся подспорьем способности метафор делать опыт целостным. Эта выборочность метафорической репрезентации связана прежде всего с властными отношениями: «послания» доминирующей метафорической модели настолько убедительны, что люди не видят смысла им противостоять.

Радикальный вариант социально-конструктивистской методологии реализуют Ольга Бредникова и Олег Паченков, исследуя повседневные

практики питерских торговцев–выходцев из Азербайджана, с тем чтобы показать, что само членение на этносы – это навязываемая интеллектуалами категоризация, мало значимая для самих ее объектов.

Но какой бы произвольной ни казалась «этничность» с точки зрения социально-конструктивистской парадигмы, все же настаивать и на ее практической иррелевантности – слишком сильный ход: она давно стала «категорией практики», если воспользоваться термином Дж. Брубейкера. Двусмысленность полученных коллегами результатов хорошо разбирает санкт-петербургский социолог **Михаил Соколов** (2005), в целом скептически оценивающий итоги разработки социально-конструктивистской парадигмы в России:

Даже то единственное исследование (исследование Бредниковой и Паченкова. – *Е. Т.*), которое цитировалось, чтобы доказать несостоятельность эссенциалистской позиции, в действительности содержит в себе массу доводов, которые могут быть интерпретированы в ее пользу <...>. То, что у не-эссенциалистских подходов есть преимущества в интерпретации современной российской реальности, надо еще доказать.

Ирония в том, что «эссенциалисты» и «конструктивисты», занимая крайние полюса методологического спектра, приходят к похожим результатам, в которых единственным объектом критики оказываются коллеги-интеллектуалы. Этносоциологи фиксируют в Москве «надэтническое» столичное самосознание «с очевидной доминантой гражданского образа» (Арутюнян, 2007). Представители социального конструктивизма также склонны, скорее, искать «надэтнические», т. е. объединяющие людей, моменты. Теоретическая необходимость отстоять произвольность, а потому иррелевантность этничности как маркера различий, приводит **Владимира Малахова** (2007) в статье «Этничность в большом городе», во-первых, к апелляции к общему советскому прошлому представителей всех этнических групп в современной России и, во-вторых, к утверждению, что этничность

задействуется сегодня лишь в политических (представителями национальных движений) и коммерческих (запрос культурного рынка на «разнообразие») целях.

Исследования же, основанные на разного рода статистике и социологических опросах, убедительно демонстрируют воплощение этнических и иных различий в социальном пространстве крупного города. Опираясь на данные двух переписей населения, архивы префектур, отделов ЗАГСов и МУВД, динамику цен на жилье, результаты социологических опросов, московский географ **Ольга Вендина** (2004, 2005) не только картографировала «этнический ландшафт» Москвы, но и вычленила следующие факторы, затрудняющие интеграцию мигрантов в московскую жизнь. Во-первых, это внутренняя поляризация этнических групп («боссы» и «пролетарии»), а также внутри- и межгрупповая дискриминация. Во-вторых, это произвол, вымогательства и дискриминация со стороны властей и правоохранительных органов. В-третьих, это сильный рост экономической миграции, представители которой населяют окраинные районы столицы, и в силу слабых перспектив вертикальной мобильности и нарастающего «окукливания» социальных групп, скорее всего, так и останутся в изоляции. В-четвертых, это проблематичный статус принимающего сообщества: низкий уровень общественной солидарности, сильное и нарастающее социальное расслоение, сочетание прагматической эксплуатации и негативных стереотипов.

Продуктивными кажутся результаты рефлексии слабости либерального дискурса об миграции и попыток его популяризовать в России рядом других экспертов. Реалистична оценка **Дениса Драгунского** (2003):

Мигранты – как любые чужаки – дегуманизированы в глазах большинства коренных жителей. Их воспринимают не как полноправных граждан и, разумеется, не как ближних в христианском смысле слова, а как средство производства или источник повышенной опасности (часто и то, и другое одновременно). В Москве названия одних этносов стали синонимами дешевой, безотказной и практически бесправной рабочей



силы, названия других – синонимами несправедно нажитого богатства. Названия третьих обозначают угрозу жизни и собственности местных жителей.

Ее подкрепляет результатами социологических исследований **Лев Гудков** (2006) :

Считают, что нужно ограничить проживание на территории России выходцев с Кавказа в 2004 году – 46 %, в 2005 – 50 % – это в самом общем виде. Если брать по отдельным пунктам, скажем, установить запрет на приобретение собственности, на проживание, на занятие должностей, в том числе и для граждан России, то там порог запретительного рефлекса поднимается до 60–70 % и даже выше. Резко отрицательно относятся к тому, чтобы мигранты покупали квартиры и дома – 58 %, чтобы образовывали собственный бизнес (открывали кафе, магазины, автосервис) – 64 %, покупали бы земли для бизнеса или жилья – 65 %, заводили крупные предприятия – 74 %, и т.д. Запреты касаются и работы по найму, хотя, казалось бы, здесь явная ощутимая польза, выигрывают все. Тем не менее, против того, чтобы мигранты работали в частном бизнесе – 53 %, на государственной муниципальной службе – 69 %, в правоохранительных органах – 74 %. То есть три четверти населения отличаются вполне выраженным запретительным рефлексом.

Иркутский специалист по миграции историк **Виктор Дятлов** настаивает на необходимости создания институтов адаптации и интеграции мигрантов, перспективы полной ассимиляции которых крайне осложнены тем, что эти люди иначе социализованы и настроены на иные механизмы социального контроля. Контакты нередко ведут к выяснению отношений, что чревато конфликтами. Ученый ведет исследования диаспор как нового элемента жизни сибирских городов (1995, 1999, 2000, 2004, 2005), в том числе описывая усложнение социальной организации этнических сообществ на рынках, пригородах, в общежитиях как предпосылку вероятного формирования в России «чайнатаунов» – постоянных китайских общностей. Так в исследовании иркутского рынка «Шанхай» (2004) Дятлов с соавтором, вызывая ассоциации с работами авторов чикагской школы, воссоздают – на основе проведенных

интервью, включенного наблюдения и анализа прессы – «экологию» китайского рынка и его функционирование в качестве «социального организма». «Экологические» исследования городов стали первыми проводить именно чикагские авторы (см. о них в главе «Классические теории городов»), предложив рассматривать социальную жизнь городов как воплощенную в географической и материальной среде.

Впечатляющие итоги анализа социальной жизни рынка Дятловым и Кузнецовым еще раз показывают, что если использование «передовой» исследовательской парадигмы (социальный конструктивизм) в эмпирических исследованиях не всегда приводит к успеху, то обращение к оправдавшей себя методологии не подводит. Не случайно, несмотря на очевидную устарелость ряда концепций чикагцев, отработанная ими методология социологического картографирования отдельного города продолжает активно использоваться повсеместно.

Дятлов и Кузнецов описывают эволюцию китайского рынка Иркутска с начала 1990-х годов как места встречи цивилизаций, олицетворения «желтой опасности», специфического инфраструктурного узла, источника поступлений в городской бюджет, места заработка иркутчан, места демократичного шоппинга, центра снабжения всего региона, источника криминала и милицейского вымогательства, места встречи нелегальной миграции и коррумпированного государственного аппарата. Статья хороша еще совмещением двух видов исследовательской оптики – извне и изнутри: того, как город видит «Шанхайку» и того, как организована на рынке социальная жизнь. Так, одним из интересных аспектов динамики сосуществования рынка и города – в том, что социальный статус горожан определяется в том числе и тем, покупают или не покупают они вещи на «Шанхайке». Мне кажется, они здесь нащупали универсальную характеристику сложной жизни постсоветского российского города. Главный оптовый или мелкооптовый рынок существует везде, китайцы заправляют на большинстве таких рынков, а горожане могут оценивать свой социальный рост по тому, совершают ли они ответственные

покупки по-прежнему на таком рынке или уже могут позволить себе поход в крупный торговый центр с его бесчисленными бутиками европейских брендов. Взгляд на рынок «изнутри» позволяет вычленить структурирование его социальной жизни по принципу национальных блоков, в которых продаются определенные виды товаров, что определяется «капитанами», «патронами» – лидерами китайской общины, бизнесменами с опытом и образованием.

Исследование социальных сетей китайских торговцев в Иркутске перекликается с тем, что провел американский социолог **Роджер Уэлдингер** (2001), один из создателей понятия «этническое предпринимательство». Изучив пять регионов в США, он показал, как функционируют аналогичные социальные сети среди мексиканцев, китайцев, филиппинцев, корейцев, кубинцев и вьетнамцев. Хорошо образованные и обладающие предпринимательской жилкой корейцы собираются в группы, что присуще и низкоквалифицированным мексиканцам. Повсеместно проявляется и тот принцип, что со «дна» рынка труда начинают недавно приехавшие, тогда как давно осевшие в этом месте монополизируют стратегические посты и решения.

Выкладки, наблюдения и исследования Вендиной, Гудкова, Драгунского, Дятлова, Карпенко и ряда других авторов перекликаются с рассуждениями их западных коллег о необходимости дополнить «розовое» представление о глобализации как сулящей рост космополитического сознания горожан более реалистическим анализом взлета фундаментализма, «нативизма», ксенофобии, консерватизма, новых форм адаптации во многих мировых городах – магнитах миграции. Теоретическое осмысление миграции в города в последние годы характеризуется акцентом на двойственности этого феномена: она, с одной стороны, решает проблемы занятости и даже усиливает «креативность» городов, но, с другой стороны, углубляет социальную поляризацию. «Город как контекст», в рамках которого нужно продолжить изучение миграции – на таком подходе справедливо настаивает в одноименной статье американский антрополог **Каролин Бретель** (1999). Конкретный город представляет особое социальное поле, где сочетание его собственной истории, сегодняшнего дня

(«депрессивный» или нет) и разного уровня сил и тенденции определит, каково в нем будет мигрантам. На этом скажется и то, какова продолжительность местного опыта взаимодействия с «понаехавшими», и то, одна или несколько групп мигрантов в нем доминируют, и то, делом ли поощряют интеграцию мигрантов местные и центральные власти.

### **Социальная сегрегация и поляризация**

Социальная сегрегация и поляризация сопровождали города, наверное, с момента их возникновения. В Риме и Афинах существовали кварталы, где селили рабов, в Средние века возникли гетто и кварталы для представителей тех или иных гильдий ремесленников и купцов. О том, как эта тенденция усилилась в XIX и XX веках, мы рассуждали в главе «Город как место экономической деятельности». Определение в городах различных, нередко социально противоположных, зон – предмет давнего интереса урбанистов.

Публикация работы **Дэвида Харви** «Социальная справедливость и город» (1973) и его исследования вместе с **Латой Чаттери** (1974) рынка недвижимости в Балтиморе обусловили поворот от количественных исследований жилищной дифференциации городов к вниманию к экономическим и социальным процессам, структурирующим рынок жилья, которые соединялись с классовыми и этническими различиями. От индивидуальных и групповых предпочтений ученые перешли к изучению социальных ограничений, выражающихся в пространственной и социальной сегрегации.

В 1980-е годы эти исследования были поглощены более общими по характеру рассуждениями о социальной поляризации в глобальных городах, когда вначале **Джон Фридман** и **Гетц Вулф** (1982, 332) заявили о том, что для мирового города характерна «поляризация социально-классовых различий», а затем **Саския Сассен** заговорила о новой классовой структуре глобальных городов (см. об этом подробнее в главе «Глобализация и города»), в частности о поляризованной структуре занятости, приводящей к существованию страт с

высокими и низкими доходами, что связано с постоянным притоком мигрантов в эти города. Интересной стороной социальной поляризации в глобальных городах является неясный статус «социальной середины» (мы вернемся к этому ниже, разбирая взгляды Питера Маркузе). **Мануэль Кастельс** в своих работах связал поляризацию и «информационный город», подчеркнув, что информационные способности и возможности различных социальных групп крайне неодинаковы.

Среди тех, кому идея «дуального», поляризованного города кажется излишне одномерной – американский теоретик городского планирования **Питер Маркузе** (1989, 1998, 2000). Он, во-первых, возражает против того, чтобы считать «разделенный» город чем-то новым, указывая, что тенденция поляризации сложилась знакомым нам всем образом еще на заре промышленной революции. Во-вторых, он призывает не упускать из виду процессуальность поляризации: модели расселения в соответствии с разделением труда и расовыми и гендерными различиями существуют, но они проявляются не столь жестко и определенно, как это казалось чикагским социологам Берджесу и Парку. Вот его «процессуальное» определение поляризации (1989, 699)

Похоже, лучше представлять ее с помощью яйца и песочных часов. Обычное распределение населения города напоминает яйцо: самое широкое посередине и сужающееся к концам. В ходе поляризации середина сдавливается, а концы расширяются – пока все это не становится похожим на песочные часы. Середину яйца можно определить как «опосредующую социальную страту»<...> Или, если поляризация – между богатыми и бедными, середина относится к группе людей со средними доходами <...>. Это метафора не структурных разделяющих линий, но континуума вокруг одного измерения, распределение которого становится по нарастающей бимодальным.

Но как быть, если поляризация идет одновременно по ряду измерений? На такую возможность указывают **Молленкопф** и **Кастельс** (1991, 402),

подчеркивая, что сочетание культурной, экономической, политической поляризации в Нью-Йорке приводит к тому, что если в городском ядре, образованном профессионалами корпоративного мира, пусть и разными по происхождению, прослеживается подобие единства, то на периферии города имеет место дезорганизация: население здесь фрагментировано по расовому, половому, этническому, профессиональному признаку, что только усиливается разнородностью мест, в которых оно проживает.

Выдвигая метафору «города кварталов», (2000) Маркузе строит следующую классификацию того, что он называет «отдельными городами» внутри современных городов. В «жилых» городах он выделяет: (1) «роскошные зоны», для которых характерна специфическая инфраструктура торговых центров, мест развлечения и отдыха и т. д.; (2) «джентрифицированные» кварталы, предназначенные для профессионалов, менеджеров, «яппи» (он добавляет к числу их обитателей и университетских профессоров), иронически замечая (2000, 273), что «фрустрированная псевдо-креативность их занятий ведет к поиску удовлетворения в иных сферах, находимых в потреблении и специфических формах культуры, в «городской жизни», лишенной ее первоначального исторического содержания и более связанной с потреблением, чем с интеллектуальной продуктивностью или политической свободой»; (3) пригороды – место обитания хорошо оплачиваемых рабочих и мелкой буржуазии, для которых дом – залог финансовой безопасности, наследство и место обитания; (4) город снимаемых квартир и муниципального жилья, обитатели которого могут быть оттуда вытеснены в случае, если этот квартал облюбуют девелоперы; (5) покинутый город – место очень бедных, тех, кто либо никогда не работали, либо работают очень редко, место расовой и этнической дискриминации и сегрегации.

«Города бизнеса» разделяются на контролирующие места, т. е. места больших решений, которые принимают владельцы яхт и лимузинов, хотя и избегающие ярко выраженной пространственной укорененности, но все же чаще всего обитающие на верхних этажах корпоративных небоскребов.

Маркузе называет «цитаделями» образцы последнего поколения таких зданий, «умных» зданий, в которых и живут, и работают капитаны корпоративного мира. Бэттери Парк в Нью-Йорке, Доклэндс в Лондоне, Ла Дефанс в Париже, Беринни в Сао Паоло, Луджиазуи в Шанхае – примеры таких кварталов. Второй тип города бизнеса – города улучшенного сервиса, т. е. кварталы офисных зданий, «стратегически» группирующиеся в центре города (но они могут быть расположены и на окраине или вообще рассеяны по городу). Работающие здесь живут в «джентрифицированных» районах. Третий тип – город прямого производства, концентрирующий не только управление промышленностью и некоторые ее виды, но и сервис, правительственные здания, офисы ведущих фирм. Четвертый тип – город неквалифицированной работы и неформальной экономики, иммигрантских предприятий и небольших фабрик и мастерских. Чайнатаун в Нью-Йорке и Кубинский квартал в Майами – примеры таких городов. Пятый тип – безработный город – город тех вариантов неформальной экономики, которые – вне закона, город, где сосредоточены самые вредные производства и свалки, очистные сооружения, гаражи, тюрьмы. Маркузе, известный своей резкой критикой политики нью-йоркских властей, описывает такой хорошо знакомый русским читателям ее компонент, как очистку центра города от «нежелательных элементов»: улицы центра должны служить обитателям «цитаделей» и джентрифицированных кварталов, а также изобретательное занавешивание фасадов пустующих или перестраиваемых домов (он их называет потемкинскими деревнями для богатых). Если уж и говорить о новых моментах процесса поляризации, заключает Маркузе – так это то, что «лишние» люди, в частности безработные поселились в городах навсегда и размер безработных будет только расти. Будут расти и процессы джентрификации, а вместе с ними – вытеснение прежних обитателей обустриваемых для богатых кварталов с помощью правительственной регуляции.

### **«Геттоизация» и бедность**

Как городская этнография и социология описывают положение «не вписавшихся» людей, перебивающихся от одной временной работы к другой или вообще не работающих? Оценки и используемые понятия, объяснительные стратегии и мера радикализма выводов здесь очень зависят от политической позиции авторов. История последних трех-четырёх десятилетий свидетельствует, что некоторые понятия, которые их авторы предложили в чисто описательных целях, были подняты на щит представителями радикальных правых взглядов на социальную политику. Так случилось с понятием *underclass*, введенным Гуннером Мердэлом, которое стали использовать для фиксации «сущностных» и не поддающихся реформированию характеристик городской бедноты, особенно афро-американской, а поэтому – для критики политики «велфэр». Схожую траекторию проделало понятие **культуры бедности**, введенное американским антропологом Оскаром Льюисом. Антисоциальное поведение крайне бедных людей мыслилось в 1960–1980-х годах как неизбежное следствие того положения, которое они занимают в социальном пространстве городов.

В конце 1990-х годов вышло несколько работ городских этнографов, осмысливающих процессы городской маргинализации и «геттоизации». **Митчелл Данейе** в работе «Тротуар» (1999) воссоздал жизнь чернокожих обитателей тротуаров нижнего Манхэттена, наводненного туристами, зарабатывающих на жизнь, предлагая прохожим книги и журналы. **Элайя Андерсон** (1999) в книге «Код улицы» описал гетто Филадельфии, отмеченное борьбой между «приличными» и «пропадающими» семьями. **Кэтрин Ньюман** (1999) в книге «Стыдной работы не бывает» сосредоточилась на работающих бедняках Гарлема и путях, которыми они стремятся сохранить достоинство.

«Достоинство» – не случайное здесь слово. Всякий, занимавшийся качественными исследованиями среди не процветающих слоев населения, знаком с этим гуманистическим соблазном – так описать жизнь твоих информантов, чтобы они были не просто жертвами реструктуризации экономики. Но так ли бесп проблемно стремление описать повседневную жизнь



этих людей, чтобы вызвать симпатию к их положению? Ломая голову над интервью, что мне дали, тоже в конце 1990-х годов, екатеринбургские учителя, я отчетливо помню, как все, прочитанное об «униженных и оскорбленных», стучало в голову, оборачиваясь несколькими забракованными главами, которые казались то излишне пафосно обличающими власти, то лицемерно жалеющими моих героинь. О результате судить читателям (Трубина, 2002), но проблема интерпретации жизни тех, кто сам о ней говорит как о выживании и, в частности, проблема того, что делать с упомянутыми гуманистическими клише и позывами к морализированию – вызов для исследователей, работающих по обе стороны Атлантики. Скажу попутно, что у нас есть не только свободные от этих слабостей, но и вызывающие огромное уважение работы **Евгении Долгиновой**, опубликованные в журнале «Русская жизнь», описывающие ситуацию в небольших городах России. В частности, Долгинова написала о двух городах Свердловской области, работники шахт и заводов которых голодовкой пытаются добиться выплаты зарплаты.

Вернемся к трем упомянутым выше книгам. В их центре – бедный американский чернокожий пролетариат и «люмпен»-пролетариат. К примеру, Данейе изображает бездомных обитателей Гринич Вилледж не как зависимых от наркотиков и не брезгующих преступными актами объектов расовой дискриминации, но как людей, сознательно выбравших жизнь на улице, попрошайничество и прикрывающую его торговлю журналами в поиске способов установить контроль над собственной жизнью. Не только их столики (1999, 71) становятся «местом социального взаимодействия, ослабляющим социальные барьеры между людьми, существенно разделенными социальным и экономическим неравенством», не только их уличная торговля оказывает цивилизующее воздействие на всех, к ней причастных, но и сами эти люди своим постоянным видимым присутствием на улицах, оказывается, способствуют усилению социального единства. Подобным образом Кэтрин Ньюман в своей книге настаивает, что подростки Гарлема свободны в своем выборе между пособием и зарплатой, легальной работой и торговлей

наркотиками, зависимостью от государства или работой в низкооплачиваемых, но «нестыдных» местах предприятий сервиса. Понятно, что скептически настроенный читатель рано или поздно не вынесет такого розового портрета нью-йоркских отверженных. Однако эти книги, рассказывающие о ежедневном мужестве представителей социального дна крупных городов, пользуются большим успехом у американской читающей публики. Однако, они, встретили достаточно сдержанную реакцию в академических кругах, где с тревогой наблюдают размывание границ между исследовательским журнализмом и полевой работой и снижение стандартов научной состоятельности, вызванных, повторим, ориентацией издательств на прибыль, а потому продаваемость социологических книг. Продаваемость увеличивают такие приемы, как отделение достойных бедных от недостойных, истории успеха достойных, социальный оптимизм, сопровождающийся замалчиванием вопроса о том, «кто правит». Прочтет читатель такую книгу и сможет дальше предаваться иллюзии о том, что он живет в справедливом и демократическом обществе, где стоящие люди, пусть даже им не везет, обязательно «пробьются».

Социолог **Лоик Вакант**, подробно разобрав недостатки каждой из этих книг (2002), приходит вот к каким существенным выводам. Во-первых, нарастающая коммерциализация деятельности академических издательств увеличивает озабоченность авторов и редакторов перспективами продаж книг, что приводит к активному использованию давно оправдавшей себя романтизации отверженных. Другое дело, что на дворе – неолиберальные времена, так что социальные исследователи подключаются к пропаганде новой государственной политики «менеджмента» бедных, в центре которой – возлагание на них самих ответственности за собственный удел. Если нарисовать часть их выбирающими в пользу честного труда, то о тех, кто все-таки «выбирает» иное, легче сказать, как это делалось в 1960–1970-е годы, «сами виноваты». Во-вторых, Вакант констатирует отсутствие впечатляющей теории, которую можно было бы положить в основу подобных исследований. Вакант скептически оценивает перспективы основанной на эмпирических

наблюдениях теории (*grounded theory*), называя индуктивистскую установку на то, чтобы начать с вещей, увиденных и услышанных на улице, и закончить теоретической для них рамкой, «эпистемологической сказкой» (1481). В-третьих, он в организации обучения и карьерного роста в высшей школе Америки видит главную причину двух распространенных заблуждений: того, что проведение полевой работы дает ученому индульгенцию на «теоретическую рассеянность» и того, что «социальные теоретики» не должны марать руки об эмпирическое исследование, поскольку к ним потом не будут относиться серьезно» (1523). В-четвертых, он находит недостаточным часто выдвигаемый городскими этнографами аргумент, что, хотя с теоретической точки зрения их работы могут вызывать вопросы, они преследуют лишь скромные цели описания повседневных практик своих информантов. Микромир субъектов исследования тесно связан с макромиром масштабных материальных и символических отношений (1523): «в каждый синхронный срез наблюдаемой реальности встроено двойное “оседание” исторических сил в форме институтов и обладающих телами агентов, наделенными особыми способностями, желаниями и предрасположенностями», каждый фрагмент, избранный для изображения, связан с интуицией или несформулированными гипотезами, определяющими, какие именно сведения будут избраны из обилия эмпирического материала, так что городская этнография и сильная теория взаимодополнительны.

В своем сравнительном исследовании городской маргинальности в городах Америки и Франции «Городские отверженные» (2006) Вакант использует метод систематического картографирования социальной дифференциации в гетто той и другой страны. Это позволяет ему выявить внутренний социальный антагонизм между теми, кто понимает неизбежность приспособления к структурам общества, где доминируют белые, и деморализованными агентами неформальной экономики. Эти «позициональные» различия открываются исследователю только в результате длительного наблюдения, связаны с различиями в предрасположенностях

людей, что живут по разные стороны этой невидимой границы внутри гетто, и при посредстве накапливаемой динамики социального и морального дистанцирования определяют, насколько разные судьбы уготованы людям, вроде бы происходящим из одного места. Вакант также вводит понятие сломанного габитуса, созданного из противоречащих друг другу когнитивных и эмоциональных схем, возникшего в результате длительного существования в условиях социальной нестабильности и порождающего противоречащие друг другу поступки, окончательно лишаящие их носителя шанса эффективно приспособиться. Разруху в районах муниципального жилья в США и упадок пригородов вокруг крупных французских городов объединяют безработица, плохие жилищные условия, насилие, социальная изоляция и преобладание мигрантов – все это включает в себя, как он выражается, «фантастический» трансатлантический дискурс «геттоизации». Экономические и символические силы соединяются в том, что, например, разложение французского рабочего класса усугубляется его стигматизацией со стороны тех, кто «символически доминирует». Три десятилетия назад, знаменитый коллега Ваканта в «Различениях», допускал, что это солидарность с другими помогает рабочим противостоять символическому насилию настолько успешно, что искусство жить им совсем не чуждо, а жизненные испытания научили их мудрости.

Конец 1990-х годов отмечен окончательным исчезновением классовой солидарности. Исключенность из общества уже ничем не прикрыта и не украшена. Как и аристотелевские правители, современные городские власти успешно приучают городских обитателей к социальному порядку, оставляя без минимальной социальной защиты «неподдающихся».

## ЛИТЕРАТУРА

*Аристотель*. Политика//Сочинения в 4-х тт. Т.4. М., 1984.

*Арутюнян, Ю.В.* О симптомах межэтнической интеграции в постсоветском обществе (по материалам этносоциологического исследования Москвы)//Социс.2007. № 7. С.

*Арутюнян, Ю.В.* Москвичи. Этносоциологическое исследование. М. : Наука, 2007.

*Арутюнян, Ю.В.* Введение//Русские (Этносоциологические очерки). М., «Наука», 1992.

*Бредникова О., Паченков О.* Азербайджанские торговцы в Петербурге: Между «воображаемым сообществом» и «первичными группами» //Диаспоры. 2001. № I. С. 132-147.

*Будина О.Р., Шмелева М.Н.* Город и народные традиции русских. По материалам Центрального района РСФСР. М., 1989.

*Вендина О.* Могут ли в Москве возникнуть этнические кварталы? // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2004. № 3 (71). С. 52-64.

*Вендина, О.* Мигранты в Москве: грозит ли российской столице этническая сегрегация?//

Миграционная ситуация в регионах России. Вып. 3. М., Центр миграционных исследований Института географии РАН. 2005.

*Воронков, В.* Рецензия на «Национальный вопрос в городском сообществе...»//Неприкосновенный запас. 2004. № 6.

*Дятлов, В.* «Кавказцы» в российской провинции: криминальный эпизод как индикатор уровня межэтнической напряженности // Вестник Евразии, 1995, № 1 (в соавторстве). С. 46-63.

*Дятлов, В.* Кавказцы в Иркутске: конфликтогенная диаспора // Нетерпимость в России: старые и новые фобии. М., Моск. Центр Карнеги, 1999. С. 113-135.

*Дятлов, В.* Торговые меньшинства как источник этнополитической напряженности в российской провинции (на примере Иркутска) // В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии. М., Наталис, 1999. С. 240-265.

*Дятлов, В.* Диаспора: попытка определиться в понятиях // Диаспоры, 1999. № 1. С. 8-23.

Миграция китайцев и дискуссия о «желтой опасности» в дореволюционной России // Вестник Евразии, 2000. № 1 (8). С. 63-89.

*Дятлов, В.* Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). М., Наталис, 2000.

*Дятлов, В.* «Шанхай» в центре Иркутска. Экология китайского рынка // Экономическая социология. 2004. Т. 5. № 4 (в соавторстве). С. 56-71.

*Дятлов, В.* Диаспора: экспансия термина в общественную практику современной России // Диаспоры, 2004. № 3. С. 126-138.

Байкальская Сибирь: из чего складывается стабильность/Под ред. В. И. Дятлова и др. Москва – Иркутск, Наталис, 2005. 320 с.

*Драгунский, Д.* Демографический туман и национальные перспективы //Космополис, 2003, № 3. [электронный ресурс] [demoscope.ru/weekly/2003/0137/analit06.php](http://demoscope.ru/weekly/2003/0137/analit06.php)

*Гудков, Л.* Выступление на научном семинаре Евгения Ясина в Фонд «Либеральная миссия» 20.09.2006 [электронный ресурс] [http://www.liberal.ru/sitan\\_print.asp?Rel=168](http://www.liberal.ru/sitan_print.asp?Rel=168)

*Карпенко, О.* «...И гости нашего города...»//Отечественные записки. 2002, №6.

*Малахов, В.* Этничность в большом городе// Неприкосновенный запас. 2007. N 1.

*Лейбович, О.Л., Стегний, В.Н., Кабацков, А.Н., Лысенко, О.В., Шушкова, Н.В.* Национальный вопрос в городском сообществе. Социокультурные характеристики межнациональных отношений в большом уральском городе на исходе XX века. Пермь: Пермский государственный технический университет, 2003.

*Соколов, М.* Социологический солипсизм: анализ одной научной позиции// Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Том VIII. № 1 С.198-210.

*Старовойтова Г.В.* Этническая группа в современном городе. Л., Наука, 1987.

*Трубина Е.* Рассказанное Я: Отпечатки голоса. Екатеринбург: УрГУ, 2002.

*Чистов К.В.* Послесловие //Старовойтова, Г. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев. Лимбус Пресс, 1999. С. 196-203.

*Этничность и экономика в постсоциалистическом пространстве: Сб. статей: По материалам международного семинара (Санкт-Петербург, 9 - 12.09.1999) / Под ред. О.Бредниковой и др. СПб. : Центр независимых социологических исследований. 2000. СПб, 2000.*

*Anderson, E. Code of the Street. Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. New York: W. W. Norton & Company, 1999.*

*Brettell, C. The City as Context: Approaches To Immigrants and Cities//Proceedings, Metropolis International Workshop, Lisbon, Sept. 28-29. 1999. Luso-American Development Foundation.*

*Dual City: Restructuring New York/Mollenkopf, J.H. and Manuel Castells, M. (eds). New York: Russell Sage Foundation, 1991.*

*Duneier, M. Sidewalk. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1999.*

*Gans, H. J. Urban Villagers: Group and Class in the Life of Italian-Americans. New York: Free Press, 1982 (1962).*

*Gans, H. J. The Levittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. New York: Columbia University Press. 1967.*

*Gans, H. J. 1968. Urban Vitality and the Fallacy of Physical Determinism (Review of Jane Jacobs' book) //People, Plans and Policies: Essays on Poverty, Racism, and Other National Urban Problems. New York, NY: Columbia University Press, 1994. P. 30-40.*

*Glazer, N., Moynihan, D.P. Beyond the Melting Pot. Cambridge: MIT Press. 1970*

*Mumford, L. Mother Jacobs' Home Remedies for Urban Cancer //The New Yorker. Dec. 1. 1962.*



*Fong, T.P.*, The First Suburban Chinatown: The Remaking of Monterey Park, California. Philadelphia: Temple University Press, 1994.

*Friedman, J. and Wolff, G.* World city formation, an agenda for research and action//International Journal of Urban and Regional Research. 1982. No. 6. P.309-344.

*Harvey D.* Social Justice and City. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1973.

*Harvey, D., Chatterjee, L.* Absolute Rent and the Structuring of Space by Governmental and Financial Institutions // Antipode. 1974. Vol. 6, No.1, pp 22-36.

*Marcuse, P., van Kempen, R.* (Eds.) Of States and Cities: The Partitioning of Urban Space. Oxford: Oxford University Press, 2002.

*Marcuse, P.*, 'Dual City': a muddy metaphor for a quartered city // International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 13. No. 4. P. 697—708.

*Marcuse, P.*, The Enclave, the Citadel, and the Ghetto: What has Changed in the Post-Fordist U.S. City //Urban Affairs Review. Vol. 33. No. 2. P. 228-264.

*Marcuse, P.*, Cities in Quarters// Watson, S., Bridge, G. (eds.), A Companion to the City. Oxford: Blackwell Publishers. 2000. P. 270-281.

*Newman, K.S.* No Shame in My Game: The Working Poor in the Inner City. New York: Knopf, 1999.

*Peterson, E.* Cities are abnormal //Cities Are Abnormal. Ed. E Peterson. Norman: University of Oklahoma Press. 1946. P. 3 – 26.

*Pulido, L., Sidawi, S., Vos, B.* An Archaeology of Environmental Racism in Los Angeles // *Urban Geography*. 1996. Vol. 17. No.5. P. 419-439.

*Wacquant, L.* Scrutinizing the Street: Poverty, Morality, and the Pitfalls of Urban Ethnography//*American Journal of Sociology*. 2002. Vol.107. No.6. P. 1468–1532.

*Wacquant, L.* Urban Outcasts: Toward a Sociology of Advanced Marginality (Cambridge: Polity, 2006).

*Waldinger, R.* Strangers at the Gates: New Immigrants in Urban America. Berkeley: University of California Press, 2001.

*Wirth, L.* Urbanism as a Way of Life//*The City Reader*/Eds/ LeGates, R.T., Stout, F. London: Routledge, 1996. P. 97-106.

«Русские. Этносоциологические очерки» М: “Наука” (1992)

## ТЕМА 9. ГОРОД И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Приступая к теориям городской повседневности, мы сталкиваемся с уже знакомой проблемой. В контексте данной главы – это проблема соотношения теоретического обсуждения повседневности «вообще» и городской повседневности. Немецкий феноменолог **Бернхард Вальденфельс**, обсуждая типы понимания повседневности, о городе рассуждает вот в каком контексте. Различные формы деятельности, включенные в разные сферы жизни, подчиняются несопоставимым правилам и существуют автономно. Повседневность же – это пространство для соединения разделенного и встречи всего и вся. В этом смысле она противостоит нарастающим фрагментации нашей жизни и несопоставимости логик, определяющих общение с близкими

или чужими людьми. Повседневность представляет собой «место обмена и обмен мнениями». Город и есть такое место. Он проявляет суть таким образом понимаемой повседневности. Он, однако, может стать «плавильной печью» для обособленных ценностей и стилей жизни при двух условиях. Во-первых, если «ему удастся противостоять тотальной функционализации». Приходят на ум многочисленные в нашей стране города, в центре которых – «градообразующие предприятия». Города, возникавшие для выполнения единственной функции – беспрепятственного воспроизводства промышленной рабочей силы для заводов – имеют небольшие шансы стать «местом обмена». Во-вторых, если это – большой город. Тогда город может быть «чем-то большим, нежели собранием памятников культуры, построек специального назначения и линий движения транспорта» [1991, 48–49].

И действительно, это жизнь больших городов легла в основу всех известных нам теоретических подходов к повседневности «вообще». Британский географ **Найджел Трифт** не без иронии замечает: «Трудно представить ситуационистов в Стивенэйдже, де Серто в Катфорде или Лефевра в Льюисхеме» [2000, 399]. Льюисхэм, к примеру – депрессивный лондонский жилой массив, часто именуемый «городом крэка». Ничего не говорящие нам названия призваны продемонстрировать неизбежность, с какой предметом описания городской повседневности классиками становились не просто большие города, часто столицы, но центры этих городов – Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Вес уже написанного об этих особых пространствах таков, что, кажется, любой сиюминутный жест, а тем более взгляд исследователя из своего окна, расположенного в средоточии цивилизованного мира, приобретает в них особую значительность. Это города с аурой, словно приглашающие зарыться в «чудесных складках изношенного каменного пальто», как некогда написал Беньямин о Париже. Они – сладкая, не отпускающая от себя отравка. Они ошеломляют. Многое из того, что Беньямин пишет об ауре произведений искусства, приложимо и к ним: эффект ауры состоит, вероятно, в соединении качества нашего переживания и собственно культурной среды, которая это

переживание делает возможным. Здесь индивид переживает особые игры пространства и времени, сам становясь местом встречи с миром, встречи мимолетного мгновения и вечности, мифа и рациональности, приватного и публичного, экстерьера и интерьера.

Если место городской повседневности – это именно большие города, то как дело обстоит с ее временем? Велик соблазн вычленив в повседневности ее сиюминутные проявления и другое, «длинное» время и проследить одновременное протекание разных длительностей или тепоральностей повседневности. Тогда возникает проблема соединения в повседневности моментов новизны, которой бомбардирует нас город (новые здания, моды, нравы), и более «медленного», «геологического» ее измерения. В литературе о повседневности я бы выделила как минимум три варианта такого соединения.

Это, во-первых, соединение повседневности и, так сказать, повседневности. Желание и страх – невидимая эмоциональная инфраструктура городов. **Зигмунд Фрейд** [1997], **Вальтер Беньямин** [2000], автор замечательной книги «Незримые города» [1997] итальянский прозаик **Итало Кальвино**, британский географ **Стив Пайл** [1996] описали парадоксальные соединения между городскими фантазмагориями и реальностями. Города – переплетение ассоциаций, соединение парадоксов и двусмысленностей, образов, представляющих желания и скрывающих страхи.

Во-вторых, это воспроизводство «структур повседневности». В трудах **Фернана Броделя** [2007] была всесторонне развита мысль о том, что пестрота новизны не должна заслонять от нас степень, в какой каждый из нас безотчетно воспроизводит целый ряд рутинных действий, уходящих во времена, когда отношения людей с местами их обитания только становились. Бродель, как и Вальденфельс, также считает, что повседневность (и прежде всего вещи, которые являются ее опорой – еда, одежда, жилище) проявляет суть общества. Но вот незадача: эти мелочи обычно ускользают от внимания. Вот почему их нужно тщательно рассмотреть, так сказать, прочитать, а затем очистить от этой корки мелочей спрятанную под ней структуру. Но чтение повседневности –

задача поистине безбрежная: начав с одного, переходишь к другому, а заканчиваешь «взвешиванием» мира, т. е. пониманием того огромного места, которое занимает в нем материальная жизнь. Немного облегчает дело то, что у материальной жизни медленные ритмы, которые поддаются описанию на языках демографии, пищи, одежды, жилища, технологии, денег, городов. Обычно эти истории пишутся отдельно друг от друга и остаются на периферии общепринятой истории. Таким образом, повседневность проявляется через потребляемые вещи и людей, вовлеченных в практики их использования, через незначительные повторяющиеся обыденные детали. Просеивая эту «пыль истории», ученый способен за видимым беспорядком усмотреть порядок, к обычной истории добавить историю повседневности и тем самым увековечить повседневность как основу материальной жизни, почти неподвижную в своей рутинности под бременем более динамичного течения экономической жизни, т. е. рыночной экономики, и «реального капитализма». Незаметные, никому не известные жизни, страдающие от неравенства и несправедливости, составили (и продолжают составлять) фундамент капиталистической динамики.

Бродель настаивал на нашей бессознательной вовлеченности в повседневность, структуры которой – мотивы, импульсы, стереотипы, способы действия – многое за нас решают. Это «длинное» время больших городов описано наиболее подробно литераторами и историками в историях больших городов, позволяя нам сравнивать с ними ритмы труда и отдыха и меру свободы нравов в своем городе. **Питер Акройд** в «Биографии Лондона» [2005] воссоздает эволюцию лондонских толп с XVI по XX в., сопровождающуюся нарастанием их безличности и безразличия: «это исполинское месиво безымянных и неразличимых особей, это великое стечение неведомых душ воплощало как энергию города, так и его бессмысленность» [2005]. Он тщательно реконструирует жизнь лондонских детей и пьяниц, женщин разных сословий и городских оригиналов, давая читателю возможность насладиться фактурой вроде бы исчезнувшей жизни. Однако же концентрация на нынешних лондонских улицах мужчин с сизоватыми носами и количество «фриков»

убеждают, что, по меньшей мере, «длинное» время эксцентричности и излишеств каким-то образом в лондонской современности воспроизводится.

В-третьих, это «геология» собственно вещного мира повседневности. Опять-таки при всей стремительности заполнения нашей жизни все новыми предметами (некоторые из них способны создавать новые практики или видоизменять традиционные практики повседневности) [см.: **Гладарев**, 2006], целый спектр необходимых для жизни вещей укореняет нас в истории. Как подчеркивает **Ирвинг Гофман** «Мы не можем сказать, что миры создаются здесь и сейчас, потому что независимо от того, говорим ли мы об игре в карты или о взаимодействии в ходе хирургической операции, речь идет об использовании некоторого традиционного реквизита, обладающего собственной историей в большом обществе» [Goffman, 1967, 27–28]. Пьем ли мы кофе [**Алябьева**, 2006], обретаем ли особый опыт жизни в коммунальной квартире [**Утехин**, 2004], отмечаем ли праздники [**Дубин**, 2004], вещный мир сообщает социальной жизни устойчивость.

Но все же как можно помыслить город как место (и время) повседневности? Одна линия исследования городской повседневности связана с поиском сути социальности и того, как она, собственно, дана человеческому восприятию. Если мы хотим мыслить повседневность в ее связи с нашим отношением к социальному миру, то мы должны проблематизировать наше внимание к повседневности, увидеть, так сказать, его место и характер.

Эксперты по повседневности единодушно замечают, что наше внимание фрагментарно и мимолетно. Во-первых, в городе слишком многое происходит одновременно, и мы спасаемся от эмоциональных перегрузок поверхностностью внимания. Во-вторых, повседневность складывается из того, что мы и не настроены замечать. Невидимая инфраструктура городской жизни, делающая эту жизнь достаточно упорядоченной и предсказуемой, принимается нами, как должное. В-третьих, наше внимание связано с переживанием городской жизни: с обменом мимолетными взглядами, подслушанными разговорами, визуальным пиром летнего города, с легкостью и

изобретательностью одеяний его обитателей или депрессивностью затянувшейся зимы. Оно также связано с опытом городской жизни и обусловленным и им предрасположенностями. И действительно: совершая рутинные действия и передвижения, что мы замечаем? На что на минуту отвлекаемся? Привлекают ли наше внимание выплески спонтанности, скажем, громко кричащие подростки? Остолбеневаем ли мы от смелого наряда прохожей? Хмыкаем ли мы заинтригованно, увидев пожилого незнакомца с молодой спутницей? Вглядываемся ли тайком в детали жизни обитателей благополучного квартала? Настроены ли мы блюсти приличия или, скорее, удовлетворяя любопытство, «шпионить» за жизнью других? Обличители мы недостатков или замотанные рабочие лошади? В повседневности для всех есть место, но сама эта область жизни содержит противоположные потоки интересов. Во-первых, в ней, если это публичная повседневность, ты – не один, а потому должен считаться с приличиями. Во-вторых, ты не можешь оставить дома самое главное свое содержание – опыт и желания, а потому они, так или иначе, прорываются и делаются явными для других. Отсюда – осмысление повседневности как области конфликта. Одна сторона конфликта – те силы, что принуждают, подсматривают, журят, напоминают, регулируют, штрафуют. Другая – все мы, дорожащие свободой и самовыражением. Эту линию осмысления повседневности создали Зигмунт Фрейд, Анри Лефевр, Ирвинг Гофман, Мишель де Серто.

Именно в повседневности проявляются следы нашего подчинения и нашего сопротивления социальному порядку. Но, может быть, повседневность сама и является сферой доминирования каких-то социальных сил? Именно так ее рассматривают феминисты и другие исследователи, для которых важнее всего – политическая задача критики повседневности как сферы угнетения. В этой работе соединяют усилия философы и исследователи, работающие в области *cultural studies*. Итальянский философ **Джорджо Агамбен**, исследовавший те пространства, в которых воплощается в европейской истории чрезвычайное положение, права человека не выполняются, а его жизнь сведена

к животной, пишет: «Сегодня нам следует ожидать не только появления новых лагерей, но и всегда новых психиатрических регулирующих определений категорий жизни в городе. Лагерь, который сегодня надежно угнездился внутри города – это новый биополитический *номос* планеты» [1998, 176]. Он призывает [там же, 181] не только урбанистов, но и социальных теоретиков, социологов, архитекторов пересмотреть в этом свете модели понимания и организации общественных мест мировых городов

Объявленная правительствами многих городов война против наркотиков, преступности, терроризма и бедности выражается не только в повышенных мерах безопасности в аэропортах, на стадионах и концертных залах, но и в кампаниях «нулевой толерантности», сопровождающихся жестким обращением с проблемными группами населения – «цветной» молодежью, безработными, уличными торговцами и т.д. Нарушение «дресс-кода» может стать поводом к надеванию наручников, а «неформальное» поведение – предметом пристального внимания милиции.

Спокойствие, необходимое для повседневной жизни городского обитателя, сочетается со страхом: что, если именно тот магазин, куда ты ходишь за покупками, та ветка метро, которой ты пользуешься, тот аквапарк, куда в кои веки выбрался, станут роковыми для тебя – из-за чьей-то небрежности или злой воли. Амбивалентность повседневности – вот характеристика, которую выдвигают на первый план исследователи города. Настроенность городского обитателя на возможность неожиданной встречи и разъедающая его тревога о будущем и безопасности близких, повседневность как объект неустанного регулирования и пространство для выплесков жизненной энергии, сочетание в ней инерции и традиции, с одной стороны, и неустанных изменений, с другой – только некоторые проявления этой амбивалентности. Рассмотрим, каким образом развивалась теоретическая традиция понимания городской повседневности как сочетающей статус-кво и его оспаривание.



## Улицы как места обитания коллектива: Вальтер Беньямин

В той индустрии, что сложилась в философии и *cultural studies* вокруг имени и идей Вальтера Беньямина, доминирует специфический субъект современного города – фланер. Беньямин обнаружил фигуру фланера в текстах Бодлера. У последнего – это горожанин, любопытство и героическое отстаивание собственной самобытности которого делало его эмблемой современности. Фланерство предполагало такую форму созерцания городской жизни, в которой отстраненность и погруженность в ритмы города были нераздельны, вот почему Бодлер говорит о «страстном зрителе». Беньямин в первой версии своего эссе о Бодлере и городской современности пишет, что фланер – это старик, лишний, отставший от жизни городской обитатель, жизнь города слишком стремительна для него, он сам скоро исчезнет вместе с теми местами, что ему дороги: базары сменятся более организованными формами торговли, и старик сам не подозревает, что подобен в своей неподвижности товару, обтекаемому потоком покупателей. Позднее Беньямин приходит к более знакомому нам описанию «гуляки праздного», который не спешит по делам, в отличие от тех, с кем его сталкивает улица. Фланера описывали и как привилегированного буржуа, царившего в публичных местах, и как потерянного индивида, раздавленного грузом городского опыта, и как прототипа детектива, знающего город как свои пять пальцев, и просто как покупателя, с радостью осваивавшего демократичную массовую культуру XIX в. Но чаще всего фланер наделяется особой эстетической чувствительностью, для которого город – источник нескончаемого визуального удовольствия. Аркады торговых рядов соединяют для него ночь и день, улицу и дом, публичное и приватное, уютное и волнующе-небезопасное. Фланер – воплощение нового типа субъекта, балансирующего между героическим утверждением собственной независимости и соблазном раствориться в толпе. Причина беспрецедентной популярности этой фигуры – в скандальности ее ничегонеделанья, бесцельных прогулок, остановок около витрин, *глазения*,

неожиданных столкновений. Другие-то в это время демонстрируют свою продуктивность, добросовестно трудясь либо проводя время с семьей. «Левых» исследователей образ фланера привлекал потенциалом сопротивления преобладающим моделям поведения, героизмом противостояния бюргерству и негативным диагнозом капитализма. Этот образ вызвал также прилив интереса исследователей к публичным пространствам, в частности, центральным улицам, гуляя по которым люди становились объектами взглядов друг друга.

Между тем в «Пассажах» Беньямин подробно описывает другого городского субъекта – «коллектив», который постоянно и неустанно «живет, переживает, распознает и изобретает» [1999, 423]. Если буржуа живет в четырех стенах собственного дома, то стены, меж которыми обитает коллектив, образованы зданиями улиц. Коллективное обитание – активная практика, в ходе которой мир «интериоризируется», присваивается в ходе бесконечных интерпретаций так, что на окружающей среде запечатлеваются следы случайных изобретений, иногда меняющих ее социальную функцию. Беньямин остроумно играет аналогиями между жилищем буржуа и обиталищем коллектива, выискивая на улицах Парижа и Берлина своеобразные эквиваленты буржуазного интерьера. Вместо картины маслом в рисовальной комнате – блестящая эмалированная магазинная вывеска. Вместо письменного стола – стены фасадов с предупреждениями «Объявления не вывешивать». Вместо библиотеки – газетные витрины. Вместо бронзовых бюстов – почтовые ящики. Вместо спальни – скамьи в парках. Вместо балкона – терраса кафе. Вместо вестибюля – участок трамвайных путей, на котором рабочие весят свои жакеты. Вместо коридора – проходной двор. Вместо рисовальной комнаты – торговые пассажи. Дело, как мне кажется, не в попытке мыслителя подобными аналогиями сообщить достоинство жизни тех, у кого никогда не будет «настоящих» рисовальной и библиотеки. Его, скорее, восхищает, способность парижан делать улицу интерьером в смысле ее обживания и приспособления для своих нужд. Он цитирует впечатление одного наблюдателя середины XIX в. о том, что даже на вывороченных для ремонта из мостовой булыжниках

немедленно пристраиваются уличные торговцы, предлагая ножи и записные книжки, вышитые воротнички и старый хлам.

Беньямин, однако, подчеркивает, что эта среда обитания коллектива принадлежит не только ему. Она может стать объектом радикального переустройства, как это произошло в Париже во время реформ барона Османа. Проведенная Османом радикальная перестройка Парижа отражала увеличение стоимости земли в центральных районах города. Извлечению максимума прибыли мешало то, что здесь издавна жили рабочие (об этом также шла речь в главе «Город как место экономической деятельности»). Их обиталища сносились, а на их месте возводились магазины и общественные здания. Вместо улиц с плохой репутацией возникали добропорядочные кварталы и бульвары. Но опять-таки «османизация», которой посвящено немало страниц «Пассажей», описывается Беньямином вместе с теми возможностями, которые и преобразованная материальная среда города открывает для присвоения ее беднотой. Широкие проспекты – не просто навсегда овеществленные притязания буржуазии на господство: они открыты для формирования и кристаллизации культурного творчества пролетарских коллективов. Прежде беднота могла найти для себя убежище в узких улицах и неосвещенных переулках. Осман положил этому конец, провозгласив, что наступило время культуры открытых пространств, широких проспектов, электрического света, запрета на проституцию. Но Беньямин убежден, что уж если улицы издавна стали местом коллективного обитания, то их расширение и благоустройство – не помеха для тех, кому они издавна были домом родным. Рационалистическое планирование, конечно, – мощная, неумолимая сила, претендующая на такую организацию городской среды, которая и прибыль бы гарантировала и гражданскому миру способствовала. Власти извлекли урок из уличной борьбы рабочих: на мостовых были устроены деревянные настилы, улицы расширены, в том числе и потому, что возвести баррикаду на широких улицах гораздо сложнее, к тому же по новым проспектам жандармы могли вмиг доскакать до

рабочих кварталов. Барон Осман победил: Париж подчинился его преобразованиям. Но баррикады выросли и в новом Париже.

Одну часть работы Беньямин посвящает смыслу возведения баррикад на новых, благоустроенных улицах: пусть не надолго, но они воплотили потенциал коллективного изменения городского пространства. В XX в., когда память о революционных потрясениях, которые легли в основу новых праздников, стерлась, только проницательный наблюдатель может почувствовать связь между массовым праздником и массовым восстанием: «Для глубокого бессознательного существования массы радостные праздники и фейерверки – это всего лишь игра, в которой они готовятся к моменту совершеннолетия, к тому часу, когда паника и страх после долгих лет разлуки признают друг друга как братья и обнимутся в революционном восстании» [2000, 276].

Тем временем власти и коммерсанты разработали другие стратегии взаимодействия с городскими «коллективами». Разнообразные блага цивилизации становились все более доступными в складывающемся обществе потребления: активно, в качестве именно «народных праздников» проводились всемирные и промышленные выставки, во время которых, «рабочий человек как клиент находится на переднем плане» [2000, 158]. Так складывались основы индустрии развлечений. Вторым значимым средством эмансипации городских обитателей стал кинематограф, как нельзя лучше отвечавший тем сдвигам в механизмах восприятия горожан, которые пришлись на рубеж XIX–XX столетий. О массовом предназначении нового искусства свидетельствует не только тот факт, что первые кинотеатры возникли в рабочих кварталах и иммигрантских гетто, но и то, что в 1910–1930 гг. их строительство активно шло параллельно в центре городов и в пригородах.

В «Произведении искусства в век механической воспроизводимости» читаем: «Наши пивные и городские улицы, наши конторы и меблированные комнаты, наши вокзалы и фабрики, казалось, безнадежно замкнули нас в своем пространстве. Но тут пришло кино и взорвало этот каземат динамитом десятых

долей секунд, и вот мы спокойно отправляемся в увлекательное путешествие по грудам его обломков» [2000, 145]. Выставки и кинотеатры, а еще универмаги – места фантасмагории, места, куда люди приходят, чтобы отвлечься и развлечься. Фантасмагория – эффект волшебного фонаря, создающего оптическую иллюзию. Фантасмагория возникает, когда умелые мерчендайзеры раскладывают вещи так, что люди погружаются в коллективную иллюзию, в мечты о доступном богатстве и изобилии. В опыте потребления, главным образом воображаемого, они обретают равенство, забывая себя, становясь частью массы и объектом пропаганды. «Храмы товарного фетишизма» обещают прогресс без революции: ходи меж витрин и мечтай, что все это станет твоим. Кинотеатры помогут избавиться от чувства одиночества.

### **Эстетическое и повседневное**

В городах повседневная жизнь подверглась коммодификации (или товаризации – встречается и такой вариант перевода слова *commodification*). Начало эстетизации как мира товаров, так и мира повседневности, было положено, согласно Беньямину, в XIX в., с созданием первых универсальных магазинов, в которых отрабатывались стратегии привлекательной раскладки новинок, с нарастанием ценности балконов, с которых можно было обозревать толпу в безопасном отдалении от запахов и столкновений. Производство вещей и социальное воспроизводство, массовое потребление и политическая мобилизация в представлении Беньямина – все это соединяется в городском пространстве. Знаменитый фланер интересен мыслителю и его замороженностью изящными мелочами, умело расположенными в витрине и на прилавке. Мечты фланера – и о деньгах, на которые все это можно купить. Описывая в эссе «Париж, столица девятнадцатого столетия» места, в которых индустрия предметов роскоши нашла возможность показать свои достижения – пассажи и торговые выставки, – Беньямин демонстрирует истоки большинства используемых сегодня способов рекламы товаров и соблазнения покупателей.

Так, говоря о том, что при отделке пассажей «искусство поступает на службу к продавцу», Беньямин предвосхищает размах, с каким большинство сложившихся в рамках искусства стратегий организации зрительного восприятия транслируется и используется визуальной культурой с коммерческими целями. Частью этого процесса становится то, что «фотография, в свою очередь, резко расширяет, начиная с середины века, сферу своего товарного применения» [2000, 157]. Этим достигается «утонченность в изображении мертвых объектов», что кладется в основу рекламы, и придается необходимый ореол «*specialite*» - эксклюзивной товарной марке, появляющейся в это время в индустрии предметов роскоши» [Там же, 159]. «Эксклюзивность», «элитарность», «стильность» – слова, которыми с середины позапрошлого века и поныне пестрят билборды и рекламные проспекты. «Эксклюзивность» девальвировалась от неумеренного употребления, и вот уже в рекламе возводимого жилого дома мы читаем «исключительный». Слова все же второстепенны по отношению к качественному изображению, способствующему, как выразился Беньямин, «интронизации товара»: сегодняшняя журнальная индустрия является плотью от плоти культуриндустрии, опора которой на клише и повторения уже знакомых потребителям сюжетов и ходов, была описана другими представителями критической теории – **Адорно** и **Хоркхаймером**. Еще в 1940-е гг. ими была отчеканена формула, хорошо, как мне кажется, описывающая суть и постсоциалистического культурного потребления: «Градация жизненных стандартов находится в отношении точного соответствия со степенью связанности тех или иных слоев и индивидов с системой» [1997, 188].

Эстетизация охватывает такие тенденции, как театрализация политики, повсеместная стилизация и «брендинг», а самое главное – рост значимости видимости субъектов и тенденций в публичном пространстве и нарастание общей зависимости от тех, кто определяет, кто, что и на каких условиях может быть показано. Согласимся, сегодня именно эстетическое измерение происходящего выходит на передний план, как если бы эстетические

ценности настолько поднялись в общей иерархии ценностей, что их преследование искупает многочисленные жертвы. Проблема не в том, какой стиль и где продвигается, но, скорее – в том, что стиль используется – открыто и скрыто – даже в тех областях, где прежде царила голая функциональность. Эстетизация облика людей, объектов повседневности, городского пространства и политики в качестве доминирующей тенденции фигурирует в наши дни в самого разного рода текстах в качестве само собой разумеющегося аргумента. Эстетика – в виде дизайна – проникает сегодня повсюду, не будучи уже достоянием только общественной, финансовой или культурной элиты: «В некотором смысле эстетическим, убийственно эстетическим, оказывается все» [Бодрийяр, 2006, 106]. Продвижение приятных для наших чувств (и прежде всего зрения) субъектов, предметов и интерьеров становится поистине повсеместным. Способы, какими красота и чувственность, совершенство и роскошь сегодня востребованы, весьма разнообразны, а пути, какими люди побуждаются платить за них, достаточно изощренны. Однако в их основе, по мнению критиков эстетизации – универсальный механизм «низведения <...> до степени всего только объектов администрирования, которым заранее формируется любой из подразделов современной жизни вплоть до языка и восприятия» [Адорно, Хорхаймер, 1997, 56]. Не этим ли механизмом сегодня равно определяются и манипулирование электоратом, и «мерчандайзинг», когда единственный путь к нужному товару в магазине предполагает знакомство со всем ассортиментом, а запах кофе или корицы с яблоками в магазине побуждает к импульсивным покупкам? Задача создания эстетической атмосферы стоит перед стилистами и дизайнерами, политтехнологами и косметологами, осветителями и экспертами, бухгалтерами и рекламщиками, PR-специалистами и оформителями – всеми теми, кто включены в значимый для позднего капитализма процесс деланья из вещей чего-то большего, нежели просто полезные и осязаемые предметы. Эстетизация наращивает как прибавочную стоимость товаров (без подобающей наружности сегодня не будет продан ни один продукт, а эпитет «дизайнерский» часто означает лишь «более дорогой»), так и их потребительную стоимость:

пользование и любование вещами сегодня нерасторжимы. «Стильность» и понимание того, как ее найти, подчеркнуть, продать, продвинуть, навязать, составляют одно из определений того различия, которое «новые культурные посредники», как их называл П. Бурдьё, настойчиво проводят между собой и своими клиентами. Порождать желание и стимулировать новые и новые круги потребления – вот их задача. В итоге практики повседневности, включая и «контркультурные», профессионализируются и коммодифицируются.

### **Повседневность как пространство спонтанности и сопротивления: Анри Лефевр и Мишель де Серто**

Французский неомарксистский философ **Анри Лефевр** говорит о «бюрократии контролируемого потребления», об объединении сил рынка и правительственной власти. Он исследует потенциал повседневной спонтанности: способна ли она противостоять как структурам угнетения, так и рутине обыденности? Повседневность, когда она свободна от рутины и близка по смыслу содержательному досугу, «предполагает самобытный поиск – и неважно, умелый или неуклюжий – стиля жизни, а возможно, и искусства, жизни, рода счастья» [1992, 58].

Лефевр считал повседневность главным углом зрения, под каким следует рассматривать город. Он полемизировал с той традицией осмысления повседневности, которая сложилась в европейской философии во второй половине XIX – начале XX в. Она задана трудами С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Г. Зиммеля, М. Шелера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. В ее основе – дихотомия подлинности индивидуального самопревзойдения и неподлинности повседневного существования с оглядкой на других [Трубина, 2004а, 2004в]. Находясь под влиянием Хайдеггера, Лефевр все же возражает против тезиса о неподлинности повседневности. Повседневность – это «реальная жизнь», происходящая «здесь и сейчас», это место встречи человека и истории. У философии есть долг: начав с анализа повседневности, обрести интеллектуальные орудия понимания современности и ее изменения.



«Конкретность» повседневности и ее творческая энергия должны лечь в основу соединения интеллектуальных и материальных аспектов жизни.

Время повседневности – одновременно кумулятивно и некумулятивно, непрерывно и прерывно. Кумулятивность в нем связана с пронизанностью повседневности языком, который историзирует опыт и включает людей в процессы труда и потребления, что оборачивается реификацией и отчуждением [Lefebvre, 1990, 324]. «Длинное» время повседневности проявляется в архаических временных циклах, связанных с ритуалами, ритмами жизни тела, традиционными символами. Связь в нем прерывности и непрерывности заключается в том, что, с одной стороны, оно образовано следующими друг за другом событиями, с другой стороны, в нем всегда возможны кризис, разрыв, обновление. Это значит, что от своих носителей – людей – повседневность требует не только способности к постоянной адаптации, но и способности к соприкосновению с различными историческими длительностями и пространственными образованиями. Эти последние помогают различить в повседневности противоречия, сформировать адекватное социальное сознание, а тем самым увеличить шансы на индивидуальное и коллективное освобождение. Отчуждение, которым чревата повседневность, может быть преодолено с помощью тех ресурсов, которые она в себе содержит. У понятия повседневности тем самым выдвигается на первый план политическое измерение: призывы к изменению жизни, считает Лефевр, – ничто без создания подходящих пространств. Урок советского конструктивизма, считает он, – в демонстрации взаимосвязи между новыми социальными отношениями и новым типом пространства [1991, 59]. Пространства повседневности – как раз такие пространства: они годятся для изменения, идет ли речь о рутинных практиках или материальных компонентах. Как и все городское пространство, они соединяют «близкий порядок» и «отдаленный порядок», т. е., с одной стороны, практики индивидов и групп, а с другой стороны – институциональные практики [Lefebvre, 1990].

Как Лефевр объясняет необходимость изменения повседневности? С его точки зрения, капитализм создает, «производит» для себя особое, «абстрактное» пространство за счет наложения ограничений на ритмы повседневности. В итоге образуется три типа пространства:

- пространственные практики (они создают повседневность);
- репрезентации пространства (упорядочивающее пространство виды знания, репрезентаций и дискурсов);
- пространства репрезентации (создаваемые материально и телесно).

О первом типе он рассуждает так. Если ты знаешь, что такое «торговый центр», «на углу», «рынок», то ты владеешь соответствующей пространственной практикой ориентации среди городских улиц или шоппинга. Второй тип – карты, чертежи, модели, расчеты, используемые экспертами-профессионалами, создающими и преобразующими пространство. Третий тип – включает эмоционально нагруженные образы, символы и смыслы, мифы и легенды (все это можно было бы назвать культурными пространствами, но Лефевр считает, что использование этого слова не только ничего не проясняет, но и запутывает дело). Святые и проклятые, мужские и женские, прозаические и фантазмагорические места – их объединяет укорененность в истории – и общей и индивидуальной.

Большинство профессионалов, с грустью констатирует Лефевр, заняты репрезентациями пространства. Лишь некоторые – на стороне пространства репрезентации. Так, он противопоставляет Ле Корбюзье, технократическая суть архитектуры которого у него не вызывала сомнений, и Фрэнка Ллойда Райха, создавшего «коммунитарное пространство репрезентации, восходящее к библейской и протестантской традиции» [1991, 43]. Для последовательного марксиста творчество Райха отнюдь не бесспорно, в том хотя бы смысле, что дома стиля «прерия», бесспорно, составили эпоху в архитектуре, но предназначались-то для элиты. А вот были ли когда-то созданы пространства репрезентации, предназначенные для коллективного проживания? Вряд ли. Лефевр прослеживает два параллельных процесса: нарастание абстрактности представлений о

пространстве и подверстывание человеческих телесности и чувственности под идеологические и теоретические нужды. Города в итоге «обестелесниваются», а тела опустошаются: технократам-планировщикам интересны только их полезные функции и предсказуемые движения.

Планы архитекторов, замыслы планировщиков, амбиции властей (репрезентации пространства) и воспринимаемый мир пространственных практик, как правило, находятся в конфликте. Репрезентации побеждают гораздо чаще, так что можно говорить о своеобразной «колонизации» повседневности теми, кто сначала на бумаге воплощает свои специфические о ней представления, а затем принимается за переустройство жизни. Репрезентации пространства представляют собой «смесь понимания и идеологии – всегда относительную и находящуюся в процессе изменения» [Там же, 41]. Вопреки своей абстрактности, они вовлечены в социальную и политическую практику: «отношения, установившиеся между объектами и людьми в репрезентируемом пространстве подчинены логике, которая рано или поздно их ломает в силу недостатка у них последовательности» [Там же]. Сами же эти репрезентации, насыщенные плодами человеческого воображения и символизации, свободны от выполнения требований связности и последовательности. Лефевр упрекает этнологов, антропологов, психоаналитиков в том, что те слишком заиклены на «своих» репрезентациях, описывая, к примеру, сны и детские воспоминания, лабиринты и проходы как образы и символы материнской утробы, игнорируя те варианты репрезентаций, порождаемые социальной практикой, что с ними сосуществуют или им противоречат [Там же, 59-60].

Поскольку повседневная жизнь остается в рабстве у абстрактного пространства (с его очень конкретными ограничениями); поскольку единственные совершаемые улучшения – техническое усовершенствование деталей (например, частота и скорость транспортировки или частично улучшенные удобства); короче говоря, поскольку единственная связь между рабочими пространствами,

пространствами свободного времени и жилыми пространствами задается инстанциями политической власти и их механизмами контроля, постольку проект «изменения жизни» должен оставаться не более, чем политическим призывом, выдвигаемым или оставляемым в соответствии с нуждами момента.

Но творческие проявления телесности («жизнь без теорий», как выражается Лефевр, могут сломать этот грустный расклад, так что тела погруженных в повседневность людей не только опосредуют взаимодействие практик и репрезентаций, но и могут его изменить. Главный вектор этих позитивных изменений – расширение спектра желаний, которые в городах можно удовлетворить, так что их населяли бы не только работники, но и не чуждые разнообразных страстей субъекты. Повседневная жизнь обладает праздничным потенциалом, его только нужно высвободить.

Рассуждения Лефевра трогают своим идеализмом и огорчают допущением, что разрыв между повседневностью и властными структурами – это, в конечном счете, классовый разрыв. Его возмущает молчание «пользователей» городского пространства, смирившихся с тем, что оно преобразуется в соответствии с планами и представлениями властвующих [Там же, 51-52]:

Почему они позволяют манипулировать собой так, что это наносит ущерб их пространствам и их повседневной жизни, не отвечая на это массовым восстанием?.. Скорее всего такое странное равнодушие достигается посредством отвлечения внимания и интересов пользователей, бросания подачек в ответ на их требования и предложения или поставки суррогатов для удовлетворения их жизненных потребностей.

**Мишель де Серто** не уверен, что горожане могут проявить свою креативность лишь в массовом восстании. Его объединяет с Беньямином (и ситуационистами) допущение о том, что городские обитатели могут ежедневно

оспаривать рациональность капиталистического города и даже сопротивляться ей. Ему интереснее те повседневные изобретения и приспособления, которыми люди отвечают на подавление здесь и сегодня. Пространства повседневности таковы, что в них проявляется культурная логика, – считает де Серто. Иногда, правда, «неясные переплетения повседневного поведения» препятствуют ее раскрытию. Для этого приходится занять по отношению к ним дистанцию – подняться, к примеру, на смотровую площадку знаменитого нью-йоркского небоскреба. До неба так близко, что небоскребы кажутся гигантскими буквами, на нем начертанными, а город раскрывается всевидящему взору как огромный текст. Где-то далеко внизу желтеют бесконечные такси и можно только догадываться о том огромном множестве тел, что пишут городской текст, не читая его. «Обычные практики» города, как называет пешеходов де Серто (в том смысле, в каком мы говорим «врач-практик»), обитают в пространствах, которые не осознают, обладают их «слепым знанием», и вместе – своими телами – создают пространственные сети, или поэмы. Процессы, организующие обитаемый город, совершаются вслепую, никто их не создает и никто их не наблюдает. Как далеки они от «геометрических» или «географических» пространств, создаваемых, например, теоретическими конструкциями и от единообразной упорядоченности пересечений улиц, которая открывается взгляду с высоты. «Постоянно взрывающаяся вселенная» [1984, 91] – вот как де Серто называет то, что происходит внизу, у подножия небоскребов. Разнообразие практик реальных людей и пестрота историй, которые эти практики образуют, взрывает единообразие и ясность панорамного традиционного представления о городах.

Де Серто противопоставляет этой абстрактной, спланированной, читаемой пространственности «другую», включающую антропологическое и поэтическое освоение города. Безымянный прохожий – господин повседневности, он ее проживает и создает ему присущими формами обитания в городе, не пытаясь их интерпретировать или переводить на научный язык. Нечитаемость и невидимость – вот, что создает повседневность. Так что ошибаются те, кто считают, что повседневность можно представить, составляя, к примеру, перечни вещей.

Пространственные практики обитателей города оплели весь его невидимой сетью. Какие-то из них можно снять на камеру, описать, заморозить во времени, но самонадеянно считать, что их можно прочитать и осмыслить. Это все равно, что считать карту тождественной территории. Затрудняет их прочтение и то, что они – не рутинное повторение раз и навсегда отработанных приемов, но постоянное приспособление к тому, что навязано, обходные маневры и уловки тех, кто «тоже тут живет» и кто, как может, сопротивляется попыткам регулирования. Де Серто называет такие практики «тактиками» – «искусством слабых». Пространство, где применяются тактики, – «чужое», подчиняющееся правилам чуждой людям власти. Так что тактики – это маневры «в поле зрения врага», это использование углов, скрытых от наблюдения [Там же, 37]. Де Серто считал, что эти сферы автономного действия, объединенные в «сети антидисциплины», противостоят монотонности несвободной повседневности. Тактики используются «непризнанными создателями, поэтами своих собственных дел», прокладывающих свои проходы в «джунглях функционалистской рациональности» [Там же, 34]. Тактики – неформальное использование городских пространств, их присвоение через занятия, не предусмотренные создателями. Сегодня не столько тактики пешеходов, сколько тактики водителей могут служить иллюстрацией. Шоссе и дороги предусмотрены для «стратегического» перемещения из одного пункта в другой. Каким, однако, тактическим разнообразием отмечено поведение людей на дорогах: они флиртуют, выпендриваются, играют с детьми, говорят по телефону (опять-таки, тактики такого говорения могут быть различными), слушают музыку, смотрят фильмы и т. д. Создатели пространств используют «стратегии». Их пользователи – «тактики». Но де Серто допускает и менее дихотомичное толкование: и то и другое сочетается в деятельности людей: первое – систематическая целенаправленная деятельность, связанная с достижением долговременных целей, второе – непосредственные действия, связанные с конкретными и кратковременными задачами.

Он использует термин **пространственные истории**, чтобы подчеркнуть взаимозависимость текстовых повествований и пространственных практик. По

мере того как люди прокладывают себе путь от одной точки города к другой, они создают личные маршруты, насыщенные смыслом. Познакомить других с этим смыслом можно посредством письма. Личные маршруты («пространственные практики») «тайно структурируют определяющие условия социальной жизни» [Там же, 96]. Создатели текстов о городах, выбирая метафоры, создавая противопоставления, выделяя одно и опуская другое, создают истории, которые впоследствии становятся легендами или суевериями, что добавляет описываемым в них пространствам глубину и значимость [Там же, 106–107]. Передвигаясь в рамках физического и социального пространств, каждый из нас несет с собой воспоминания, предчувствия, прихотливые ассоциации. Рано или поздно та часть города, в которой мы обитаем ежедневно (у большинства это маршрут «работа–дом»), становится аналогом нашего личного биографа: в ней материально зафиксированы значимые для нас места. Аналогия с такими текстами, как альбом фотографий (или папка с фотографиями в компьютере) или дневник (или, опять же, блог) здесь очень сильная. Есть места (страницы, снимки), которых мы избегаем. Есть места, которые мы помним другими. Как раз об этом, о том, что наша память и городские места перформативно соединяются каждый раз, когда мы в них оказываемся, де Серто пишет так [Там же, 143–144, курсив автора]:

Память – это лишь странствующий Прекрасный Принц, кому случилось пробудить Спящую Красавицу – истории без слов. «*Здесь была булочная*». «А вот здесь *жила* старая миссис Дупуис». Нас удивляет факт, что места, в которых жили, наполнены присутствием отсутствий. То, что мы видим, означает то, чего уж нет: «*Посмотри*: здесь было...», но больше этого не увидеть... Каждое место преследуют бесчисленные призраки, затаившиеся в молчании, чтобы быть или не быть «вызванными». Человек *населает* только призрачные места – в противоположность тому, что подчеркнуто в *Паноптикуме*.

«Призрачные» места оживляют призраки людей, мест и событий, из которых состоят наши биографии и взаимодействие с освоенной частью города. Воспоминания и предвосхищения вплетены в пространственный опыт и повседневные практики, делая каждого из нас носителем «длинного» времени повседневности и сообщая нам чувство укорененности в обжитом пространстве.

### **Репрезентируемое и нерепрезентируемое в повседневности**

Картина повседневности, нарисованная де Серто, несет на себе отчетливый отпечаток «поворота к языку»: не только городская реальность всегда уже истолкована, представляя перед нами в тех или иных вариантах языковой репрезентации, но и чтение и речь выступают фундаментальными операциями городского существования [Де Серто, 2004, 78]:

Рассказы о путешествиях одновременно воспроизводят топографию действий и порядок общих мест. Они являются не только «приложением» к непритязательным «пешим» высказываниям и риторике. Они не просто замещают эти последние и переводят их в область языка. Они фактически организуют наши перемещения. Повествования слагают путь прежде всего или по мере того, как ноги его проходят.

В речи прогулок пешеходы непредсказуемо проговаривают город – в противоположность зафиксированности созданного планировщиками городского языка – его инфраструктуры, расположения улиц и т. д. Однако обитатели города «говорят», не вполне понимая, что делают, обладая, повторим, «слепым знанием» и образуя с другими горожанами «неясные переплетения». Только тем, кто создает повествования, дано восстановить «читаемость» тех или иных мест, расправить складки сложенных в них веков и вернуть прошлое этих мест тем, у кого оно было украдено. Не получается ли тогда, что де Серто (вместе с Беньямином и Лефевром) создали влиятельное урбанистическое метаповествование, в рамках



которого власти и обитатели города замкнуты друг на друга в бесконечном противостоянии: первые регулируют и организуют, вторые, импровизируя, сопротивляются, не вполне себе в этом отдавая отчет, а потому находясь в ожидании рассказчика о своем уделе?

Австралийский исследователь в области *cultural studies* **Меган Моррис** упрекает де Серто в том, что он, при всем безусловном вкладе в исследования повседневности, предложил слишком универсальный на нее взгляд и обусловил возникновение специфического, неизбежно банального, дискурса о ней: «обычное – более не объект анализа, но место, из которого производится дискурс» [1990, 35]. Исследования повседневности, намеревавшиеся противостоять капиталистической рациональности, все же сами от нее не свободны. В главе о разнообразии, мы уже вели речь о том, что инерция и интересы издательского рынка приводят к возникновению потока однотипных продаваемых урбанистических сочинений. Ирония в том, что описания повседневности сами рискуют стать частью повседневного пейзажа, воспроизводя одни и те же мыслительные ходы об удовольствии, импровизации и сопротивлении. Если же говорить не о социологии городских исследований, но собственно о содержании теории де Серто, Моррис полагает, что сама ее основанность на ряде оппозиций обнаруживает ее чрезмерную абстрактность. «Верх» и «низ», система и процесс, планирование и жизнь, теория и практика, синхрония и история, структура и история, теория и история (*story*) – в каких конкретно пространствах воплощаются первые и вторые члены этих оппозиций? Не получается ли, что чем дальше «вниз», в гущу городской повседневности, тем сложнее обнаружить в ней царство пешеходов, нарисованное де Серто? Исследовательница сомневается в том, что «пространственное распределение функций», таких как «смотрение/движение, наблюдение/действие, картографирование/функционирование», осуществленное де Серто в его теории городской повседневности, можно продуктивно приложить к конкретным городским пространствам, таким, как австралийские пригород или торговый центр. При всей похожести друг на друга каждое из этих мест обладает специфическими историями и функциями. Мужчины и женщины развивают

отличающиеся эмоциональные связи с этими местами, которые вряд ли сможет прочитать «гуляющий грамматик, считающий сходства между местами» [Morris, 1998, 67].

Еще более масштабно несогласие с идеями де Серто, которое выражает **Найджел Трифт**. В главе о неклассических теориях городов уже шла речь о том, что активные исследования культурных репрезентации, проведенные в ходе «культурного» поворота в городской географии и других дисциплинах, вызвали озабоченность тех авторов, которым все же более значимыми кажутся «не-репрезентируемые» измерения городской жизни, т. е. ее материальная среда, инфраструктура и те аспекты человеческого существования, которые ускользают и от осознания и от воплощения в языке. Главная претензия Трифта к де Серто состоит в том, что тот именно язык считает главным ресурсом социальной жизни. Автор так называемой не-репрезентативной теории, Трифт намерен избежать ловушек традиционного репрезентационного мышления, т. е., к примеру, поиска все новых многочисленных примеров культурного маркирования городского пространства. Что же он предлагает? Рассматривать город как поле действия множественных сил, человеческих и не-человеческих, как совокупность самых разнообразных компонентов, среди которых человеческое и социальное отнюдь не всегда лидируют [Amin, Thrift, 2002, 21]: «Урбанизм повседневности должен проникнуть в смешение плоти и камня, человеческого и не-человеческого, недвижимого и текучего, эмоций и действий». Соответственно, взгляд на город де Серто и других кажется Трифту чересчур «гуманистическим», т. е. чересчур человеко-центристским. Поиск проявлений человеческого и человечности в гуще повседневности чересчур подчинен господствующим повествовательным рамкам, которые приводят к тому, что исследователь (сам де Серто и те, кто работают в его традиции) рисует «маленького» простого человека. Вспомним еще раз: тактики – это практики слабых. Увидеть в жизни «слабых» человеческое – значит, воссоздать поэзию повседневности, проявляющуюся не столько в практиках, сколько в легендах и памяти о тех или иных местах. Но и люди и практики и легенды видятся в этой традиции стиснутыми системой, зарегулированными

директивами, надзираемыми полицией и т. д. Трифт же, как и создатель теории акторов-сетей Брюно Латур, вообще не расположен воссоздавать логику той или иной системы, будь то город или общество в целом. Как они с Ашем Амином пишут в недавней книге [Amin, Thrift, 2002, 2], «нам неинтересны системы: это слишком часто предполагает, что у городской жизни есть какая-то имманентная логика». Вместо этого – фокус на «многочисленных систематизирующих сетях», лишь предварительно упорядочивающих теоретическое видение города. Различение же между большим и малым, практиками и системой, мобильностью и инфраструктурой, на которой основаны идеи де Серто – слишком жестко и метафизично. Другое дело, что пока еще неясно, сколько и каких исследователей может привлечь идея о том, что [Ibid, 228] «большую часть жизни в городе составляет, скорее, механическая циркуляция тел, объектов и звуков речи, равно как и наличие и регуляция в ее недрах транс-человеческой и неорганической жизни (от крыс до канализации)».

Более конкретное исследование, которое Трифт предпринимает в полемике с де Серто, нацелено продемонстрировать, что тот неправ еще и в том, что именно прогулки сделал архетипической городской практикой в век, когда люди не столько ходят, сколько добираются от места к месту на машине [Thrift, 2008, 75–88]. «Поворот к материальности» как главный фокус исследования города сегодня (и Трифт, безусловно, – один из ключевых его участников) – это внимание к материальным аспектам городской среды, их активной роли в повседневности. Автомобиль, конечно же, может считаться здесь ключевым агентом. Это автомобилизация определяет то, как город освещается и размечается. Это автомобилисты выработали свой особый язык, который невозможно свести к основным культурным кодам. Но, возможно, еще более интересен в этом контексте своеобразный симбиоз человека и машины, в котором идентичности того и другого участника нерасторжимо переплетены, что порождает разнообразные эмоции, связанные с тем, что машина становится проекцией тела водителя. Там, где вождению способствуют бортовой компьютер и GPS-навигатор, агенто-подобные качества машины становятся еще более выражены, их

становится бессмысленным рассматривать – в духе *cultural studies* 1970-х гг. – только как культурную проекцию сексуальных фантазий или статусных амбиций. Машина тем самым становится вариантом тех городских мест с историями и богатыми функциями, о которых увлеченно писал де Серто. С музыкальной системой (иногда и видео), контролем климата, совершенством эргономики интерьера, коммуникатором и т. д. автомобиль, с одной стороны, делает его обладателя автономным, а с другой стороны – помещает, вместе с другими, его на карту, делая видимым и прослеживаемым издали – родными, полицией, другими автомобилистами. Что тогда остается невидимым в повседневности? Трифт предлагает, скорее, говорить, во-первых, о разных типах видимости, во-вторых, о том, что повседневное поведение отнюдь не всегда неторопливо и отнюдь не всегда находится «по месту жительства», и в-третьих, что автомобилизация, при всех сложностях, что она привносит в жизнь города, несомненно, открывает новые возможности свободы.

Здесь, однако, неизбежно возникает вопрос о цене этой свободы в век непрерывно растущих цен на бензин и других проявлений глобальной взаимозависимости земных обитателей. Воспроизводит ли метанарратив повседневности стиснутой меж тисками власти, британский социолог **Зигмунд Бауман** [1996, 214–215], рассуждая о повседневной жизни, когда он говорит о том, что все мы – «заложники» экспертных знаний и технологий, потребность в которых поддерживается рыночной экономикой? Тогда недостатки городской среды становятся проблемами улучшения нашей собственной жизни: «невыносимый шум уличного движения превращается в необходимость вставить двойные рамы. Загрязненный городской воздух связывается с необходимостью покупки глазных капель... То, что общественный транспорт приходит в негодность, наводит на мысль о покупке автомобиля, а вместе с тем и об увеличении шума, еще большем загрязнении воздуха и усилении болезненного нервного напряжения, равно как и о еще большем расстройстве общественного транспорта». На даче или в путешествии, за чтением или во время волнующего производственного совещания горожане на время снимают с себя «вес» города –

только чтобы, импровизируя и приспособливаясь, возмущаясь и мечтая, вновь ощутить его тяжесть.

## ЛИТЕРАТУРА

- Адорно Т., Хоркхаймер М.* Диалектика просвещения. М.;Спб., 1997.
- Акройд П.* Биография Лондона. М., 2005.
- Алябьева Л.* Кофе и город, или «Какую радость ежедневно дарит нам кофейня!»  
// Теория моды: Одежда. Тело. Культура. Осень 2006. Вып.1.
- Бауман З.* Мыслить социологически. М., 1996.
- Беньямин В.* Озарения. М., 2000.
- Бодрийяр Ж.* Пароли. Екатеринбург, 2006.
- Бродель Ф.* Структуры повседневности. М., 2007.
- Вальденфельс Б.* Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социологос. Вып. 1. Общество и сферы смысла / Сост. В. В. Винокуров, А. Ф. Филиппов. М., 1991.
- Гладарев Б.* Женщина, мужчина и мобильный телефон // Социс., 2006. № 4.
- Дубин Б.* Будни и праздники // Дубин, Б. Интеллектуальные группы и символические формы. М., 2004.
- Серто М. де* Рассказанное пространством // Объять обыкновенное: Повседневность как текст по-американски и по-русски / Ред. Т. Д. Венедиктова. М., 2004.
- Кальвино И.* Незримые города. Киев, 1997.
- Трубина Е.* Признавая обычное: повседневность в философии Стэнли Кавелла // Объять обыкновенное: Повседневность как текст по-американски и по-русски. / Ред.Т.Д.Венедиктова М., 2004. а.
- Трубина Е.* Аутентичность // Современный философский словарь / Ред. В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. М., 2004. б.

Утехин И. Очерки коммунального быта. М., 2004.

Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. СПб., 1997.

*Agamben G.* Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford., 1998.

*Amin A., Thrift N.* Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity, 2002.

*Benjamin W.* The Arcades Project. Cambridge, 1999.

*De Certeau M.* The Practice of Everyday Life. Berkeley, 1984.

*Goffman E.* Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour. N.Y., 1967. (цит. по: Вахштайн В. Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории // Социология вещей. М. 2006.

*Lefebvre H.* Everyday Life in the Modern World. New Brunswick, 1990. (на французском языке работа вышла в 1968 г.)

*Lefebvre H.* Critique of Everyday Life. Vol. 1. L.; N. Y. 1992. (на французском языке работа вышла в 1947 г.)

*Lefebvre H.* The Production of Space. Oxford, 1991.

*Morris M.* Banality for Cultural Studies // Logics of Television. Ed. P. Mellencamp, 1990.

*Morris M.* Too Soon Too Late: History in Popular Culture. Bloomington, 1998).

*Pile S.* The Body and the City: Psychoanalysis, Subjectivity and Space. L., 1996.

*Thrift N.* With Child to See any Strange Thing: Everyday Life in the City // S.Watson, G. Bridge A Companion to the City. Oxford, 2000.

*Thrift N.* Non-Representational Theory. Space, Politics, Affect. Oxon: Routledge, 2008.

## **ТЕМА 10. Будущее городов (Заключение)**

Реальность – в том числе и городская реальность – часто открывается нам только как **уже** интерпретированная. Париж в восприятии более–менее

образованного туриста неотделим от торговых пассажей, описанных Беньямином, от размноженных в миллионах фотографий парочек, целующихся на набережных Сены. Сказав «Монпарнас», ты слышишь в своей голове отклик – «богема», увидев смуглого человека в метро, перебираешь в голове эссе парижских философов о горящих в пригородах машинах. При слове «Лувр» вспоминается пирамида Пейя, преобразившая серо-желтый песчаник королевского двора. А можно не умничать, а вспомнить (снятые где-нибудь в Риге) стройные ряды мушкетеров в небесно-голубых плащах, столь памятные по советскому фильму: «Пора-пора-порадуемся!».

Но не только восприятие, но и опыт городского существования пронизаны словами, образами и знаками. Физическое в нем – пустая улица ранним утром, глоток относительно свежего воздуха, скованность движений – сплетено с символическим: за десять минут ожидания машины, что отвезет тебя в аэропорт, тебе могут вспомниться и одиночки на картинах Дэнниса Хоппера и твое первое возвращение домой на рассвете, в сонной голове промелькнет что-то про добродетельность встающего рано человека и утопичность предвосхищения им целого дня. Язык, текст, дискурс повсеместны в том смысле, что мы не в состоянии избежать отбирающих, фильтрующих и преобразующих реальность эффектов нашей интеллектуальной оснастки, ограничивающего воздействия наших интерпретативных рамок и сетей метафор. Эти рамки и сети не столько ограничивают, сколько пронизывают наш опыт, и без них он был бы плоским и бесцветным. Его бы вообще без них не было. И уж тем более велика их власть, когда речь заходит о будущем: схемы и прожекты, предсказания и сценарии – как еще мы можем заглянуть в завтра?

Кого из нас не преследует опыт прогулки по старому центру европейского города с его уличными кафе и скверами, небольшими площадями и необычными магазинами, вкусно пахнущими рынками и духом истории, которым пропитаны здания, кварталы и, кажется, сами обитатели! Помню громкое восклицание девушки из Сан-Франциско, услышанное перед входом в

ресторанчик на Монмартре: «Ах, если бы только я могла здесь поселиться! Вся моя жизнь была бы совершенно иной!» Какая ирония! Я имею в виду то немалое число американцев, что могли бы с энтузиазмом произнести эту фразу как раз о Сан-Франциско. И есть, конечно, немалое число русских, украинцев и их собратьев, которые вообще не столь разборчивы: для них удачно поселиться и вписаться просто где-то «там» было бы неплохой жизненной перспективой. Эта связь между жизнью и местом, между лучшей, возможной жизнью и городом, который даст ей возможность состояться, связь между твоей жизнью и твоим будущим городом, обостренно переживается каждым. Сидя в долгих пробках, претерпевая шум улицы во время бессонницы, добывая справки в присутственных местах, сталкиваясь со жлобством, свои огорчения мы резонно связываем с городом, в котором живем. Но будем объективны: мегаполис с его сумасшедшим ритмом, пестрыми обитателями, манящей новизной продуктов и переживаний, ощущением включенности в происходящее составляет родную для многих из нас среду. Среду, которая создается веками. В одних случаях это происходит таким фантастически-удачным образом, что город на века становится магнитом воображения. В других, более нам знакомых, вроде бы удалось создать приемлемую для жизни среду, однако и все новые вызовы подстерегают, и не заходимся мы от восторга при виде возводимого и восстанавливаемого. Будущее нашего города вовлечено и в мечты и в повседневные резоны: что будет с ценами на жилье, бензин и автомашины, «встанут» ли Москва и другие крупные города, с какими детьми будут играть наши внуки.

Мы вряд ли сможем эффективно повлиять на то, как повернется дело. Понимание это сильно отличает наших современников: они часто лишены общей для энтузиастов проекта модерности уверенности в возможности рационального планирования и регулирования совместной жизни людей – в противопоставлении тому, как она налаживается «стихийно». В XX в. практически повсеместно были воплощены идеи модернистского планирования городов, и результаты этого воплощения особенно выразительны на



постсоветском пространстве, где до сих пор царит бетонная монотонность спальных районов.

Будущее городов давно составляет предмет увлеченных спекуляций. Начиная с описания Платоном в «Республике» идеального города-государства, прогрессивные реформаторы и визионеры Фредерик Стаут, Ричард Легейтс, Фредерик Ло Олмстед, Эбенезер Ховард, Патрик Геддес, Ле Корбюзье, Николай Милютин и даже принц Чарльз пытались сформулировать теоретические основы рационального городского планирования. Потребовались десятилетия экспериментов с социальным жильем, новой архитектурой и т. д., чтобы стал очевиден чрезмерный радикализм модернистской планировочной традиции. Корбюзье, который уличные кафе считал грибком, разъедающим тротуары Парижа, справедливо попал теперь в немилость, а вместе с ним – и уверенность в том, что облик будущих городов поддается рациональному и систематическому планированию. Я хочу подчеркнуть, что именно связь между социальным реформаторством и планированием сегодня сходит на нет. Период эффективной социальной политики центральных и городских правительств закончился. Закончилось, по-видимому, и время, когда архитектура использовалась для стабилизации социальных отношений. Бесчисленные школы, больницы и жилые кварталы, возведенные повсеместно в Европе и Америке в первые десятилетия после Второй мировой войны, хоть и подверглись впоследствии критике, должны быть поняты как выполнявшие очень важную социальную функцию – сообщать человеку чувство принадлежности к кругу равных себе. Человек мог жить в «спальном» районе вместе с десятками тысяч себе подобных, тесниться на тридцати метрах с родителями, и ближайшее будущее его не то, чтобы радовало, но у него, как и многих, все же было ощущение включенности в происходящее.

Сегодня, когда кризис социальной политики приводит к резкой поляризации городов (и в городах), проживание в некоторых районах и городках становится стигмой. «Депрессивные» города у нас, этнические пригороды европейских и американских столиц похожи в том, что их обитатели

знают друг о друге много не делающего чести, стыдятся того, кто они сами и где вынуждены жить, лишены достойных способов ощущать самоуважение и уважение других и вместе свидетельствуют о том, что современные общества не знают, что делать с большими группами «не вписавшихся» людей. Однако размах городской бедности в Америке шире, и комментаторы правы, объясняя это своеобразным характером политической системы, которая, предоставив проблемные зоны и целые города самим себе, после волнений 1960-х годов, сориентирована на интересы белого и состоятельного большинства. Ждет ли Россию подобное будущее? Станет ли мир в целом «планетой трущоб», как явствует из прогноза Майка Дэвиса, который так назвал свою последнюю книгу?

Сколько восторгов и надежд было высказано в предшествующие несколько десятилетий в связи с успехом информационных технологий! Экономическая и культурная жизнь виделась освобожденной от нужды в пространственной близости и концентрации. Горожане, предсказывал, к примеру, Алвин Тоффлер в 1980-е годы, смогут переехать за город, в «электронный коттедж», связанный со всем миром совершенными коммуникационными сетями. Высококвалифицированный профессионал, будь это архитектор или финансовый аналитик, переводчик или страховой агент, продавец или программист, т. е. обладатели тех профессий, которые связаны, условно говоря, с обработкой информации, работая, не снимая пижамы, в пригородном доме, виделись энтузиастам этого сценария избавленными от стрессов офисной работы и городской скученности. Контакты «лицом-к-лицу» понимались как уступающие по значимости членству индивида в социальных сетях и многочисленным разновидностям виртуального опыта. «Глобальная деревня» Маклюэна была тоже выражением убеждения, что традиционные города исчезнут. Поль Вирильо заявил, что отношения по месту жительства исчезнут в новом технологическом пространстве-времени, где и будет происходить все самое главное. Однако пристальный взгляд на развитие глобальных городов, на экономические социальные сети убеждает в обратном:

информационные технологии особенно активно используются для усиления центрального положения лидирующих экономических «узлов». Работа в команде или поблизости друг от друга гарантируют доверие (или его подобие), без которого невозможно представить современную экономическую социальность, так что именно ради контактов «лицом-к-лицу» люди переезжают в столицы и едут в командировки. С другой стороны, реальность «информационного города» показывает, что соединение развития городов и информационной революции принесло очевидные выгоды прежде всего капиталу. «Кибер-бустеризм», под обаяние которого мы часто попадаем, скрывает крайнюю неравномерность распределения преимуществ информационной революции. Городские власти на Интернет-порталах, конечно, предлагают задавать вопросы и даже вносить предложения, но очевидность использования ИТ-благ в интересах городских «машин роста» бесспорна.

Серьезные изменения, которые претерпевают сегодня города, только набирают скорость. Подытожим ключевые тенденции, которые эти изменения вызывают (и над которыми специалисты по городам продолжают размышлять).

1. **Глобализация.** От города как достаточно автономного образования через город как компонент национального государства к сети городов, существенно отличающихся по включенности в мировую экономику и по «свободе» от национально-государственных ограничений – таков главный вектор перемен. Он предполагает осмысление городов на пересечении всемирного, национального и местного масштабов и в контексте роста неравенства между «глобально успешными» городами и всеми остальными.
2. **Деиндустриализация и постиндустриализация (постфордизм).** Город, который был организован для нужд промышленности и восстановления рабочей силы фабрик и заводов, уступает место городу торговых центров, разнообразного сервиса, скоростных дорог, «сообществ за воротами» и

других новых вариантов организации жилищ. Большой объем промышленного производства – в соответствии с идеологией «аутсорсинга» – перемещается в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, но и возникающие там мегагорода далеки от описанных традиционной теорией промышленных городов.

3. **Динамика концентрации и рассредоточения.** «Центральность» крупных городов делает их местами повышенной экономической активности, привлекательными для проживания местами, зонами повышенной креативности и плотных социальных связей. Другие крупные города в то же время развиваются по пути «полицентричности» и рассредоточения предприятий, сервиса, жилых районов. Потоки людей, каждый день устремляющихся на работу и домой, – главное следствие пространственного рассредоточения городов, их «расползания» все дальше и дальше в пригороды. Сотни миль, которые работники всего мира, наматывают по транспортным коридорам между провинциями и штатами, делают современные городские образования очень непохожими на описанные ранними урбанистами. Экономические, технологические, экологические, социальные, эмоциональные проблемы, связанные с исчезновением во многих регионах традиционной городской моноцентричности, только начали описываться урбанистами.
4. **Неолиберализация социальной политики.** Усиление соревнования между городами в рамках глобальной экономики вызывает переориентацию политики городских правительств. Происходит переход от города, озабоченного социальным воспроизводством жителей, к городу-предпринимателю. Прежний объем вложений в социальную политику не может себе позволить ни одно городское правительство. Результат – нарастание социального напряжения, фрагментации, поляризации.
5. **Рост моральной двусмысленности.** Умножение связей горожан с тем и теми, что и кто выходит далеко за пределы их города, ставит под вопрос

понимание города как места жизни коллектива. Вынужденный переход многих людей от долговременной занятости к кратковременной лишает их способности развивать чувство солидарности с ближними. Либеральные идеи толерантности сосуществуют с враждебностью, страхом, недовольством, которые многие «хронически» испытывают в городах. В то же время «нормативное» измерение городского существования, т. е. идеи справедливости, «хорошей жизни», солидарности, почти некому представлять и исследовать.

6. **Экологические проблемы.** Загрязнение атмосферы и глобальное потепление приковывают внимание к «экологическому отпечатку» крупных городов. Остановить негативные процессы можно, только если пересмотреть способы осуществления городской жизнедеятельности, прежде всего энергоснабжения. С другой стороны, сегодня очевидна уязвимость городов перед лицом природных катаклизмов, так что необходимо комплексное обсуждение глобального изменения климата и процессов урбанизации.

По мнению Эдда Соджи, заявившего в “Постметрополисе» (12), что «наше время – и наилучшее и наихудшее для изучения городов: хотя нашего ответа ждут столь много новых и сложных тенденций, сегодня между нами гораздо меньше, чем в прошлом, согласия в том, как наилучшим образом теоретически и практически осмыслить создаваемые новые городские миры» (2000, xii). Преодолеть это неблагоприятное стечение обстоятельств можно, если сбавить темп и, оглянувшись на лишь по видимости «сброшенные с корабля современности» теоретические контексты и традиции, попытаться найти в них перспективные стратегии. Одна из них – компаративная урбанистика: необходимо отыскивать различия и помещать непохожие города в общую теоретическую картину, учитывая, что европейский город – только один из множества вариантов городов. Вторая – материальность и пространственность городов, состоящие из мобильности вещей и людей, потоков, сетей и связей.

Третья – «местные», «по месту жительства» исследования городов и отдельных аспектов их функционирования, при условии, что опыт других городов и моменты взаимосвязи между городами, даже далеко отстоящими, не будут забыты. Тогда несопоставимость результатов, обусловленная разрывами и расколами современной урбанистики, уступит место интересно описанному разнообразному опыту, в том числе и «исключенных» людей и мест. Ведь не секрет, что пока в описаниях «не-западного» городского опыта, в том числе и российского, преобладает всего два параметра: географический и экономический. Власть, неравенство, расизм, мутирующий капитализм – все это очень важные измерения городской жизни, но рано или поздно наступает очередь сравнения именно городского опыта. И здесь нас подстерегают свои иерархии, проявляющиеся в том, что и «космополитизм», и «витальность», и «креативность» зарезервированы, если судить по литературе, лишь за считанными городами. Даже «повседневность» изучена на примере тех городов, которые сегодня успешно стали глобальными, но и прежде манили к себе весом написанного и сказанного о них. Универсален ли описанный в этих городах опыт? Или, возможно, правы те авторы, кто, забыв о провинциальной уязвленности, терпеливо описывают различные группы горожан? Интерес к тому, что делает различным городской опыт для различных категорий обитателей, может основываться на идее «права на город». Одно из ее возможных пониманий состоит в том, что связь городского окружения и идентичности горожанина зависит от степени вовлеченности человека в городскую жизнь. Уют, гармония и «витальность» столиц включают в себя и те очевидные моменты, что здесь кто-то властвует, а кто-то не знает, куда себя деть, не имея работы уже несколько лет подряд. Серьезной победой урбанистов последнего поколения, кто с «запачканным лицом» сам проводит полевые исследования, является убеждение в сохраняющейся возможности критического анализа городского опыта. Хотя не секрет, что певцы урбанистической «креативности», вроде Ричарда Флориды, имеют больше шансов популяризовать личные «бренды».

Интерпретациями мы живем и интерпретации мы производим. Они заведомо не полны и субъективны: городская реальность разнообразна и текуча. В этом пособии шла речь только о некоторых сторонах практик управления, форм коммуникации, социальных отношений, институтов, которые, взаимодействуя, образуют город – в тесной связи материальных процессов и дискурсов, метафор и повествований, с помощью которых осмысливается современный городской опыт.